

КОНТИНЕНТ 8

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Сталинизм полностью уничтожил расцветавшую в России литературу и заменил ее отвратительной бюрократией, однако вопреки ей, несмотря на принудительный труд и убийства, понимание того, что истинно и справедливо, так и не удалось вытравить.

Сол Беллоу

Чаяхотка бескорыстного Шопена
в наручниках невидимых, но ржавых —
не тема, не мелодия, но сор, труха и пена...
Ни дома, ни двора, одни руины в травах.

Н. Горбаневская



Человечество находится в долгом кризисе, который начался триста, а в некоторых странах четыреста лет тому назад, когда люди откачнулись от религии, откачнулись от веры в Бога...

А. Солженицын

Сегодня в Советском Союзе — в очень трудных условиях, не всегда еще во всём успешно — начал работать неофициальный «суд истории». Включить «дело Горького» в повестку дня этого «суда истории» — важная задача русской интеллигенции...

Г. Герлинг-Грудзинский



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Евгений Терновский
Заведующая редакцией: Наталья Горбаневская

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Джордж Бейли · Сол Беллоу
Николас Бетелл · Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Вольф Зидлер · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Михайло Михайлов · Людек Пахман · Андрей Сахаров
Игнацио Силоне · Странник · Иозеф Чапский
Зинаида Шаховская · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Игорь Голомшток Igor Golomshtok, 47 Oakthorpe Road, Oxford OX2 7BD, Great Britain
Израиль	Михаил Агурский Michael Agurski, Mevaseret Zion 26a, Merkaz Klita, Israel
Италия	Ирина Альберти via Giacinto Pezzana 109 I - 00197 Roma
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госукэ Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

8

Издательство «Континент»
1976

Публикацией этого красноречивого документа, который говорит сам за себя и, на наш взгляд, не требует комментариев, мы отмечаем восьмую годовщину оккупации Чехословакии.

Редакция

Ян Дрда

«НЕ ПРИТРОНЬТЕСЬ К НИМ ДАЖЕ ПАЛЬЦЕМ, НЕ ДАЙТЕ ИМ НИ КАПЛИ ВОДЫ»...

У меня перо дрожит в руке, голос прерывается от волнения. 25 лет я учил своих детей любить Советский Союз, видеть в Москве звезду нашей надежды, залог нашей национальной и государственной независимости. Теперь все это разрушено. Те же лица, та же форма, что видели они на картинках с незабываемых майских дней 1945 года, те, которых я учил чтить, как наших освободителей, — их видят теперь мои дети собственными глазами в страшных обстоятельствах. Видят, как они проливают чешскую кровь, стреляют в наши национальные памятники. Являются свидетелями того, с каким беспримерным цинизмом похитили неизвестно куда А. Дубчека и О. Черника — представителей нашего суверенитета. Число преступлений, совершенных в эти дни на пражских улицах, взывает к небу.

Лгут миру, что мы их позвали на помощь, — и не способны привести ни одного имени; лгут, что защищают Прагу, — и разрушают её гусеницами и пушками танков; лгут, что несут нам братскую помощь, — и бесстыдно, бессмысленно терроризируют чешский народ. Борются за коммунизм — и против чешских и словацких коммунистов, стремящихся очистить щит партии. Они породили в нас нечто ужасное: ненависть

к этой лжи и бесстыдству, жгучее чувство оскорбления, неугасимое пламя гнева. Но и нечто прекрасное: гордость за свой народ, всенародное непоколебимое единство, решимость сопротивляться до конца, не уступить, не поддаться, не встать на колени перед оккупантами, не принять никакого компромисса! Наш моральный перевес видит весь мир, наверно, видят его и многие из тех простых Иванов и Сереж, которые опускают перед нами глаза на пражских улицах. Скидки не будет, молодцы, пусть вы лично как угодно добросердечны: вы пришли как оккупанты, как ночные разбойники, вы осквернили нашу родную землю, наши дети учатся и научатся вас ненавидеть, хотя мы и учились любить ваших отцов. А мы, отцы, смотрим на это с позором и беспомощностью, но не со сломленным характером. Мы переживем этот удар, переживем этот позор предательства и подлости; но зачтите это своему «начальству» и самим себе, если из своих сердец мы выкинем и вырвем слова «любовь» и «дружба». Вы — бесчестные оккупанты; и сто раз был прав тот, кто написал на пражской стене: «Не прироньтесь к ним даже пальцем, не дайте им ни капли воды».

«Руде Право», 27-го августа 1968 г.

ДРДА Ян — чешский писатель и общественный деятель, родился в 1915 году в Пршибрам. Окончил философский факультет Пражского университета. Был редактором «Лидовых новин». В 1945 г. вступил в компартию. В 1949-56 гг. был первым секретарем Союза чехословацких писателей. Автор многих романов, повестей, пьес, рассказов и очерков, написанных с позиции социалистического реализма. До августа 1968 года — последовательный сторонник дружбы с СССР.

ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЫ

в переводах Иосифа Бродского

Александр Ват

БЫТЬ МЫШЬЮ

Быть мышью. Лучше всего полевой. Или — садовой
мышью.

Ни в коем случае не городской:
человек исторгает кошмарный запах!
Это знаем мы все — крысы, крабы, птицы.
Вызывает отвращенье и страх.
Дрожишь.

Жрать пальмовую кору, лепестки глициний.
Грызть замёрзшие клубни в сырой земле.
И плясать от холода в полнолуние,
преломляя агонию лунную ледяную
бельмом зрачка.

Хорониться в норку, когда Борей безумный
ищет тебя пятерней костлявой,
дабы коготь вонзить в обмирающее от страха
маленькое мышье сердце —
вздрагивающий кристалл.

ДОЖДЬ

Когда старший мой брат
воротился с войны
во лбу его серебрилась
звёздочка а под нею
зиял провал

осколок шрапнели
задел его под Верденом
а может быть при Грюнвальде
(он не помнил деталей)

он подолгу болтал
перемешивая наречья
но предпочитая всем
язык истории

задыхаясь он поднимал
припавших к земле в атаку
Роланд Ганнибал Ковальски

он восклицал что это
последний крестовый поход
что Карфаген падёт
и потом признавался
что не ладил с Наполеоном

мы следили как он
становясь всё бледнее
превращался теряя
сознание в монумент

каменный лес вступил
в музыкальные раковины
ушей а кожа лица

наглухо застегнулась
невидящими сухими
пуговицами глаз

оставалось ему
только прикосновенье

что за истории
рассказывал он руками
левою про красавиц
правую про окопы

они забрали брата
из города и увезли
он возвращается каждую осень
молчаливый худой
он не хочет входить
стучит мне в окно вызывая

мы блуждаем по улицам
и он повествует мне
о невероятных вещах
прикасаясь к моим щекам
слепыми пальцами
ливня

ЭЛЕГИЯ Н. Н.

Неужели тебе это кажется столь далёким?
Стоит лишь пробежать по мелким Балтийским волнам
И за Датской равниной, за буковыми лесами
Повернуть к океану, а там уже, в двух шагах,
Лабрадор — белый, об эту пору года.
И уж если тебе, о безлюдном мечтавшей мысе,
Так страшны города и скрежет на автострадах,
То нашлась бы тропа — через лесную глушь,
По-над синью талых озер со следами дичи,
Прямо к брошенным золотым рудникам у подножья
Сьерры.

Дальше — вниз по течению Сакраменто,
Меж холмов, поросших колючим дубом,
После — бор эвкалиптовый, за которым
Ты и встретишь меня.

Знаешь, часто, когда цветет манцанита
И залив голубеет весенним утром,
Вспоминаю невольно о доме в краю озерном,
О сетях, что сохнут под низким литовским небом.
Та купальня, где ты снимала юбку,
Затвердела в чистый кристалл навеки.
Тьма сгустилась медом вокруг веранды.
Совы машут крылами, и пахнет кожей.

Как сумели мы выжить, не понимаю.
Стили, строи клубятся бесцветной массой,
Превращаясь в окаменелость.
Где ж тут в собственной разобраться сути.
Уходящее время смолит гнедую
Лошадь, и местечковую колоннаду
Рынка, и парик мадам Флигельтауб.

Знаешь сама, мы многому научились.
Как отнимается постепенно то,
Что не может быть отнято: люди, местность,
И как сердце бьётся тогда, когда надо бы разорваться.
Улыбаемся; чай на столе, буханка.
Лишь сомненье порою мелькнет, что мог бы
Прах печей в Заксенхаузене быть нам чуть-чуть дороже.
Впрочем, тело не может влюбиться в пепел.

Ты привыкла к новым, дождливым зимам,
К стенам дома, с которых навеки смыта
Кровь хозяина-немца. А я — я тоже
Взял от жизни, что мог: города и страны.
В то же озеро дважды уже не ступишь;
Только солнечный луч по листве ольховой,
Дно устлавшей ему, преломляясь, бродит.

Нет, не затем это, что далёко,
Ты ко мне не явилась ни днем, ни ночью.
Год от года, делаясь всё огромней,
Созревает в нас общий плод: безучастность.

Говорит внук капитана Дрейфуса

Еще одна жертва, быть может, скоро погибнет в лагерях: пятидесятивосьмилетний врач, такой же человек, как мы.

Михаил Штерн арестован, приговорен к лишению свободы, отправлен в лагерь, переносит страдания — и все это только на основании лжесвидетельств. Полиция любой страны в состоянии оперативно состряпать такого рода сценарий против любого из нас. Любой суд в один прекрасный день может уступить «соображениям государственным».

Это именно тот случай, когда мы обязаны оторваться от повседневных забот, на минуту отвлечься от «возделывания своего сада», когда непорабощенный, не лишенный голоса народ, свободная печать должны показать свою силу, использовать ту колоссальную власть, которой они обладают: где-то в мире человек стал жертвой Государства. В конечном счете политики, эти актеры, они не могут лицедействовать пред пустым залом. Их сила — в нашем бездействии...

Незачем читать мораль правительствам. Но следует ставить пределы их всемогуществу, как только они пытаются забывать о пределах. В наших силах не дать опуститься могильной плите безгласия, не дать человеку погибнуть.

Говоря о докторе Штерне, газеты вспомнили вошедшее в историю мученичество капитана Дрейфуса. Пятьдесят нобелевских лауреатов только что призвали освободить Михаила Штерна. Пора и нам заступиться, добиваться свободы для него. Всем свободным людям надлежит помочь советскому правительству избавиться от бесов, его искушающих.

Семьдесят лет назад Франция по праву гордилась тем, что признала одну из величайших в своей истории «судебных ошибок». Отменив приговор двух военных судей, она положила конец мучениям моего деда. Советский Союз мог бы гордиться, признав виновническую судебную ошибку и — пока не поздно — положив конец мучениям доктора Штерна, его жены и детей.

В конечном счете, в чем я не сомневаюсь, высшие интересы государства совпадают с людской справедливостью.

Доктор ЖАН-ЛУИ ЛЕВИ

ТЯНИТОЛКАЙ

Рассказ

1

И вот проснулись мы все уже в новом году. И побежали тотчас звонить, сообщать всем об этом — о том, что проснулись, и о том, что именно в новом году.

А что такое новый год? Это бесконечное продолжение старого, отделённое голосом радио, чтобы было удобнее числа считать.

Народ, которому радио громко объявило новогоднее время — а не объявило бы, то продолжался год старый, — народ поголовно куда-то поехал, встал на остановках, подталкивая в спину, вперед своих жён, направляя их в транспорт.

В лесопарках всё так же забегали люди, обутые в лыжи, размахивая острыми, опасными палками, мелькая веселыми лыжными нарядами в трех соснах.

На площади фигура в три четверти роста вождя всё так же заносится силуэтом на небо. Девичья гордость в обнимку с мужским достоинством всё так же сидит на скамьях у фигуры.

— И на что вам наши ноги, я никак не пойму? — спрашивают девушки, словно не знают. — Вы же руки нам целуете, лицо, а не ноги, но все говорят: ах, какие ноги!

Может быть, и правда, что они не понимают, — только вряд ли.

А в поездах сидят, перемещаются.

Как всегда, куда-то едет поездом интеллигенция, сидит в вагон-ресторанах и спорит о судьбах своего

государства, сходясь лишь в одном: как бы заставить всех людей поступать моментально разумно. Что же такое разумно, тут они расходятся, иногда кардинально.

Всё так же народ неразумно открывает прозрачную бутылку с мягкой крышкой и ругает прошлого правителя, о нынешних молча.

Всё так же бегают модницы купить друг у друга что-нибудь нездешнее, что-нибудь модное.

— Это не импорт, тут по-русски написано.

— Но по-русски-то что написано? Сделано в Польше.

Всё так же бегают животные по тёмным лесам, добиваются поесть немного тела друг у друга.

Всё так же идет тихая война молодежи и порядка. Молодежь повсеместно оскалывает смешливые зубы, а порядок требует строго не оскалывать её смешливые зубы.

«Механизм за всё в ответе», — сообщает печать.

В бане, в пару, идет за матовыми стёклами непрерывная мойка голов и подмышек.

Всё так же сидят литераторы, всё время делают из себя литературу, из тела своего и из органов чувств, из нерва, из сердца; из мозговых своих веществ, в крайнем случае — кто не имеет достаточно тела и всего остального.

Всё так же ходят друг к другу таланты, жалуясь, что не могут отдать себя людям, чтобы взамен получить от людей что хотят.

Всё так же люди не приемлют таланты, в то же время охотно давая им всё, что хотят из одежды, еды и жилья, кроме нужного этим талантам восторга.

2

Я шёл по улице и нес в руках сумку. Это была удобная сумка. В ней я носил свои рукописи, а также

газеты, журналы и книги, которые я покупал по пути. В нее можно было купить и кефир, и булку, и вообще что угодно.

Не помню, что именно меня остановило возле этого дома. То ли сосулька упала сверху и взорвалась передо мной на тротуаре. Впрочем, видимо, не сосулька, так как на подобных домах сосульки не растут, это им не дозволяется, как выяснилось после. Одним словом, я задумался и стал на месте.

Неожиданно из-за стенки, из-за угла, выскочил на меня молодой человек, который бы и видеть меня был не должен. Однако он выскочил без пальто и так, будто специально устремился ко мне.

— Вы что тут делаете? — спросил он меня, словно имел неоспоримое право спросить.

— Ничего, — ответил я, уже заранее подчиняясь тому неизвестному правилу, по которому мне почему-то нельзя тут стоять. — Извините!

— Пройдёмте со мной, — сказал он и повернулся идти, даже не удостоиваясь взять меня рукой за рукав, как это делают всегда, когда ведут, не вполне уверенные в своём полном праве. А то есть уж он-то был вовсе уверен.

— За что? — спросил я поэтому без всякого удивления, направляясь за ним. — Я ничего такого не сделал. Раз нельзя, я не буду.

— Что — не буду? — сказал он спустя, сказал с интересом, восходя на широкие ступени из мрамора.

— Ну, всё. Что нельзя, то и не буду, — отвечал я охотно, по-интеллигентному, и только тут вдруг заметил, что это за дом, возле которого довелось мне задумчиво встать.

Это был некий довольно большой дом, в котором оберегают российский народ внутри него друг от друга. Этот большой дом так и зовут в народе с оттенком уважения — большой дом. Увидев это, я взошёл по ступеням с некоторой торжественностью и готовно-

стью пострадать, хотя вины моей было немного, как я тут же и взвесил: то есть, видимо, нельзя останавливаться возле этого дома, к тому же задумавшись, к тому же имея в руках своих обширную сумку.

Итак, я торжественно взошёл по ступеням, которые для того и были сделаны в мраморе, чтобы торжественно на них подыматься: с одной стороны — к ответу, с другой стороны — наоборот, для страдания.

— Идите, идите. Не бойтесь, — сказал мой провожатый, молодой человек моих лет, к которому тут же я почувствовал презрение: зачем ты пошёл на такую работу? Что за работа — я, конечно, не знал.

— А я и не боюсь, — сказал я с вызовом, отпуская тяжёлую дверь, которая туго пошла сама назад и прикрыла сзади бесшумно за мной белый свет.

Мой вожак усмехнулся и сверкнул в меня глазом, однако строгость тона ко мне подчеркнул и усилил.

— Не беспокойтесь. Небольшая проверка, — сказал он по-простому. — Сумку оставьте тут, на столе.

— Но как же?.. Я не могу. У меня там...

— Не беспокойтесь, — ещё раз повторил он. — Вы получите её обратно, с сохранной распиской.

Мне хотелось сказать, что у меня там рукопись, которая, если её прочтут в этом месте, вряд ли очень понравится этому месту. Но понятно, что я сказать этого не мог.

«Да полно, — подумал я тут же. — Так ли уж их интересуют наши рукописи? Мы преувеличиваем. Да ведь я и не долго! Они прочитать не успеют.»

На этот счет я слегка успокоился.

Но тут же испугался снова: стол, на который мне было указано, находился в вестибюле, открытом на воздух. Сам провожатый, который по видимости за этим столом восседал, собирался пойти со мной дальше. Так что я забеспокоился, как бы сумку мою, весьма красивую и новую, без всяких там сложностей

попросту не тянули проходящие люди. Но тут же я решил, что вряд ли в таком месте кто-нибудь решится сделать именно это, тут проходят люди совсем не такие. Вольный же, уличный вор своей волей вряд ли решится сюда забрести. Правда, во мне появилась ещё одна мысль: а возможно и то, что они их... в общем, некоторых вороватых людей используют... ну, там для различных государственных целей (если надо)... так вот: как бы помимо целей не прихватили бы сумочку, которую мне ведь не жаль, но там рукопись.

Как бы то ни было, сумка осталась в вестибюле, а сам я, отторгнутый от неё, был доставлен на пятый этаж.

Мой провожатый оставил меня в начале коридора, а сам пошёл вперёд, открыл какую-то дверь и громко, радостно туда возгласил:

— Ну вот. Привёл Марамзина!

И вытер лоб.

Сперва я даже не подумал, откуда ему известна моя фамилия, а лишь отметил, что он отчего-то доложил не по-военному, сугубо штатски. Да и сам он был одет не по форме, хотя его брючки были вполне милицейские, с полосой. Пиджак, тем не менее, был модный пиджак, совершенно штатский пиджак, на три пуговики.

— Почему так долго? — крикнули грозно изнутри помещения, из-за двери.

Я метнулся вперёд, хотя мне приказано было ожидать где стоял.

— Как же долго? — почему-то кинулся я объяснять, защищая своего вожака от его несомненного и злого начальства. — Вот... мы прямо так и пришли... нигде не задерживались... прямо так, с улицы.

И зачем я кинулся его защищать? Видимо, как я понял впоследствии, это случилось оттого, что вначале я его презирал, а тут, увидав, как ему приходится от начальства, враз и пожалел его, такого: презирае-

мого снизу да ещё угнетаемого его же начальством, которому он верою служит с молодых своих лет. Есть у нас такая непоследовательность, есть.

Из комнаты вышел полковник с вислыми щеками и очевидным даже при молчании громогласным, хозяйским ртом, в котором — то есть в полковнике — я сразу же узнал одного из тех военных, что частенько выпивают вечерами в союзе писателей.

Неожиданно он обнял моего провожатого и с благодарностью поцеловал его с размаху, куда-то в нос, что не вышло с недавним грозным окриком.

— Молодец! — сказал он ему и обернулся ко мне. — Сейчас, минуточку. Только закончу с товарищем.

Провожатый ушёл, унося на себе поцелуй от начальства.

И тут мне стало всё в момент непонятно и странно. Ну, я нарушил. Ну, привели проверять: что за гусь? Я не возражаю, пусть проверяют, что за гусь. То есть это даже хорошо, побывать в таком месте, а затем взрастить в себе приятную обиду: почему, мол, хватают, почему ведут? так с народом нельзя! И из этой обиды создать прекрасные, вольнолюбивые произведения с расширительным смыслом, которых ясно что не напечатают, но будут долго ходить по рукам.

Но вот зачем тогда они спрашивают: почему так долго? Что это значит? И фамилия — откуда известна фамилия? Ведь как раз и вели, чтоб узнать и проверить фамилию. Я потрогал в кармане паспорт — в кармане паспорт находился на месте.

В коридоре стояла группа людей, видно, работающих внутри этих стен. Среди них были даже две девицы. Они курили и разговаривали. Я разобрал слова «Тибр», «уже» и «русская литература». Первое и последнее повторялись чаще всего. Одни говорили всё больше: Тибр, Тибр; в разговоре других мелькала всё «русская литература». Иногда кто-то вставлял между ними «уже».

Это и совсем насторожило меня, потому что читатель этого знать не обязан, а мне же было известно, что Тибр — это не река где-то там, в географии, нет; Тибр — это молодой литератор из нашего города, можно даже сказать, что почти что мой друг. Впрочем, это слишком сильно сказано: друг. Впрочем, и это слишком сказано сильно: молодой. Даже литератор — и то немного сказано чуточку слишком. Но, согласитесь, при чём же тут Тибр?

Дверь отворилась, и из неё вышел сияющий гражданин, неловко переодетый в костюм интеллигентного человека — вероятно, недавно.

— До свиданья, товарищ Кузьменко! — сказали ему вдогонку из двери.

— Надо говорить: товарищ писатель Кузьменко! — поправил он, сияя.

— До свиданья, товарищ писатель Кузьменко! — послушно повторили из двери, и Кузьменко отправился в литературу, без всякой экономии излучая сияние.

«Что ли тут писателей делают? — подумалось мне, глядя на Кузьменко. — Зачем это надо?»

Странно, очень странно.

Нас всех пригласили войти.

3

Полковника в комнате не было. Никого в комнате не было. Даже стало непонятно, кто же нас пригласил? Вскоре я заметил ещё одну дверь.

«Ага, — понял я. — Туда они, наверно, и вышли».

Сотрудники расположились по углам, кто где хотел, приготовясь, очевидно, сотрудничать. Мебель была современная, заказная, удобная. Девушки постепенно клонились и клонились на диванчике в разные стороны да и прилегали почти горизонтально, продолжая курить.

— Почему это так? — решил я тихо спросить у соседа и показал ему рукой на девиц.

— А что? Можете и вы тоже так. Это чтоб была непринуждённая обстановка, без скованности, — объяснил он мне с деликатностью, тоже негромко. Объяснение мне понравилось, хотя я ровно ничего не понимал в обстановке.

— Ну, вот и я! — сказал полковник громогласно, входя наконец из-за внутренней двери. Мне показалось, что девушки всё-таки несколько сжались в своих непринуждённых позах, при своих сигаретках.

Полковник за это время успел переодеться в скромный серенький костюмчик. «Что там у них — костюмерная, что ли?» — подумал я с удивлением.

— Да, — сказал полковник, обращаясь ко мне. — Я переоделся. Я знаю, что мундир пугает интеллигентного человека в России.

Интеллигентного человека — это, значит, меня, потому как прочие — люди бывалые, здешние. Я ещё ничего не понимал, но мне сделалось тотчас приятно.

— Простите нас, — сказал мне полковник, садясь, — что нам пришлось раздобыть вас таким странным способом. Ведь если бы мы пригласили вас попросту, телефонным звонком или открыткой по почте, вы бы, чего доброго, напугались сами, напугали вашу семью и, главное, всех своих друзей, среди которых нашёлся бы кто-нибудь — я не говорю, что это были бы именно вы, — кто, не дай Бог, ещё додумался бы сжечь свои рукописи или наделал других похожих глупостей.

— Как же вы меня это... раздобыли? — спросил я, смелея.

— Да вот, получили ваши приметы, посадили у окна человека и ждали: должны же вы когда-нибудь мимо пройти? Но интеллигенты боятся проходить мимо нас, стараются задолго перейти на другую сторону улицы.

— Не знаю, кто это боится, — заметил я храбро, стараясь обидеться, но обидеться не получилось.

— Ну, не боятся — не любят.

— Не любят — это да. Это другое дело, — согласился я, довольный.

— Так вот, — полковник хлопнул по столу, и все, как мне показалось, немного вздрогнули и слегка подтянулись. — Перейду прямо к делу. Нас беспокоит судьба нашей русской литературы.

— То есть как — беспокоит?

Все заулыбались, закивали и зашевелились на местах.

— Тут вы видите отдел литературы нашего дома, — сказал полковник. — Пусть они скажут сами.

— Ну вот вы — вы довольны нашей литературой? То есть тем, что печатается? — тут же спросила меня одна из девиц, спросила быстро, словно у них уже было расписано, что и когда и кому говорить. Другая при этом совершенно молчала, как впрочем и дальше, во всё продолжение, словно была приглашена лишь для обстановки.

— А что? Вообще... — сказал я, решая ни в коем случае не поддаваться на этот провокационный вопрос. — Ничего... разное бывает... советская литература... большие успехи...

— Бросьте, — перебил меня грустно полковник. — Какие там успехи! Стоит только сравнить с девятнадцатым веком. Да вы нас не бойтесь, я прошу вас!

«Вызывает на откровенность», — подумал я снова, стараясь припомнить все методы следствия, о которых когда-либо приходилось слышать. Как я пожалел о том, что относился с пренебрежением к той нужнейшей области литературы, которую мы в своём кругу называем презрительно детективной.

— Откройте любой журнал, — сказал мой сосед. — Невозможно читать!

— Конечно, тому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в литературе, — вставила бойкая девица.

— А книги? — продолжал сосед. — Ну, кто их

читает? Миллионами идут потом под нож. А это большие убытки.

— Да, почти ни одна не живёт в литературе более, чем десять-двадцать лет, — сказал ещё один из присутствующих, человек в очках и в ярком свитере, явно одетый под студента. У него в блокнотике было записано что-то, и он иногда туда взглядывал.

— Даже то, что печатают за границей и за что мы, конечно, по головке не гладим — и то невозможно читать. Такая же чепуха, только наоборот, — добавил полковник.

— Кроме Пастернака, — быстро вставила девушка.

— Да, с Пастернаком случай сложный, — произнёс полковник в раздумье. — С Пастернаком мы, пожалуй, сгруппировали.

— И с Евтушенко. С Евтушенко тоже сгруппировали, — сказала снова девица.

— Да, пожалуй и с Евтушенко... Но с Евтушенко не мы. Тише... — полковник пригнулся к столу и продолжал совсем негромко. — Не надо это... про Евтушенко. Нас могут услышать.

«Откуда они всё это узнали? — поразился я. — Наверно, записали наш разговор с Д. Ишь ты, выучили наизусть, так и шпарят. Нет, не признаваться, ни за что не признаваться».

— Я, вместе со всей советской общественностью, клеймлю позором недостойный поступок Пастернака, — сказал я громко и отчётливо и, поколебавшись, добавил: — Хотя и очень уважаю его как поэта.

— Да бросьте, — полковник поморщился. — Да мы же не допрашиваем вас. Мы же с вами откровенно разговариваем. А вы нам... нехорошо это, стыдно! Если бы ещё какой старик, а от вас не ожидали.

И он долго качал головой. Мне показалось, что и все слегка качают головами. Когда же он кончил, то и все перестали.

«Знаем мы такую откровенность! — подумал я. —

А потом... Чёрт его знает, а может, и верно? — пронеслось у меня неожиданно. — Да и чем я рискую, если даже поддакну? Признание подсудимого еще не есть основание для обвинения», — вспомнил я вдруг, хотя и не являлся никаким подсудимым.

— Вы ничем не рискуете, если поверите нам, — сказал полковник, как будто бы понял, что я думал. — Просто дослушайте нас до конца.

— Да, — сказала девушка. — Послушайте, что скажет товарищ полковник.

И она подвигала задом по диванчику, выбрала более удобное место, словно приговорясь к чему-то торжественному.

«Ну, послушаю. А дальше что?» — подумалось мне иронически.

— Нас беспокоит русская литература и её судьба, — сказал полковник озабоченно. — Вот мы и решились взять её в свои руки.

— Литературу? — спросил я быстро.

— Нет, судьбу, — так же быстро ответил полковник.

— А-а, — сказал я, соображая. — Но почему же именно вы?

— А кто? — ответил он с безнадежностью вопросом на вопрос и развёл картинно в стороны руки, показав, что между них ничего, в общем, нету, то есть что некому этим заняться во всём белом свете, вернее, никто не занимается, никого не беспокоит наша русская литература и её судьба. — Да почему бы и не нам? Раз мы за это болеем, — добавил он.

«Ну да, ну да, — понял я. — Раз уж они действительно за это болеют».

Так вот почему они выпивали в союзе писателей! Я-то думал, что они выпивали потому, что им близко по духу то, что делают в литературе наши члены союза писателей. А уж делают то, что вы знаете сами: очень близко к охранительным функциям — то есть

к тому, на что поставлен этот дом. А оказывается, мы просто этот дом плохо знаем. Оказывается, они совсем не поэтому выпивали в союзе.

«Бедная русская литература, — сказал я себе. — Видно, действительно плохи её дела, если приходится взяться за неё таким, как они, — секретным, военным лицам внутри этого дома».

4

— Взгляните только на редакторов: ни одного приличного человека! Если не подлец, так дурак, а если не дурак — то негодяй, — сказал мой сосед с неожиданной страстью.

— А иначе и не удержится! — добавила девушка.

Я с удивлением переводил глаза с одного сотрудника на другого. Право, можно было подумать, что я нахожусь посреди самых крайних, самых прогрессивных из моих знакомых. Временами мне даже казалось, что тут прогрессивней.

— Нет, всё же есть просто трусы, — возразил я для честности.

— Ну, а трусы — это разве хорошо? — сказал полковник.

И никто, разумеется, не мог сказать, что да.

— А писатели? Писатели лучше? — с деланной горечью спросил студент сам себя и с нею же сам себе тотчас ответил: — Так и заглядывают во все глаза наверх: что, мол, угодно?

— Тихо, — проговорил полковник с неудовольствием. — Я же говорил, что нас могут услышать.

«Да кого же им бояться? — удивился я снова и даже посмотрел на потолок. — Разве над ними ещё кто-то есть?»

— Ну хорошо, а что же надо делать? — спросил я с иронией, уверенный, что задал им трудный,

практический вопрос. Но оказывается, и об этом они уже думали.

— Вот-вот, — проговорил полковник с удовольствием. — Вот мы и решили. Мы закрепляем книги договором.

— То есть каким договором? — не понял я.

— С нами договор, с нашим домом, то есть через нас — с государством.

— Но ведь и так существуют договоры, с издательством, то есть опять же с государством?

Полковник улыбнулся мне, как хитрому шельме, как бы давая понять, что он вполне оценил моё нежелание понимать, а значит, теперь он уже позволяет мне понять всё как есть. Но я, напротив, так старался всё себе уяснить и не мог, что от сильных стараний у меня в голове выделялось тепло.

— Наши договоры крепче, — сказал полковник и обхватил доску стола, сжимая её руками. — Крепче и скорее. К тому же, мы заключаем договоры на всё. Там же, в издательстве, у вас на всё не заключат?

— То есть... если высокий идейно-художественный уровень... — отвечал я с достоинством, не поддаваясь на приманку.

— Побойтесь Бога! — вскричал полковник в отчаянии. — Ну где вы таких выражений набрались? Всё-таки писатель, да ещё молодой!

— Ежедневно читаю центральную прессу, слушаю радио. — Я поколебался и добавил для честности: — Иногда.

— Ну так вот, — полковник встал за столом. — Если вы это... слушаете радио (а ведь радио-то наше), то тем более вы должны слушать меня. А я вам — вы слышите? — запрещаю здесь разговаривать с нами таким языком. А то мы сочтём за неуважение к нам. Верно? — спросил он сотрудников, и сотрудники подтвердили, что действительно сочтут.

«Ведь вы же сами придумали такой язык, а те-

перь недовольны», — хотел я возразить, но отчего-то не стал. Я не могу сказать, чтобы я испугался, но и сердить их мне не было смысла. Я изобразил независимость и решил слушать дальше.

— Так вот. Сдаёте нам рукопись. Только одно условие — сдавать в переплетённом виде.

— Почему? — спросил я в искреннем недоумении, забыв, что я решил достойно всё слушать.

— Как — почему? — спросил полковник с ещё большим удивлением, нежели моё, и обернулся к своим, чтоб ему разъяснили; но свои не разъяснили, потому что и им было тоже неясно, как это я не понимаю такой простой и истинной вещи.

— А как же по-другому? — спросил меня мой сосед с тревогой — с тревогой за мои способности или в сомнении насчёт моей гражданской честности, которое возникло начиная с этого момента.

— Ну так... как обычно... в папке, — сказал я нерешительно.

— Да вы что?! — полковник резко толкнулся ногой от стола и уехал в кресле до самой стены, об которую с грохотом стукнулся, что выражало, видимо, крайнюю степень его полковничьего возмущения. — Вы, что, не знаете, что папки отменены?

Некоторое время все молчали и во все глаза смотрели на меня, соображая, видимо, что же со мной надо сделать за это.

— В общем, переплетённую, — сказал полковник сухо и так же резко вернулся на кресле к столу, пригнувшись рукой. Он немного смягчился и продолжал: — Проходит пять месяцев, и вы имеете твёрдый договор.

— Пять месяцев! — вскричал я невольно. — Нет, тогда не пойдёт!

— Да теперь разве меньше? — спросил меня мягко сосед.

— Этот, например, безбородый, — сказал полковник и развеселился.

— Основоположник! — вставила девушка, и все расхохотались.

Полковник тоже позволил себе посмеяться над прозвищем известного у нас одного такого редактора, который стремился видом своим походить на великих людей.

И опять мне было непонятно: да как же можно им смеяться над редакторами? Ведь это свои, их же самые люди, которых тотчас же можно переставить к ним в дом. Разве что они смеются добродушно, по-свойски?

— А что? Он ведь и по году читает, и больше. Правда-правда! А что вы с ним сделаете? — подтвердил полковник, отсмеявшись.

«Откуда только он знает?» — удивился я снова. Мне, конечно, было ещё неизвестно, что тут знают всё, только делают вид иногда, что не знают.

— А то и вовсе не прочтёт, но заверит, что читано, — сказал мой сосед как бы с личной обидой.

Студент подвинулся к столу, сложил на нём свои нерабочие руки и произнёс не своим, замедленным голосом:

— У нас в редакции сложилось мнение — надеюсь, вы меня поймёте правильно — так вот, оно сложилось не сразу, то есть это мнение, и касается того, что ваше произведение, а вернее, вещь, мы сейчас, как вы сами понимаете, опубликовать в ближайших номерах нашего журнала, вероятно, не сумеем, то есть в ближайших, разумеется, тоже, но это ещё не значит, что мы с вами, как умные люди, не можем понять друг друга, а это самое главное.

Так это было похоже, что студента прервали и опять залились весёлым смехом.

«Весело тут у них», — подумал я почти совсем

свободно и бесстрашно. Я настолько осмелел, что оборвал их смех и развязно сказал:

— Вот вы недавно говорили, что договоры на всё.

— Да, — подтвердил полковник, послушно переставая смеяться. — У талантливого человека мы возьмём всё, до строчки.

— И денежки за это дадите?

— Да, немного дадим. Остальные потом.

— И напечатаете?

— Ну, не всё, — сказал полковник, давая понять, что, мол, это уж слишком: чтобы брали, давали денежек, да ещё и печатали. — Мы ведь вообще не печатаем, как вы, наверное, знаете. Печатают журналы. Тут уж я улыбнулся, как хитрая шельма.

— Но журналы, конечно, с нами считаются, — сказал полковник, поняв мою улыбку и желая всё же быть по возможности честным. — После нас они читать будут быстро.

— А как же быть с крамолой? — спросил я.

— То есть? — полковник насторожился. — У нас не может быть крамолы.

— Да нет, — сказал я терпеливо. — То, что сегодня считается крамолой, а завтра уже не считается, а послезавтра, может, снова будет считаться, как знать.

— Разве так бывает? — спросил мой сосед весьма мирно.

— А как же? Уж вам-то это должно быть известно. Например, Иван Денисович. Когда его писали, это было нельзя. А потом ненадолго стало можно — и напечатали. Как же быть в этом случае? То есть если принесём вам такое, которое пока что совершенно нельзя? Арестуете? — спросил я и замер в ожидании.

Теперь меня, видимо, все уже поняли.

— Ну, если уж очень... очень преждевременно, то тогда уж, знаете... тогда придётся у нас... — объяснил мне полковник, выбирая слова, чтоб меня не за-

деть. Но эти слова никак не могли меня задеть. Я их слушал в два уха.

— Временно, конечно, — продолжал полковник. — До каких-нибудь перемен. Мы вам дадим отдельную... в общем, комнату...

— В нашем городе? — спросил я быстро, перебивая.

— Постараемся, — обещал полковник. — Хотя это будет зависеть не от меня.

— Не хотелось бы уезжать далеко, — сказал я снова.

— Комнату, бумагу... — продолжал полковник. — Даже лучше, чем в девятнадцатом веке. А там пишете, что хочется.

— Заметьте, что мы никогда еще так не делали, — сказала девушка ласково.

— Да, — подтвердил и полковник. — Это новый этап нашего развития.

— Ну и что же будет с литературой, которую я напишу?

— Не беспокойтесь, не пропадет. У нас всё хранится надёжно, несгораемо. У нас еще есть кое-что со времен Бенкендорфа. Не публикуем, но храним.

— Да зачем же тогда это нужно? — спросил я, снова не понимая.

— Ну, мало ли. Допускаем к чтению сотрудников. Вот они, например, — он указал на сотрудников, они закивали. — Им это полезно для знания жизни. Откуда жизнь узнать как следует? Только из литературы. Она, литература, не случайна. Вы не слушайте критику, когда она вас учит. Ведь ей так велели. А мы с вами знаем: если что появилось в литературе, то это есть и в жизни. Это, значит, сигнал. Всякий там инфантилизм, сердитые молодые, отцы и дети, «Новый мир», ленинградская школа. Это всё явления, которые мы изучаем.

— Так пусть бы и все изучали, все люди? Зачем пресекать? — сказал я простодушно.

— Об этом надо подумать, — заметил полковник и обернулся к студенту. — Запишите эту мысль. Это интересная мысль молодого писателя.

Он задумался.

— Нет, — сказал он, подумав. — Это, видимо, для всех всё же вредно. Не надо, не записывайте.

— Да ведь истина... — начал я горячо, но запнулся, увидев, что все при этом слове стыдливо потупились.

Не меньше минуты продолжалось молчание.

— Так вот, — сказал наконец полковник как ни в чем не бывало. — Значит, мы договорились? Подумайте. Подумайте и скажите там вашим.

— Кому, то есть, нашим? — спросил я, мгновенно вскинувшись.

— Да молодёжи. Да писателям. Да бросьте же! — сказал полковник укоризненно и подал мне руку. — Можете идти. До свиданья.

Не знаю отчего, но мне неожиданно сделалось радостно.

— Вот не знал, что тут интересуются литературой! — воскликнул я весело, пожимая мягкую полковничью руку.

— Заходите, — пригласил меня радушно полковник.

— Не знал, не знал! — сказал я и пожал руку девушке.

— Заходите, — сказала мне девушка, а вторая промолчала и руки не дала.

— Совсем бы не думал, не думал, что именно тут, — сказал я, пожимая руку мнимому студенту.

— Приходите, не стесняйтесь, — сказал студент.

— Значит, договоры? — сказал я и пожал руку соседу.

— Договоры, — сказал сосед. — Заходите!

— Общий поклон! — воскликнул я у двери, вскинув руку, и так, со вскинутой рукою, ушёл в коридор.

Я сбежал по лестнице и увидел того самого молодого дежурного, который меня приводил.

— Не знал, не знал! — сказал я весело и подмигнул ему левым глазом.

— Что-о?! — спросил он с удивлением, привставая на стуле.

— Да бросьте! — сказал я игриво и толкнул его в бок. — Я же всё понимаю. Пока!

Я схватил со стола свою сумку и выбежал в город.

5

Пробежав недолго, я вдруг остановился, как будто включил полный тормоз. Я даже несколько попятился задом. Дело в том, что я забыл заглянуть себе в сумку.

Поставив сумку на колено, я с волнением раскрыл её настежь. В сумке было всё в сохранности. Но что это? Рукопись моя лежала, переплетенная в кожу, листы прошиты и пронумерованы заново тушью. На последней странице был штамп, а в нем надпись: «Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

— Ха-ха! — сказал я себе. — Сразу видно, что не читали. Мальцев! Марков-первый! Почитали бы вы, дорогие! Вы бы увидали, какой там Марков-первый!

Я закрыл снова сумку и пошел на трамвай. Пройдя немного, я вновь остановился и задумался. Неужели же, когда переплетали, ни один из переплётчиков не заглянул вовнутрь, не заинтересовался? Я бы, если мне поручили такую работу, да еще в таком интересном месте — я бы непременно заглянул и почитал внутри переплета. Правда, возможно, конечно, что переплётчики — люди нейтральные, прочли — и молчок, и не возмутились нисколько. Но и это вряд ли,

потому что тут и переплетчики — народ всесторонне проверенный и в известном отношении наученный.

«Неужели прочли? — вдруг подумалось мне. — Почему же тогда меня выпустили?»

— Нет, не может быть! — сказал я себе чуть не громко и, почувствовав сильное беспокойство, повернул идти назад.

В вестибюле всё было по-прежнему. Я направился внутрь.

— Гражданин! — сказал мне дежурный как чужому. — Вы куда?

— Да это же я! — воскликнул я смущенно — в смущении за него, что он меня не узнал.

— Ваш пропуск, — потребовал дежурный спокойно.

— Да я же тут... да вы же... Да я только что... русская литература... — проговорил я, растерявшись.

— Вам что — назначено? — спросил дежурный, глядя на меня с неодобрением.

— Да нет, я забыл... я хотел... у полковника...

Что я хотел у полковника, так у меня и не сказано.

Дежурный брезгливо посмотрел на меня, словно бы он не уважал меня за то, что я пришел сюда снова по своей доброй воле, и приказав мне сесть вдалеке, у стены, стал звонить по своим телефонам.

Он звонил так долго, что я опять удивился: да неужели это такой необычный, сложный случай? Да ведь ходят же к ним эти — как их? — тихие люди, ходят тихо и незаметно, а значит, и быстро. Конечно, я не из таких, но ведь они же не знают — а вдруг да я решился сделать им то же самое? Мало ли? Вдруг. Так неужели и тогда они стали бы держать меня столько при входе? Они должны, напротив, поощрить меня за это, потому что не каждый, далеко не каждый на это пойдёт. И если бы они действительно хотели привлечь горожан для такой, необходимой им функции,

то они должны обращаться достойно, а особенно с интеллигенцией.

«Бесхозяйственность, — подумал я с некоторой грустью. — Как всегда у нас и во всём».

Конечно, я это думал не всерьез, а просто так, от нечего делать, прикидывая и такой образ мыслей. Сам бы я никогда не согласился на подобное гнусное предложение, да они и не посмели бы мне его высказать.

Наконец телефоны договорились друг с другом внутри своей связи, и меня допустили подняться наверх.

Я поднялся, дошёл до той, недавней двери и открыл её без стука, думая, что обо мне, ясно, знают. Уже входя, я из вежливости всё-таки вымолвил: «Можно?» — но и сам вслед за этим можно — даже несколько раньше — целиком был внутри.

Полковник вздрогнул, когда я вошёл, и уставился на меня круглым глазом. Брюки у него уже были военные, пиджак держал он в руках и выворачивал наизнанку. «Так вот у них как!» — отметил я с изумлением. Внутри приличного, серенького, модного, с разрезом пиджака, на его на подкладке находился мундир. Оказывается, даже разговаривая давеча со мной, полковник непрестанно был в мундире — только погонами внутрь.

Постепенно полковник взял себя в руки, как ни в чем не бывало вывернул пиджак на мундирную сторону, надел и даже заставил себя улыбнуться.

«Не хочет пока что накричать на меня. Очевидно, боится, потому что я им нужен», — подумал я с гордостью.

— Ну, что-нибудь забыли? — спросил полковник, улыбаясь.

Улыбка у него была странная. Уж очень быстро она у него спадала — хоть бы он подержал её подольше под носом. А то распустит её вполне любезно, а не

успеешь на неё посмотреть и прельститься — уже улыбки как не бывало, ни в одной губе, если можно так сказать.

— Я хотел спросить, — начал я, собираясь быть твердым, но сам замечая извинительность у себя, в своём голосе. Уж такие мы, видимо, люди.

— А что же — спрашивайте! — разрешил полковник щедро и позвал меня сесть.

— Вот... рукопись... — сказал я, доставая рукопись.

— А-а, — сказал полковник радостно. — Да-да, знаю-знаю.

— Знаете? — спросил я испуганно.

— Видел, — подтвердил полковник. — Хорошо переплели.

Он взял её у меня из руки и любовно погладил красивый, слегка ещё влажный её переплёт.

— Но вы же... вы её, конечно, не читали? — спросил я с надеждой.

— Читал, как же, читал, — ответил с удовольствием полковник.

— Но когда же? Ведь вы всё время тут... рукопись большая.

— Надо уметь! — воскликнул полковник. Он был явно польщен и доволен. — Очень быстро читаю. Листаю — и уже прочёл. Не то что этот, как его, безбородый.

Он встал, посмеиваясь, довольный, и даже было расстегнул свой мундир, собираясь, видимо, перевернуть его на культурную сторону, но потом передумал.

— Но когда же? — спросил я опять, перебирая в памяти всю сегодняшнюю встречу.

— А вот когда вы меня тут ждали, вот, тогда, — он показал на внутреннюю дверь, и я сразу же вспомнил.

— Имейте в виду, что я ничего не боюсь, — сказал я решительно, потому что путей отступления не было.

— Правильно, — одобрил полковник. — Правильно делаете!

— Я понимаю, конечно, эту хитрость со штампом, — сказал я, умно и с лукавством поглядев на него. — Но писатель должен иметь смелость отвечать за то, что им написано, и поэтому я...

— Хорошие слова! — воскликнул полковник. — Именно, именно так!

— Так что я готов, — сказал я торжественно и вынул из кармана паспорт. — Вот. Берите.

— Зачем? — сказал полковник, отстраняясь. — Мне не нужно. Да что вы? Всё в порядке!

— Почему же? — сказал я, пытаюсь всунуть полковнику паспорт. — Я готов. Возьмите!

Между нами произошла некоторая борьба, которая заключалась в том, что я всовывал паспорт полковнику в руки, подкладывая его под бумаги, лежавшие на столе, а полковник выталкивал его от себя как только мог.

— Да что это с вами? — сказал он мне вдруг с изумлением. — Что это вы подумали? Всё в порядке!

— Не-ет, — сказал я. — Я всё понимаю. Чем раньше, тем лучше.

Я сделал движение к внутренней двери.

— Нет-нет! — возразил полковник, тоже делая движение, как бы преграждая мне путь во внутренние, застенчивые комнаты дома.

— Да вы не думайте, я вполне готов, — сказал я, прижимая руки к груди. — Право же, готов.

— Но зачем же? — крикнул полковник, не понимая.

— И жена согласна... вот я только позвоню жене... — я метнулся к телефону и взялся за трубку.

И вдруг полковник расхохотался. Он смеялся долго и обидно, и я не знал, что мне делать, я представил себя со стороны, с паспортом в руках, и вдруг страш-

ная мысль о моей, о сокровенной рукописи промелькнула у меня.

— Но ведь вы... вы же говорили... — сказал я растерянно. — Вы же мне говорили? Одиночная... в общем, комната... бумага... я разве против? Как в девятнадцатом веке. Я нисколько не против.

— Да что вы! — сказал полковник уже вполне серьезно и без смеха. — Да это к вам не относится.

— Но вы же... — я совсем был убит. — Вы же читали... вот тут... я долго работал...

— И хорошо поработали! — сказал полковник. — Это будет своевременная, нужная книга!

— Но я думал... теперь так не пишут... критические традиции...

— Правильно, — согласился полковник. — У вас глубокая критика недостатков. Деловой подход. Но с пониманием светлого начала в нашей жизни. Как раз то, что надо.

— Может быть... то есть я это так, в виде предположения... может быть, вы торопились...

— Нет, я хорошо прочёл! Нужная книга!

— Но я... что же это такое? Я считал... я думал... я вполне готов... вы не думайте... это же со всей силой... обличение... — я говорил уже, и сам не зная что.

Со стороны я был, наверно, похож на совсем потерянного человека, на человека не в себе, у которого вмиг подружили колени.

Полковник заботливо взял меня под руку и потихоньку проводил до лифта.

Не помню, как я вышел из парадного по мраморным ступеням и побрёл к себе домой, унося в сумке рукопись, в новом переплете, с аккуратным лиловым штампом:

«Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

Придя домой, я еле дождался ночи и лег спать.

Ночь прошла у меня очень трудно и плохо. Я всё время просыпался, а потом никак не мог попасть обратно, в сон, где ко мне приходили к тому же разные неприятные, беспокойные предметы и мысли.

В середине ночи мне привиделся тянитолкай — сказочное животное с двумя головами, направленными в разные стороны. На хорошем, грустном, деревенском теле лошади было насажено с каждого конца по голове. Эта бедная лошадь оказалась тем самым лишённой нормального зада. Хотя, разумеется, зад мы почитаем частью, которая хуже, а не лучше самой головы, однако же телу нужна всего одна голова и один скромный зад, который был бы ей всегда противопоставлен.

Я вгляделся внимательно в каждую голову. Одна из них была отвратительна, а другая же, напротив, прекрасна. Однако они всё время переменялись выражениями, так что было никак не понять — которая же из них отвратительна, а которая именно, напротив, прекрасна. Но в каждый момент какая-то одна была вполне отвратительна, а другая вполне прекрасна — да, это так, в этом я не ошибся, хотя и не мог разглядеть всю картину получше, потому что внезапно стал звонить телефон. Это меня ненадолго порадовало: вот, уже начинают звонить по ночам!

Я сошел с кровати и бережно выловил трубку из ложа.

— У вас киоск недалеко? — спросил меня сразу же в трубке полковник.

— Киоск? Да, киоск недалеко, рядом, на углу, — отвечал я, не думая, зачем мог понадобиться киоск среди ночи.

— Тогда спуститесь и купите журнал, четвёртый номер, — сказал мне полковник.

— Какой журнал? — спросил я послушно.

— А не скажу, — неожиданно ответил полковник, делая загадку. — Наш журнал, самый что ни на есть наиболее наш. Догадайтесь.

Догадаться, конечно, было вовсе не трудно.

— Ага, — сказал я. — Понимаю. Но зачем?

— Мы вас там напечатали, вот зачем, — сказал полковник с удовольствием.

— Как? Уже? — испугался я. — Так быстро?

— А у нас всё быстро. Не то что у того, безбородого! — сказал полковник и захмыкал несколько самодовольно.

— Как же так? — начал я упавшим голосом. — Неужели...

Но полковника уже в трубке не было, он отключился.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул я в отчаянии, роняя трубку неизвестно куда. — Какое несчастье!

— Что? Что такое? — испугалась жена, просыпаясь.

— Несчастье... Какое несчастье! — приговаривал я.

— Да что случилось? — закричала жена.

— Ты представляешь? Меня напечатали!.. — ответил я горько. — Целых два года работы насмарку!

Я сел на кровать и схватил себя руками под мышки. Я начал, сам того не замечая, от горя раскачиваться в разные стороны.

— Ну ничего, ничего, — говорила жена, прижимаясь ко мне щекою и утешая, хотя и не верила сама, что ничего. — Ты же не стоишь на месте, как другие. Ты работаешь дальше. Ты развиваешься. У тебя другая повесть в заделе, похлеще. Уж ею-то ты им покажешь! Уж её-то ни за что не напечатают, можешь быть уверен!

— Правда? Не напечатают? — спросил я с надеждой.

— Ни за что! — сказала жена, постепенно набирая уверенность, и я слегка повеселел, потому что я очень всегда доверял своей жене, её чувству.

— Но почему, почему же так быстро? Ведь он говорил мне сегодня: пять месяцев? — вспомнил я вдруг и от этой новой, неожиданной мысли как-то сразу же понял, что полковник сейчас в телефон пошутил, сидел себе, видно, один на работе (они же, бывает, сидят по ночам), стало полковнику грустно одному в кабинете, ну он и того, и пошутил надо мной.

— Ну конечно, пошутил! Он весёлый, полковник, с пониманием юмора. Конечно же, пять месяцев, не меньше, ведь он говорил! Раньше даже у них не бывает, никак... — сказал я жене и вздохнул с облегчением.

январь 1966

От автора

РАССКАЗ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Литература — занятие страшное, она сбывается. Я хорошо помню, как однажды в январе 1966 года я позавтракал и собирался поработать, то есть написать что-то, заказанное мне Детгизом, но не сразу мог себя заставить и даже задремал, оправдываясь необходимостью образовать в себе свежую голову, как вдруг у меня пошел и разом написался этот рассказ, ничего хорошего мне не принесший. Именно с него начались все мои неприятности, закончившиеся — грустный юмор — отделением меня от государства.

Он стал ходить по рукам, что зовут нынче самиздатом, да еще с большой буквы — слово, удобное

краткостью, но сбивающее с толку западного человека, а при нашей беспечатности мы его знаем еще с Баркова, еще с Василья Львовича Пушкина. Рассказ переписывали, потому что он (как мне объясняли) снижал смехом страх. Гуляя самиздатно по рукам, догулял он в 1968 году до КГБ. Всё-таки это удивительно: столько, казалось бы, среди рядового населения раскинуто незаметных стукачей и тихарей (деликатно названных в рассказе тихими людьми), а понадобилось два года, чтоб достучаться до главного уха. Зато уж тогда я узнал это сразу. Беспартийного меня пригласила беседовать партия. В этот раз она поворотилась ко мне — как фольклорная избушка — самой культурной своей стороной (насколько может): беседовал отдел культуры нашего обкома. Очень вежливо спрашивали меня, зачем я пишу такие рассказы, порчу себе жизнь, да еще не понимаю, что их никак нельзя печатать. «Почему?» — спросил я простодушно. Я всегда верил и продолжаю верить в великую силу наивности. В ответ похихикали: «Представьте себе... вот это место хотя бы, об использовании на государственной службе вороватых людей... — и где-нибудь в журнале «Нева», например, а?»

Действительно, пожалуй, смешно.

Надо сказать, что мне самому представлялся смысл рассказа не слишком оскорбительным для властей. Мало того, кто-то мне говорил, что я изобразил их слишком мягко и добродушно, а они не такие. Какие «они», я знал тогда понаслышке. И рассказ, казалось мне, был не столько о них, сколько об интеллигентном филистере (я взял всё на себя, дав своё имя), для которого притягательна игра опасностью сама по себе, без нужды: бездна тянет. Но бездна рассердилась, и в мае 1968 года тогдашний генерал Ленинграда В. Шумилин (ведь они генералы, хотя об этом обычно молчок), выступая перед «творческой интеллигенцией», впервые продолжил мой рассказ.

Говоря о самиздате, он выделил этот рассказ как самый распространенный тогда в нашем городе — тут же я нажил себе несколько врагов из пишущей братии: еще одно продолжение рассказа. Он подробно пересказал сюжет и осудил его:

— Марамзин искажает нашу работу, хотя еще и не знаком с нею.

Фраза странная, от неё и в самом деле веет бездной, но во второй части справедливая: я тогда еще ни разу не вызывался в КГБ. Иллюстрируя искажение работы, Шумилин расстегнул свой модный пиджак, — он действительно был в пиджаке, мундир пугает! — слегка приспустил его с плеч и показал всему залу, что погон внутри нету. Честное слово, я бы не поверил, но мне рассказали пять независимых очевидцев. (Один актер, правда, ждал целый год, когда меня посадят, но видя, что всё не сажают, рассказал тоже.) Застегиваясь, Шумилин пригрозил: «Теперь нам придется заняться Марамзиным серьезно».

Не знаю, жалеть русскую литературу или радоваться за нее? Жалеть — потому что нельзя же понимать всерьёз, будто Достоевский убил старушку-процентщицу, а у Гоголя сбежал в Петербурге так называемый нос, и поэтому он не оставил наследников. Радоваться — ибо нигде и никогда один рассказ малоизвестного автора не может занять всерьёз работой целого тайного генерала. Но угроза, надо понимать, была вполне честной, мне бы здесь надо вздрогнуть и понять, что генералы не прощают тем, кто заставил их по глупости раздеться при народе.

Тогда я впервые, пожалуй, задумался над моим сюжетом. Тянитолкай, этот сказочный головоконь, детское изобретение дедушки Чуковского, лингвистический брат фортепяно, он же — не всегда добровольный способ тройственного соития, почему он пришел ко мне в голову и оттеснил мой мирный, хлебный Детгиз?

Между тем, продолжения продолжались.

По местному радио, крадучись, без передачи в исторический эфир международной выступил главный агитатор обкома Зазерский. Он рассказал, как много тратится за океаном на холодную войну и кому идут эти деньги. Назывались русские фамилии бежавших за границу. «Есть нестойкие люди и в нашем городе», — сказал он вдруг, и я с изумлением услышал, что из поэтов Бродский, из художников Виньковецкий, а из прозаиков Марамзин* уже давно зарятся на этот золотой дождь, который — тут я несколько не понял — как будто вроде бы уже на них излился. Мы шутили: жалко, что это всего лишь обычная партийная ложь. Но после такого выступления, без шуток, должны были сразу прийти арестовывать — но не пришли. И это было достаточно странно.

Вскоре по какому-то поводу вызвали моего дальнего знакомого на Литейный, в КГБ. В Ленинграде это называется «Большой дом», потому что дом действительно не маленький, построен архитектором-конструктивистом в 1933 году, под личным присмотром Кирова, которого его подопечные после новоселья сразу же и «замочили» (жаргон). Через десять минут речь пошла обо мне. Лейтенант Губанов спросил знакомого, читал ли он «Тянитолкая». Он, конечно, не читал, и Губанов, трясаясь от раздражения, произнес: «Да я бы его за этот рассказ лично высек. Ведь не знает нашей работы, никогда у нас не был, а берется писать!» Кажется, за эту фразу, широко разошедшуюся, болтунишка был из конторы всё же убран. Но в

* Кстати, нас троих — совершенно разных людей — тогда впервые соединили вместе. Теперь, вероятно, соединение было бы правильным, по одному признаку: на сегодняшний день все трое оказались вынуждены уехать из страны. Не было ли так и задумано именно тогда — «в верхах»? Не было ли это радио первым звонком? Тогда, надо сказать, правда, что ГБ сидит высоко, глядит далеко. Выходит, справедливы догадки о долгосрочном планировании.

тот день, услужливо подавая пальто моему знакомому, он доверительно попросил: «Вот теперь вы были в Большом доме, знаете, как у нас тут разговаривают — расскажите ему!» Знакомый рассказал.

И только тогда я понял, что действительно, никогда не бывая в КГБ, слыша о нем рассказы, наводящие прямой ужас, я тем не менее невольно угадал и предсказал новое, *странное* поведение органов.

В сентябре 1969 года я, наконец, сподобился: меня вызвали повесткой по делу сбежавшего Кузнецова — у того после событий нашли в архиве рукопись моего рассказа (всё того же). Меня уже не удивили вежливые, в духе тянитолкайства, разговоры следователя, похвалы моей детской книжке и шутки «от обратного»: «Про нас говорят, что мы наганами грозим, но вы же видите, что нет?» Ха-ха, очень смешно. Или: «Тут один распространял, будто мы половые органы к сиденью прибиваем!» Невольно приподымаюсь над стулом.

— Чего только про нас не рассказывают! — весело засмеялся следователь (Тареев).

Нет, подумал я, рассказать про вас не так-то просто.

Во время обыска прежде всего забрали все мои рукописи, называя их наизусть поименно (мои первые литературоведы), но после ареста майор Рябчук сказал: «Не волнуйтесь, «Тянитолкай» мы вам инкриминировать не будем. Лично я на него не в обиде», — и опять соврал. В числе других вменили мне и старого «Тянитолкай», о котором давно знали, за который могли посадить уже шесть лет назад, да почему-то тогда не посадили, а лишь теперь.

Когда я узнал о происшествии с Войновичем в «Метрополе», я не мог не вспомнить этой истории. Совпадение, по-моему, просто невероятное. Можно подумать, что мой рассказ был положен в основу сценария. Приходится слышать сомнения: да не может

быть, Войнович что-то путает, половину он придумал — писатель! Но я-то знаю, что весь его рассказ — чистая правда. Новая тактика, новое, странное поведение ГБ именно рассчитано на то, что тебе не поверят. Да нет, ты просто не поверишь сам себе — вот как они ведут себя нынче. А в случае чего, при очень уж точных рассказах — в психушку тебя! Мания преследования у тебя, разве не ясно?

Наши органы не шутят, хотя, конечно, они непрерывно работают. Они расстреливают — это да, то есть когда-то расстреливали. Они угрожают — опять когда-то, в отдельных, отдельно взятых случаях угрожали. Но они не занимаются такими вещами, как легкое отравление не до потери полной жизни.

Но я теперь на них насмотрелся и хочу сказать: нет, они занимаются всем. Не существует ничего, на что они были бы неспособны. Они способны, как ни странно, даже походить на людей.

Литконсультант КГБ Александр Тимошенко участвовал в моих обоих обысках. «А я ведь тоже пишу, Владимир Рафаилович, — сказал он во время первого, роясь в моих бумагах, раскрытых, как родительская постель. — И даже немного печатался». — «Прозу?» — спросил я машинально. «Ну что вы, где мне прозу, силенок не хватает. Стихи...» Уходя, он единственный из всех обыскантов крепко, как собрату, пожал мою руку своей литературной рукой. Разве это правдоподобно?

Я вспоминаю майора Рябчука. Ему сорок два года. Привычка стать над тобою сидящим и долго смотреть в глаза, подергивая битой верхней губой. Думает, что взгляд его трудно выдержать — не трудно, но скучно на пятом десятке играть в гляделки с дядей в советском учреждении власти, вдыхая аромат офицерской немытой подмышки. Любимая книга — «Клим Самгин» Горького, и в этом есть даже цельность натуры, не правда ли? книги они выбирают себе под стать.

Часто повторял оттуда: а был ли мальчик? Любил казарменные шутки: хорошая мысль приходит опосля — и первый смеялся. На допросах Рябчук давал мне читать Библию, считал, что он, хитрый, отвлекает меня от очередного вопроса, застигает врасплох, а не мог понять, что это чтение придаёт сил. Иногда он очень обижался, Рябчук, и тогда у него трясся шрам на хорошо битой кем-то губе. Он всерьёз обращался к моей этике, не имея своей, и советовал прочесть в Писании, что нельзя лгать и нужно уважать властей предержавших. Разве это правдоподобно?

Я вспоминаю старого разросшегося мальчика с седой кудрявой головой, сигаретами «Винстон» и фамилией скабрезного поэта — полковника Баркова. Когда-то он был самым молодым полковником в органах. Он работал в Эстонии после войны, среди «лесных братьев» и, предавая их поштучно, зарабатывал звания, да еще написал о своем предательстве книгу. «Вы талантливый человек, — говорил он мне, — зачем же вам пеньки сшибать в Кировской области?» Я говорил ему, что рад за свою страну: видно, у неё настолько нет врагов, что приходится гоняться за такими, как я. У Баркова на это давно приготовлен народный ответ: «Комар тоже кусает не насмерть, а мы его всё равно убиваем».

Разве прежде разговаривали так, почти разумно? Тогда стучали наганом, гасили в лицо сигареты и выбивали ладонью барабанные перепонки. Когда меня спрашивают, я честно отвечаю, что со мной такого не делали. Но нельзя на этом основании говорить о прогрессе. Они уже встали с четверенек, но лишь для того, чтобы освободить конечности для камня. Когда они разговаривают, это страшно. Это противоестественно.

— Вот мы с вами разговариваем, а вы, наверно, запоминаете и сможете потом нас всех описать, — сказал мне Барков.

Он имел в виду: мы же ничего, если честно, мы же похожи на людей? Но я не стану их описывать, потому что не узнал ничего нового. Я описал их, оказывается, раньше.

В местностях, где комаров истребили под корень, сперва исчезла рыба, питавшаяся комариной личинкой, после — птица, кормившаяся рыбой, потом усохли деревья, сожранные червяком, расплодившимся в отсутствие птиц. Комар, конечно, кусает — но без него пустыня. Я пробовал сказать это Баркову — он не услышал. Они уже говорят, но еще не слышат. Да и некогда: в ту минуту как раз прибежали его повышать, теперь он зам самого генерала. Странное поведение старых ответственных мальчиков — приветствуется. Наверно, оно рекомендовано научно.

Про «большие дома» существуют легенды в народе. Пятнадцать этажей под землю, не считая наружных. В камерах вода по колено. Перед допросами бьют. Знают приемы, чтоб на личности не осталось следов. Есть дают через день. В еду подмешивают порошок откровенности.

Наверно, я многих огорчил. Я разрушил легенду, испортил песню: меня не били. Партия умеет признавать свои ошибки, и, возможно, пятнадцать подземных этажей культа личности нынче переделали в двадцать наземных*. Я даже чувствовал себя виноватым за это. Простой советский человек уже привык к тому, чтобы били. Если не в морду, то — потепление. Психологические пытки — нам понять это сложно. Даже и психушки, страшней которых ничего не может быть для человека, сделали из-за того, что это не тюрьма. Пока еще сложится легенда о психушках, пока их ужас

* Так оно, кстати, и есть: на Охте, в Ленинграде, пару лет назад построено новое огромное здание КГБ за колючим забором, занимающее целый квартал. Зачем же лезть под землю? Что нам, места нет на поверхности?

дойдет до фольклора, пройдут десятки лет. А пока наше общее мнение: стало лучше.

И честное слово, я не виноват, что на сцене совершенно новый персонаж современности: Тянитолкай с человеческим лицом.

Владимир Марамзин
декабрь 1975
Париж

ВРЕМЯ И МЫ

В странах Европы и Америки производится подписка на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем на русском языке, выходящий с ноября 1975 года в Тель-Авиве.

Вышло шесть номеров журнала. Читайте в них:

- Артур Кестлер** «Тьма в полдень» — впервые на русском языке.
- Илья Суслов** «Прошлогодний снег» — повесть о жизни московского юноши в 50-60 годы.
- Борис Хазанов** «Час короля» — повесть.
Журнал предлагает вниманию читателей нового автора, живущего в Советском Союзе.
- Борис Орлов** «Миф о Фанни Каплан» — автор опровергает общепринятую версию покушения на Ленина и предлагает новую трактовку этого события.
- Наталия Михоэлс-Вовси** «Убийство Михоэлса» — дочь великого еврейского актера рассказывает о неизвестных обстоятельствах убийства Сталиным ее отца.
- Йосеф Текоа** «Проблемы и парадоксы Ближнего Востока» — бывший представитель Израиля в ООН — о положении на Ближнем Востоке.
- Марк Перах** «Факты или селекция образов» — профессор Перах об изображении евреев в творчестве Солженицына.
- Аркадий Белинков** «Проглоченная флейта» — глава из книги «Сдача и гибель советского интеллигента».

Условия подписки:

- | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| В США и Канаде | — 6 месяцев — 19.60 \$, | 1 год — 32.20 \$ |
| Во Франции | — 6 месяцев — 78 F. F., | 1 год — 156 F. F. |
| В Германии | — 6 месяцев — 46 DM; | 1 год — 92 DM |
| В Италии | — 6 месяцев — 13 000 L, | 1 год — 26 000 L |

Подписка производится по адресу: «Time and we», Montly magazine, 23 Ibn-Gvirol St., Tel-Aviv, Israel.

Требуется заявка с адресом подписчика и чек на соответствующую сумму.

Из последней книги стихов

(март-сентябрь 1975)

Тень мой, стин мой, тихий стон
струн, натянутых на стены,
камерная музыка
и казарменная брань.

Я и до сих там брожу,
брежу, грежу и тужу,
в ту же сдвоенную решку
зачарованно гляжу.

Всё свое ношу с собой:
этажи в пружинных сетках,
вечное отчаянье,
ежедневное житье.

Только тень в стране теней
всё яснее и плотней,
и сгущается над нею
прежний иней новых дней.

* * *

Остаться одною
из малых сих.
Умри, перекован,
в оралах стих.
Так вроде бы вечный
в каналах лед
кончается в таяньи
шалых вод.

* * *

Как хочется мне
вам
в дар принести балладу,
да дождь на складу по дровам
сбивает со складу и ладу,
по мелкой лежалой щепе,
по грязной шершавой берёсте,
и тянет из дыр и щелей,
лома фортепьянные кости.

Чахотка бескорыстного Шопена
в наручниках невидимых, но ржавых —
не тема, не мелодия, но сор, труха и пена...
Ни дома, ни двора, одни руины в травах.

Весна, вихляя, пляшет на погосте,
и до того жирна зола столицы,
что ты поймешь: мы не проездом в гости,
мы здесь в гостях, ненадолго, как птицы.

* * *

Жужжание жука, журчание ручья,
язык, звуча, значенья в звуки
влагает так, как в раны руки,
вдыхает так, как душу в глину,
где ничего наполовину,
где тонкая стрела разлуки
застынет, застонав, на луке,
но силой меткого плеча
метнется в небо сгоряча.

* * *

Мое любимое шоссе
в рулон скатаю, в память спрячу,
как многолетнюю удачу,
как утро раннее в росе.

И даже Вышний Волочок,
где ноздри только пыль вбирают
и где радар с холма взирает,
как глаз, уставленный в волчок.

Еще и на исходе дня
тревожный тяжкий сон в кабине,
и вздохи в зное и в бензине,
и берег, милый для меня.

* * *

О, как на склоне
жестка стерня,
на небосклоне
ночного дня.

В полнеба тень и
в полнеба темь,
судьбы сплетенья,
как лесостепь.

Но, влажным сеном
шурша впотьмах,
помедли нетленным,
продлись не во снах.

* * *

— Так ты летишь, смешная?

Куда и для чего?

— Да я сама не знаю,

не знаю ничего,

туда, где я не знаю,

не знаю никого,

ни друга, ни подруги,

ни милого моего.

Под круглое окошко

вползают облака,

на них наверняка

не вырастет морошка

холодные бока,

накатана дорожка,

одно смешно немножко —

прощальное «Пока».

* * *

Господи Исусе, Пресвятая Богородица,

что за народец от нас народится?

Как свернутый в трубочку листок смородины,

гонимый ветром через колдобины,

через овраги и буераки,

где подвывают одни собаки.

Что за народец, что за отечество

и что за новое человечество?

Как перестоявшая, запрошлогодня

верба вилёнская богоугодная,

верба раскрашенная, верба сухая,

песок лепестков на меня осыпая...

* * *

Не до жиру, быть бы живу,
быть бы живу, мой дружок,
не отдать сухую жилу
заплести в чужой смычок.

ГОРБАНЕВСКАЯ Наталья — родилась в 1936 г. в Москве. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Работала библиографом, переводчиком, редактором. Участница демонстрации 25 августа 1968 г. на Красной площади против вторжения в Чехословакию. Автор книги о демонстрации «Полдень» («Посев», 1970). Основатель «Хроники текущих событий».

Основное занятие — стихи. Как поэт, считает себя ученицей Ахматовой. Постоянно выпускала стихи в Самиздате. На Западе ее стихи публиковались по-русски (основные сборники: «Побережье», Анн Арбор, 1972; «Три тетради стихотворений», Бремен, 1975), по-английски и по-немецки. В Советском Союзе напечатано несколько стихотворений и поэтических переводов.

С декабря 1969 г. по февраль 1972 г. находилась в заключении (Бутырская тюрьма, Казанская специальная психиатрическая больница). В декабре 1975 г. выехала на Запад и сейчас живет в Париже.

Стихотворения

* * *

Цветущая сирень в окне
И небо — до чего весеннее!
Пленительное ощущение
Весенней радости. Игра
Добра и зла.
И вдохновение.

Во мне, там, в глубине,
Где так светло и так темно,
На самом дне
Сознания — иль подсознания,
Сегодня, завтра и вчера
Сливаются в одно
Блаженное мгновение.

Мгновение, остановись!
Остановись! Звездой зажгись
И превратись
В мои стихи,
Те, что как Божья благодать,
Меня сумеют оправдать —
Меня.

И все мои грехи.

Из стихов, написанных во время болезни

Одеяло, сбитое с толку,
Уползло с постели на пол.
Я смотрю на книжную полку,
На зеленый письменный стол.

Тень охотника проскользнула
За косматою тенью льва,
Ледяная звезда мелькнула
Сквозь оконные кружева.

Я спросила у книжной полки:
— Как зовут звезду? —

Орион!

Тени пальцев тенью иголки
Вышивают стихами сон.

* * *

В облаках грохочет гром.
Катастрофа! Смерч! Содом!
И Гоморра, и Содом!
Или это Страшный Суд?

Время лопнуло по шву,
Заливая всё кругом
Морем огненных минут,
Тех, что нечестивых жгут
Очистительным огнем.
Сколько их сгорело в нем?

Я спрошу Иегову,
Умерла я иль живу,
В грешных радостях и зле,
Здесь, на этой вот земле,
Иль другой мне выпал жребий —
Я теперь витаю в небе
С херувимами, чьи рожи
На мою слегка похожи.

ОДОЕВЦЕВА Ирина Владимировна — известный поэт и прозаик. Родилась в Петербурге. Была участницей гумилевской студии «Академия стиха». В сентябре 1922 года вместе со своим мужем, поэтом Георгием Ивановым, уехала из России. Проведя год в Берлине, она переехала во Францию, где живет и сейчас. Автор многочисленных стихотворных сборников, романов, воспоминаний.

ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА

Mr. Saul Bellow
University of Chicago
1126 East 59th Street
Chicago, Illinois

Дорогой господин Беллоу!

*Сердечно поздравляем Вас с присуждением
Вам премии Пулитцера за 1976 год.*

*Редакция журнала
«Континент»*

ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА ТЕЛЕГРАММА

ЧЕШСКИЙ ХЭППЕНИНГ

(Продолжение)

Глава IX

Карлуша Блатник —
пылающая совесть районного города

(Часть первая)

Карлуша Блатник, художник, очень приятно. Я человек скромный, сеньор, одно скажу — художник, за меня говорит мое творчество, обширное, сеньор, это уже для вас не секрет.

Говорили мне, каковы ваши научные интересы, сеньор. Наконец-то это пришло кому-то в голову! Ну, а теперь вам будет полегче: в моем лице вы встретили знатока. Ведь Карлуша Блатник, сеньор, — ходячая хроника города, внимательный свидетель его бурных времен, человек, с которым здесь говорит каждый дом и каждый булыжник (хоть мостовую и залили асфальтом). В Белявке я мыл ноги и ловил форелей, пока они там водились; в здешней ратуше трижды женился, а в городском суде — разводился; там же я получил три месяца условно; а городской магистрат дважды устраивал мне головомойку за нарушение правил социалистического общежития и немедленно наградил меня медалью «За заслуги в строительстве города» и памятной медалью к 100-летию открытия железнодорожного сообщения, хоть меня при этом и не было. Ведь я, сеньор, прямо-таки пылающая совесть

этого города, и когда мои останки повезут на здешнее кладбище, оплакивать меня сбегится столько народу, сколько ни на чьих похоронах не бывало. Да, сеньор, Карлуша Блатник — это именно я.

Мой нынешний вид, конечно, уже не вполне соответствует молве, но — червь времени, как вы, наверно, знаете, все подтачивает, и вас уже тоже, подлец, подточил, как я погляжу. Но прикройте глаза и вообразите меня лет этак тридцать назад: атлетическое сложение, рост 185, король бассейна, и при этом — знаменитый художник и скульптор! Мои произведения стояли на всех площадях; мои скульптуры покупал городской музей; женщины валом валили в мое ателье, умоляя вылепить хотя бы ручку, раз уж нету денег на целый бюст. И притом еще — график и фотохудожник, богема, просто всё в одном человеке, перед которым трепетали поколения, потрясенные моими творческими идеями, — я, знаете ли, сеньор, и сам удивляюсь, как это всё в меня вместились.

Знал я людишек, которых вы нынче, сеньор, кладете под свой литературный микроскоп, знал их интимно, близко, изнутри и снаружи, приобретая познания прямо от их жен, а то и от дочек: я ведь уже намекнул, что моя творческая потенция захватила, по крайней мере, два поколения; и не бывать тому, чтобы меня это больше не интересовало, я бы и еще успел, но хватит об этом, сеньор, человек смертен — работа живет, так, что ли?

Впрочем, сеньор, легко нам сегодня разговаривать! Летим мы, как птицы, со своими характеристиками, не надо душить телефон подушкой, или поглядывать, не топчется ли кто за спиной, или вовсе искать за картинами, чего там вмонтировали в стенку. Но тогда, сеньор? В те времена? И о тех людях? Тогда бы вы не взялись за такое сочинение, а уж если взялись бы — всё пошло бы не так. Что бы вы получили тогда от Карлуши? Розовые пастельные портре-

тики благодетелей; вам бы и в голову не пришло усомниться в их незапятнанности, да что там — в их гениальности! Нежной кистью и восторженными словами живописал бы вам Карлуша своих покровителей, а вам осталось бы только больше не удивляться и постараться видеть как я, как все. Есть у вас дети, сеньор? Ага, есть — у меня не было, я и то старался!

С кого бы начать — с самого себя, что ли? Себя-то я изучил. Так вот, я сюда перебрался после женитьбы, сеньор. Банальная история, краткая юношеская вспышка, не стоит распространяться, последствий в виде алиментов, слава Богу, не было, но в результате я оказался тут. Впрочем, мне здесь понравилось. Как художник я нашел тут невозделанное поле. Никто меня ни о чем не спрашивал, и я предусмотрительно начал с заказов, которые отвечали эпохе: я собирался устроиться, заработать расположение начальства и только потом замахнуться повыше — не слишком, конечно, не слишком, в рамках возможного.

Да, обо мне говорили, что я вступил в их ряды. Но, сеньор, на самом-то деле я всю свою жизнь был членом одной-единственной организации, — не падайте в обморок! — Союза дружбы с Китаем. Некий Поспишил всучил мне, — в ресторане, где подавали конину, на Якубской улице, — анкету, и поскольку это был известный псих, я предпочел ее тут же заполнить. Через неделю я получил по почте членский билет. А организация эта была любопытная, сеньор. Никаких собраний, никаких взносов — не знаю даже, была ли у нее какая-нибудь программа; потом она, наверно, тихо сошла на нет, когда о дружбе с Китаем перестал говорить даже Институт востоковедения. Но я — я никогда уже не переставал носить с собой ее членский билет номер 215 и ношу до сегодняшнего дня, можете взглянуть. Что касается прочего, сеньор, то ни в каких других организациях я не состоял — не этим я на жизнь зарабатывал!

Знаете историю с моим памятником? Ну, так я вам расскажу. Неужели вы думаете, я сумел бы изваять такого Голема?* Или даже слепить? Да никогда в жизни! За такую каторжную работу Карлуша не брался. Карлуша делал только тонкую работу!

Не думайте, между прочим, что мне легко было заполучить этот заказ. Я, сеньор, прямо с ног сбился, пока добрался до этого гешефта. Мало было даже благосклонности Иренки Тафовой, хоть ее колченогий и был тогда как раз старостой. Мне самому еще пришлось уступить Вилемчику Шупу свою верную сожительницу Мириам Балажову да поиграть на гитаре старухе Бребурдовой, а уж Гаеку — он, увы, тяготел к мальчикам — я срочно раздобыл одного аж из Евичка! Но херувиму, как назло, не нравился Гаек, и он выламывался, как мог. Гаек так забил себе этим голову, что вообще воздержался от голосования. Когда мои дела окончились благополучно, мне уже стало безразлично, что с их романчиком. Но подумайте о начальных расходах!

Ну, как мне памятник заказали, нанял мой помощник Ружичка грузовик, и мы тишком отправились в Ловосице, где была целая свалка старых памятников. Управляющим там состоял некий Карел Шршень, унылая фигура, прямо создан быть надзирателем. Но дело свое понимал — я же не первый и не последний приезжал туда за творением. Он спросил прямо:

— На коне или без коня? Сидячего или стоячего? Лежачего — у меня в аккурат один ополченец с противогазом, жертва первой войны, одноногая. Какой вышины статую? Какого матерьяльцу? Штатскую или форменную?

Это был знаток, сеньор, но еще и жулик: он нам

* Голем — по еврейской легенде — слепленная из глины фигура мужчины, которая должна была прислуживать раввину Леви. — Прим. пер.

попробовал продать Рашина*, но это была подделка из гипса, потому он и держал его под брезентом — при первом дождике он бы поплыл. Ну, я ему объяснил, что мы сами знатоки, и наступило взаимопонимание. В Барахолкове хотели двухсполовинойметровой, чтобы не меньше, чем в Погорелове, так что выбирать не приходилось. Такого размера нашелся только Бисмарк да еще один фюрер, но фюрер был в сапогах, а Основатель сапог не носил. Взяли мы с Ружичкой этого Бисмарка, заплатили тысячу крон, и ночью Шршень втащил его подъемным краном на наш драндулет — тот только застонал.

Адского труда стоило незаметно вволочь Бисмарка ко мне во двор, но зато уж после этого и мы стояли перед ним, охваченные творческим восторгом. Один был у него недостаток: кривая задница. Правая половина была ровно на двенадцать сантиметров больше левой. Почему так — не знаю, но это факт. Была такая идея — стесать это к канту, вроде у него что-то в кармане, например, плоская фляжка, но в таком виде его ни за что бы не приняли. Оставили мы ему эту задницу, как есть, и прямо принялись за дело. В первую очередь надо было отломать голову.

Ох, какого это стоило труда! Камень этот, из которого Бисмарка сделали, был как железо. Когда мы с Ружичкой наконец отбили голову, пришлось сутки отдыхать. Только после этого мы завернули голову Бисмарка в тряпки, погрузили в мою машину и ночью отвезли к Эльбе, да подальше. Съехали в темноте к самой воде и — гоп, только пузыри пошли, когда он туда бухнул.

Кто-то там, видно, поблизости ловил рыбу — и как сразу начал орать: «Ловите их, мертвеца выбросили!» — но мы гнали как бешеные и вовремя скры-

* Рашин Алоис (1867-1923) — известный чешский политик. — Прим. пер.

лись. А через два дня мы и вправду прочитали в газете, что в тех краях выловили труп. Ну, на это нам наплевать, главное — голову не выловили. К счастью, тогда во всех магазинах продавались Основатели из любого материала, так что мы только сняли мерку для головы и поехали раздобывать подходящий экземпляр. Ну, удалось нам разыскать два, но не так чтобы очень: одна голова была слишком маленькая, почти головешка, а вторая чуток побольше, чем надо. Не то, чтобы Основатель выглядел с ней, будто у него водянка мозга, а все-таки больше, чем у совершенно нормального. Но все равно все знали, что он не вполне нормальный; и к тому же, с той головой, немного сверхнормальной, я мог бы утверждать, что сделал это нарочно: таков мой творческий замысел — жelaю, мол, подчеркнуть гениальность Основателя.

И вот что ужасно интересно: что голова у него чересчур большая — никто не обратил внимания, но что одна половинка, извините, задницы побольше, — так это заметили сразу же. Тут-то я и понял, что для них важнее всего у вышестоящего деятеля.

По купленной голове мы потом сделали форму, набухали ее штукатурным цементным раствором, немного подкрасили его коричневым, чтоб было похоже на остального Бисмарка, воткнули в это железный стержень и оставили на три дня затвердевать. Когда мы форму разбили, сами ахнули, до чего же нам удался Основатель.

Должен признаться, что главную работу делал не я, а Ружичка — он вообще был самым ловким парнем в Барахолкове. Он умел абсолютно всё и знал, как что нужно делать. Поэтому, как только Основатель застыл, сняли мы мерку со стержня, Ружичка где-то одолжил специальное сверло для камней и провертел Бисмарку в шее дырку, — туда мы и вколотили Основателя. Вышло все прекрасно. Головушку мы ему повернули немножечко на бок, забетонировали, опять

сделали коричневый строительный раствор, и я его нежно наляпал по шее, так что Бисмарк выглядел так, будто всю жизнь ходил с головой Основателя. Господи, что бы тогда было с Германской империей? — пришло мне в голову, но художнику нельзя о таком задумываться, иначе он ничего не сделает. Само собой, мы это еще пригладили и натерли до блеска, и через пару дней наш Основатель был готов — радость поглядеть.

Выпили мы за это, и когда хорошо набрались, Ружичка перепугался, не явится ли Бисмарк пугать нас по ночам за такое надругательство. Я его вмиг успокоил: привидений на свете нет, и один Бог знает, сколько Основателей так вот украсило Чешскую землю в те благословенные времена, на скольких Рашинах и других достопочтенных деятелях нашла упокое-ние та голова за 12 крон 60 геллеров из магазина «Худо-жественные товары»?

В глазах общественности я, конечно, не мог закончить такой огромный памятник за столь короткое время — это была бы халтура. Поэтому я еще четыре месяца делал вид, что ваяю. Я записал на магнитофон звуки ударов резца и молота, и всё население, слушая гимноподобный ритм моей творческой работы, качало головой над моей выносливостью, а я сидел в качалке, пил пиво и покуривал, иногда полеживал, но один: этот производственный метод я не мог выдать ни одной даме.

Через четыре месяца я выключил магнитофон, попросил Ружичку положить мне руку в гипс и, симулируя несчастный случай во время работ по завершению памятника, отправился к референту по культуре. Назавтра же в мастерскую явилась приемная комиссия самого высокого районного уровня.

Сами понимаете, сеньор, что я к этому подготовился. Снял со стен голеньких и развесил бородатых, закупил угощение и пригласил Мириам, вроде обслу-

живать. Она была тогда, кажется, в своей лучшей форме, надела глубокое декольте, чтобы господу видела, и очень короткую юбку, чтобы обратили внимание. Чего дальше рассказывать — скушали всё как миленькие. Бребурда, он тогда был районным диспетчером, чуть на месте Мириам не изнасиловал, а бедняга Шуп, он по ошибке взял жену, усиленно делал вид, что Мириам не знает; Тафова же притворялась перед Тафом, что у меня в гостях впервые. Но главное — Бисмарка купили за сто тысяч и глазом не моргнули: в Погорелове-то за совсем дохленького дали девяносто, а я им поставил Основателя такой красоты, что, не будь этой задницы, я бы и еще больше потребовал.

Все было сделано с таким совершенством, что хвалили даже пражские газеты, и мне пришлось отказать от других заказов, включая Карела Гинека Маху* с Ярмилой, потому что тот болван Шршень между тем продал ополченца. И за все годы, что стояла эта штука на площади, никто ни о чем не догадался, и если бы я сам во всем не сознался, никто бы и не поверил. От меня еще хотели, чтоб я это доказал, и скажу вам, что стоило большего труда отбить приделанную мною голову, чем ту, первоначальную, так здорово ее Ружичка присобачил.

Конечно, меня потом вообще попрекали, что я повсюду делал праздничное оформление, и, главное, из-за Сверхгения. Этот самый тогда праздновался практически непрерывно, и я знаю людей, сделавших себе из него прямо-таки доходное дело и выжимавших миллионы. Куда мне до них!

Я всего-навсего делал каждый год для фасада ратуши трехметрового Сверхгения — на мешковине, которую я красил латексом, хотя в смету, конечно,

* Маха Карел Гинека (1810-1836) — чешский поэт, представитель чешского революционного романтизма. — Прим. пер.

ставил синтетику. Тут тоже всяко бывало: например, один раз мне заявили, что Сверхгений чересчур желтый, — это потому, что я окружил его такими желтоватыми лампочками, других нельзя было достать. А на главное, заметьте, не обратили внимания, как и с Основателем: я им поставлял за всё это время только двух Сверхгениев и чередовал их, чтобы не бросалось в глаза. Во-вторых, я его ежегодно подкрашивал, и он у меня с каждой стороны становился на пять сантиметров толще. Так что к концу этого идиотизма у нас в Барахолкове был самый толстый Сверхгений во всей империи. Выглядел он так хорошо, что его не могли узнать собственные соотечественники и думали, что у нас на ратуше висит не один, а пара Сверхгениев, я и сам побаивался, что провалится мое дело.

Так что видите, как продуманно я работал в те тяжелые времена, сеньор. Таким был я, Карлуша Блатник, и кто может меня в чем-нибудь укорять?

Глава X

Красочное повествование господина Блатника

(Часть вторая)

Думаю, про себя самого мне добавить нечего, расписал я себя в совершенстве. Но вот что мне приходит в голову: если начинать по алфавиту и быть при этом джентльменом, то надо оказать Мириам честь, а не то что отщипывать от нее, когда мне это с руки. Потому что, сеньор, Мириам была моим открытием и моей большой любовью на всю жизнь; и не женился я на ней только потому, что слишком сильно ее

любил и наперед знал, какое у нас было бы семейное пекло.

Помню, как я впервые увидел ее в ночном заведении «Кавказ» (бывш. «Невада»); она заказывает кофе с ромом и пьет его через соломинку. Это ей еще не было пятнадцати, но я, во-первых, не заметил, а во-вторых, не удержался. Утром я почувствовал огромное облегчение, когда она сказала, что ей будет пятнадцать через неделю и что до того времени мы могли бы вообще не выходить на улицу.

Мириам была такая красotka, что ее даже жаль для одного мужчины, и потому я обрадовался, когда она сама начала просить у меня советов, как работать с поклонниками. Между нами царило полное понимание, я сказал бы — и совпадение взглядов, или же попросту — рабочая атмосфера. Когда на шее у Мириам был районный диспетчер, я не отталкивал госпожу старости. А когда наверху происходила смена, нам приходилось заново приспособливаться — не могли же мы, сеньор, нашу красоту и образование растрачивать зря?

К счастью, тогда положение не слишком менялось: у сановников происходила скорее ротация, чем полная смена. Только когда бедняга Бребурда свалился в Мацоху*, в высшую лигу выбился доктор Шуп. Это имело свои выгоды: мы уже знали, как с кем обходиться, а если бы появилась какая-нибудь незнакомая личность, пришлось бы долго выяснять, чего от нее ждать.

Нет, сеньор, Мириам ни в чем нельзя упрекнуть, положила она свою молодость и красоту на алтарь диспетчерской и не имеет с этого ни шиша. Как и я — о чем мы теперь поговариваем с ней по вечерам, потому что, как вы знаете, мы опять живем к старости вместе, совместно ведем хозяйство, сеньор, — старая любовь не ржавеет!

* Мацоха — самая глубокая пропасть в Моравии, излюбленное место туристских экскурсий. — Прим. пер.

Однако дальше, отважно дальше! По алфавиту здесь пошел бы господин доцент Боуша, но я могу его спокойно опустить — о нем и посплетничать нечего, а как вахтер он был даже лицом почтенным. Но там же с ним работал истопником некто Ваха Борживой, подписывавшийся Гомола. Вы его узнаете: он начал с созидательного эпоса, а кончил скабрзностями; псевдоним же он взял для того, чтобы в его романах кто-нибудь не узнал самого себя, — он боялся суда.

Скажу вам прямо, сеньор, Вахе вообще ничего не приходилось выдумывать. У него всё было из жизни, и литературная критика могла спокойно констатировать, что если господин Гомола приводит вас в спальню, то полное впечатление, что даму раздеваете вы сами, причем не взирая на классовое происхождение, национальность, общественное положение и даже возраст вышеупомянутой.

Надо сказать, что если я работал с дамами как поэт, то Ваха был комбайнером. Он прокатывался по полю колыхавшихся колосьев, и после него оставались только связки соломы. Его размах был не для такого небольшого города. Я вообще не знаю, почему его, собственно, запретили, раз он ни о чем другом никогда не писал, а если принять во внимание, как тогда повышали рождаемость, — так его следовало пропагандировать. Хотя говорят, что людям достаточно такое почитать и они уже не практикуют, — таков якобы шведский опыт.

Что касается остального, то Ваха был мой друг и в том да сем мне помогал, хоть мне и неловко было посылать некоторых дам в котельную. Люблю о нем вспоминать, о старом братишке, надеюсь, он сейчас в лучшей форме, чем я.

Конечно, больница — это не только Ваха, сеньор, это и Мерседес, супруга господина управляющего Климента. Ой, это была, сеньор, в молодости красotka, жаль только — ревнивая и требовательная. Каким-то

образом, стерва, раздобыла дубликат ключей от моего логова и ворвалась туда как фурия, когда я принимал крайне деликатную гостью. Закатила сцену, орала, как ненормальная, а даму облила голую скипидаром. Я с Мерседес тут же порвал — и знаете, сеньор, что я потом узнал? Что в молодости она была легкого поведения! Ну, не конфуз ли?

О даме, которую Мерседес полила скипидаром, я, в общем-то, не должен бы говорить, но раз уж мы с вами так сдружились, скажу. Это было — заранее прошу прощения — очень скандальное дело. Выйди оно наружу, ее старикан послал бы за мной полный автобус тайной полиции и прокатил бы через меня дорожный каток. Это была молодая супруга самого господина князя, имевшего у нас в лесу, за городом, виллу.

Начальник первой величины, сеньор. Не выглядел таковым, происхождение у него было катастрофическое. Послебелогорская знать: его деды сплошь и рядом вили веревки из кожи чешского крестьянина, его прадедушка вводил в Чехии цензуру — ну, это ему потом записали как плюс. Парнишка, тем не менее, прекрасно освоился с порядками, а будь у него соображение, он бы вовремя изменил фамилию на какого-нибудь Суханка и пошел бы дальше. С такой, как у него, трудновато. А фрукт он был порядочный, сеньор. Такой тихий омут — все вокруг него исчезали и падали, отправлялись на небо или на виселицу, но этот, со своей катастрофической родословной и облезлым видом, держался. Загадки, загадки, сеньор, — пусть другим рассказывают, что нет потусторонних сил!

Я его видел только один раз. Как-то он устраивал в своей вилле такую народную гарден-парти, и меня туда пригласили фотографировать. Сами знаете, районные мандарины прямо дрожали от нетерпения, чтоб налепить в семейный альбом свое фото вместе

с господином князем, которому всё тут вокруг принадлежало!

Я уже всё отснял и околачиваюсь — тут откушу, там отопью, — как вдруг в мое поле зрения попадает княгиня. По случаю оздоровления порядков князь приобрел себе новую, с иголки, кралю. Конфетку! Двадцать три, габариты — люкс, ни к чему, конечно, государственные речи, но я на это не обращаю внимания, я, сеньор, сквозь самую гадкую трепологию всегда видел вечное женское. А это здесь было, сеньор, в экспортном оформлении.

Ну, а поскольку она мне показалась ласковой и, так сказать, кооперативной, так я не тратил времени зря и набросил на нее хомут. Ничего не случится, Карлуша, сказал я себе, действуй молниеносно, а там посмотрим.

Но барышня была хитрющая.

— Не оглядывайтесь так идиотски, — говорит, — ведите себя по-светски, где ваше ателье, приеду к десяти, машину оставлю в сторонке, главное — не трепаться.

— Мои слова, уважаемая, — я ей на это. — Что вы любите из выпивки?

— Об этом не заботьтесь, привезу сама. Ваше дело, чтоб туда никто не лез и не глазел. А теперь улыбнитесь и отправляйтесь восвояси, мой старый хрыч сюда пялится.

Таково было, сеньор, начало моего романа с Зиночкой Шауфельсперг. Она происходила из очень сознательной семьи, прямо из Остравы. Ее папочка накопал за ночь два вагона кокса и получил за это Орден республики. Это имя родители дали ей из-за любви к Ивану Грозному. Эх, сеньор, она была роскошна. Ездилa ко мне этак трижды в год, не приставала, не надоедала, не писала, а когда звонила, то представлялась госпожой Фучиковой. Ужасно искушенная! Она была убеждена, что мой телефон прослушивается,

хоть я и уверял ее, что я на прекрасном счету и что это бессмыслица.

— Что ты знаешь, глупенький? — сказала она мне сладко. — За такими на хорошем счету больше всего и следят!

А знаете, какая она тёртая ни была, все-таки чуть сама не влипла в скандал с шестерняшками. Знаете как? Приезжала она сюда в каком-то «Форде-Таунусе» с иностранным номером; она эту машину одалживала у одного итальянца, с которым тоже путалась; а этот итальянец был ужасно похож на одного барахолковского цыгана, которого потом наши жандармы схватили вместо того настоящего итальянца, который между тем смылся, а нашего цыгана выслали в Италию. Можете себе представить, как радовались итальянцы, когда в Риме из самолета вылез Танцош Иштван из Барахолкова, отец двенадцати детей, и по-итальянски умел только немтудум*.

Как же это вышло? Ну, видели здесь раза два этот «Форд», записали номер, шли по следу, потому что их было много, а делать им было нечего. А поскольку Зиночка появилась тут с этим лимузином в январе того года, то наших скотланд-ярдов так и подмывало объединить всё это.

Я, сеньор, вынужден признаться в своем неподдельном восхищении шефом нашей народной жандармерии Копецким Доброславом. У него была тайная кличка СОКОЛ I, но об этом знал почти каждый. Что-то в нем было, в этом СОКОЛЕ, потому как его бдительное око — дословно око, второй глаз происходил с фабрики «Юнион» в Теплицах, — насквозь, как лазерный луч, просматривало Барахолково. Дело в том, что его кабинет был на самой верхотуре, в последнем этаже сыщицкого барака, и там у него стояла морская подзорная труба на специальном штативе,

* Немтудум — по-венгерски, «не понимаю». — Прим. пер.

в которую он целыми днями наблюдал, кто где что кует. К концу, говорили, он ожидал заказанного в Голландии специального инфракрасного устройства, чтобы видеть трудящихся и ночью.

Надо сказать, Копецкий не щадил свой любимый народ и покупал оборудование у лучших зарубежных фирм: брандспойты — у фирмы «Викерс», лазеры — у «Филипса», а подслушивающие устройства — прямо у фирмы «Уотергейт» аж в Америке. Когда он после давал стрекача, он использовал японский портативный летающий аппарат и долетел до Закарпатской Украины, но там его сбил один браконьер, приняв за тетерева. Это, конечно, сеньор, не вполне достоверно, но все так говорили.

Как он выглядел? Сеньор, — анатомическая редкость. Если бы он не погиб так идиотски как тетерев над Мукачевым, его набитое чучело украсило бы любой музей в Европе. Он был такой коротышка, что уже видом своим нагонял ужас, так как при этом имел ужасно большую голову, — при взгляде на него казалось, будто это стоит на коленях двухметровый мужик. Такое ощущение охватывало меня на всех праздниках: я фотографировал трибуну и вдруг — под мышкой у другого начальства еле торчит над балюстрадой его невероятная голова.

И ко всему еще, представьте, он этой головой вообще не двигал! Эта голова торчала неподвижно — ни влево, ни вправо, потому что он двигал только одним глазом, второй-то, стеклянный, тоже не двигался. Посматривал он своим единственным из стороны в сторону, но медленно, мертво, чтобы не подумали, будто что-нибудь его чересчур интересует! Но его многое интересовало, сеньор! Его чертовски все интересовало! Таким образом, общее впечатление — как и полагается для такой должности. Не хотел бы я встретить его, идя по грибы. Еще счастье, я грибов никогда

не собирал. И он, думаю, тоже нет, разве что по службе.

Если бы не габариты, сеньор, я бы сказал, что этот Копецкий выглядел как воплощенная месть рабочего класса. Но знаете, человек этот ни разу в жизни не дотронулся до напильника, не говоря уж о чем-нибудь более тяжелом. По своей первоначальной профессии он — поп-расстрига чехословацкой церкви, а его папаша служил — в свою очередь — католическим деканом и обзавелся этим сынком на стороне, с директоршей приюта для христианских сироток в Запуках, которая при этом умерла девственницей. Очень сложные семейные отношения. (Об этом мне рассказал господин доктор Шуп, влив в себя не меньше пол-литра сливовицы.)

Черт побери, знаете, у меня отлегло от сердца, что я уже отделался от Копецкого. Столько лет прошло с тех пор, а у меня и сегодня неприятно щекочет под ложечкой, когда я о нем вспоминаю.

А что, если теперь о Тафе? Как я уже позволил себе заметить, его жена Иренка помогла мне заполучить заказ на памятник Основателю. Иренка в молодости была небезынтересной: вполне хорошенькая, всё в самый раз — наверху и внизу, и такая спокойная, никакая не львица, скорее, дарительница, чего я, сеньор, между нами говоря, не очень люблю, — я предпочитаю больше жару, но, конечно, тоже не через край. Так вот, Иренка была такая кроткая, почти материнская, хоть в остальном — посредственность, интеллектуально нормальная провинциальная бабенка. Обратите, пожалуйста, внимание, сеньор, как я умею охватить даму комплексно, тогда как про мужчин рассказываю шаляй-валяй.

Ее благоверный происходил из старой местной семьи; уже его дедушка состоял в Барахолкове старостой. Этот дедушка был, видно, бестия продувная, потому что получил за женой в приданое гостиницу и

трактир «Зеленка» (в те времена — самую большую пивную в городе), хоть говорили, что старый Зеленка отдал за него дочь только за отсутствием другого кандидата, — она была совсем плешивая и носила парик, а произошло это у нее от родильной горячки в три годика.

А знаете, сеньор, я тоже знаю один довольно похожий, но как раз обратный случай: опять же некий Зеленка женился и заполучил в приданое гостиницу и колбасную фабрику, но еще не успел опомниться, как их национализировали. Тут и спятить можно. Но знаете, этот Зеленка всё равно потом ужасно выдвинулся, даже при Общественном Благе, и вышел в экскурсоводы для интуристов. Ну, а молодой Таф тоже вовремя отмежевался от гостиницы «Зеленка», когда ее, к тому же, закрыли и устроили там похоронное бюро, — и ничто не препятствовало ему и в новую эру идти по стопам своего дедушки. Знаете, сеньор, мне страшно нравится, как люди способны перебираться из одного времени в другое, из грязи да в князи, ну, не красота ли?

В остальном он был ноль. От дедушки, говорят, унаследовал только бородавку под носом и носил из-за этого усы. Наверх его протолкнула Иренка, а ему оставалось только следить, чтоб его не подсидели, но утруждаться ему не приходилось: в ту пору, однажды став деятелем, человек оставался им пожизненно. Кочевал он по руководящим постам, и я никогда не знал, как к нему обращаться — директор ли он сейчас, староста или диспетчер. Однажды пошла такая путаница, что он по почте получил декрет о назначении его бургомистром Дрездена. Таф собрал чемоданы, когда ошибка разъяснилась: в международном центре перепутали номер.

В общем, о нем говорить не люблю. Такой он пресный, всё только повторял: «Не надо поспешности», «давайте все взвесим», «нужно бы с этим подо-

ждать», «посоветуемся об этом с товарищами». Активно выбирал только спиртное и, к концу подружившись с господином доктором Пытликом, создал с ним такой тандем, какой не часто встретишь. Когда Таф умер, его отказались кремировать, потому что это, в сущности, была уже только колода сухого спирта.

При этом я бы хотел одновременно разделаться с господином доктором Пытликом и, если вам это не мешает, с Гаеком, потому что я никогда не любил ни алкоголиков, ни гомосексуалистов.

Ведь самая красивая вещь на свете, сеньор, — это хорошенькая женщина, а кто этого не понимает, так тот для меня, извините, — дурак, пусть он хоть директор водопроводной станции. Таков был как раз случай тех троих, которых я тут назвал, а поэтому, сеньор, у меня вызывает отвращение вообще что-нибудь о них рассказывать.

Я не должен был бы, однако, в этой галерее забывать о своем кормильце от случая к случаю, о главном редакторе нашего районного центрального органа, называвшегося «Левый, вперед!». Винцент Небл звали его. А когда позволяли обстоятельства — Ченда.

Ченда Небл — знаете, в другие времена такое и возникнуть не могло, у самой бедняжки-природы не хватило бы фантазии. У вас есть фантазия, сеньор? Ну, так вот: представьте себе Голема, но чуть поменьше и прямо стоящего, без камня в носу. Шеи нет, голова растет из плеч. Цвета серого, лицо хмурое, речь ключьями — я только после этого Небла понял, почему, собственно, говорится: «из него слова клещами тащить надо».

Про Небла было бы неправильно сказать, что он делал паузы. Он скорее был сплошная пауза, но время от времени что-нибудь произносил, чтоб не уснуть стоя. И когда он говорил, вы никогда не знали, скажет ли он еще что-нибудь: из содержания это нельзя было узнать, а когда удавалось, вы так от него балдели, что

не было сил следить. И я ему ухитрялся изредка всучить какую-нибудь фотографию, когда мои расходы этого очень требовали! Какова же была жизнь его газетчиков!

Он, конечно, не виноват, раньше он работал кондитером, потом его — как внебрачного племянника господина старосты Тафа — пристроили в городскую типографию цензором и только оттуда запустили в главные редакторы. Но это уже происходило тогда, когда, в общем, было неважно, кто что делает, потому что уже никто не делал того, что должен делать.

С этим отчасти связан эпизод, разыгравшийся на Рождество. С утра шел густой снег. Море снегу, сеньор. Стихийное бедствие как на блюдечке. Я хотел уехать за город, но как увидел, что творится на улице, так и передумал. Чем тащиться в такую пропастину в студебеккере и рисковать, что встречу Господень день рождения в канаве, лучше остаться в своем уютном гнездышке.

Я хотел еще в последнюю минуту навязаться к кому-нибудь на ужин, но раньше, чем я успел поднять трубку, отключили телефон. Может, вы еще смутно помните, сеньор, какие тогда были порядки. Задул посильнее ветер, и цивилизация прекращалась. После телефона отключили электричество. Когда начало темнеть, единственным в хозяйстве, что еще действовало, осталась зажигалка. Так я и сидел при свечке, покуривал и вспоминал, не помню уж — которую, но была это, видимо, какая-нибудь милейшая особочка, потому что меня ужасно разозлило, когда кто-то начал колотить в мои ворота.

Взял я вот так, мысленно, ту вышеупомянутую, посадил ее пока на печку и иду открывать. За дверью стоит Небл. Как видите, сеньор, от этого типа не могу избавиться даже на пенсии.

Секунду он постоял молча, и я даже втащил его в

прихожую, опасаясь, что пока он из себя что-нибудь выдавит, у меня в квартире будет ниже нуля.

— Господин Блатник, — говорит он потом со своей обычной натугой, причем у него по лысине ездил кошмарная папаха а ля генерал Доватор, и меня охватил страх, как бы ее случайно не заметил мой кот Гамоуз и не прыгнул бы на нее. Но Гамоуз, к счастью, дрыхнул у печки, куда я перед тем посадил даму, и не шевелился. С того времени, как его на выставке сиамских кошек удалили из финала за низкий интеллект, дела с Гамоузом пошли всё хуже и хуже. Даже желания перестали его одолевать.

Так мы стояли с Неблом в дверях и ждали, когда он вспомнит, зачем пришел. Я уже решался пригласить его на рюмочку, но тут он слабо икнул и говорит:

— Возьмите, пожалуйста, свои фотографические принадлежности и едем на вокзал. Приедет новый командующий дружественного гарнизона, его надо сфотографировать.

Это было самое длинное высказывание, которое я когда-либо от него слышал, и сам Небл был удивлен. Тихо и растроганно я подал ему руку. Он понял, что я его поздравляю, и взволнованно добавил:

— Конечно, художественно.

Этим он вызвал у меня некоторую симпатию, потому что явно признал, что я фотографирую художественно. И я сказал себе, сеньор: вечер всё равно пропал, барышня на печке от меня не убежит, почему же не пойти с этим мямлей, за такое не меньше пяти сотенных хапнуть можно. Я натянул на себя сибирское снаряжение, впихнул камеру в сумку, и мы пошли.

Поезд катастрофически опаздывал. Ожиданию не было конца. Не знаю, наблюдали ли вы это, сеньор, деятели диспетчерской были не очень-то веселые. Усталость материала уже давала себя знать. Никакой радости в них не было, сеньор, вроде бы даже того генерала они ждали без всяких чувств, скорее, с уны-

нием. Было похоже, что сейчас откроется дверь, войдет чиновник Общества друзей кремации и скажет: «Прошу уважаемых членов семьи усопшего занять свои места в зале».

Только с приходом поезда жизнь к ним вернулась. Они устроили радостные улыбки, оскалили зубы, расправили плечи, одернули одежду и вылились на перрон. Машинист оказался ловкач — нужный вагон пришелся как раз перед красным ковром, его даже не пришлось подтягивать. А из вагона быстро вытряхнулся генерал. Был это на самом деле скорее полковник, сеньор, а за ним — его денщик, злорадная игра природы, как живьем взятый из Гоголя.

Начальство бросилось вперед в протокольном порядке, начались лобызания, и я был занят по горло, чтобы с достоинством всё запечатлеть. Но вдруг вижу, из соседнего вагона за ноги и за руки несут беременную женщину; у меня не было и предчувствия, что это Покорная.

Генерал дернулся. Его словно током ударило. До сих пор вижу, как он внезапно — среди любвеобильной кучки встречающих — подпрыгнул, растолкал их и — фрр — за этой беременной. Элита города стояла минуту в обалдении, прежде чем сообразила пуститься за генералом. А я уже, в полном присутствии духа, бежал впереди них и оказался в зале ожидания задолго до того, как генерал начал выпаливать приказы над этой беременной. Офицеры так и носились, каблуки шелкали; через минуту ее схватили и потащили на улицу, в машину. Всё это время по совершенно непонятным причинам, вдобавок ко всему происходящему, дико гудела невероятно дерзкая пластинка о давно заглохшей любви к Китаю, потом еще на одного нашего жандарма обрушились часы, а Мириам, подвизавшаяся тогда в вокзальном буфете, громко требовала уплаты, уж даже не знаю — от кого. Был это хаос, сеньор, в самом деле достойный величия своей эпохи.

Конечно, мне удалось сфотографировать всё-всё-всё — и как дружественная армия погружает Покорную в машину, — но через пару дней ко мне лично явился СОКОЛ I в сопровождении примерно пятнадцати лесорубов и конфисковал негативы и отпечатки.

— Если случайно где-нибудь появится хоть одна фотография, — сказал мне Копецкий на прощанье, — я вынужден был бы, господин Блатник, к своему большому сожалению, организовать вам изящную трагическую кончину. Вам это ясно?

Мне это было совершенно ясно, и вы не должны, сеньор, удивляться, потому что кончина мне еще и в голову не приходила, тем более — трагическая. Но что Копецкий думал об этом совершенно серьезно, сеньор, и я в этом не отваживался сомневаться: еще и месяца не прошло с той поры, как так вот изящно и трагически скончался дамский парикмахер Вейдлеш, заведующий трансформатором в Заветрове, и для меня, сеньор, хватало мысли о том, что теперь эта интересная должность освободилась и что Копецкий мог бы, например, назначить туда меня. А с моей профессиональной подготовкой, сеньор, я не мог иметь в трансформаторе лучшие перспективы, чем Вейдлеш.

Однако старый Вейдлеш — это была величественная фигура, сеньор! Легко сказать — парикмахер, да многие еще, может, и рукой махнут. Но тот, кто знал Вейдлеша, никогда бы так не сделал. Хотя бы потому, сеньор, что он *умел*, если изволите понимать, поскольку это, очевидно, главное. Если кто умеет, сеньор, — пусть то или се, — он сможет прилично прокормиться и его уже не так тянет к надувательству. Да еще и повышается человеческое достоинство, прямым примером чего был Вейдлеш. Так надо ли долго рассказывать, что Вейдлеш не пылал чрезмерной любовью к диспетчерской и не слишком таился с этим. А во времена, о которых я рассказываю, это уже было опасно.

Вейдлеш не то чтобы оскорблял или что-то в этом

роде. Он всё говорил очень осторожно — например, что он не думает, чтобы решение было наилучшим, и тому подобное. Причесывает какую-нибудь бабу и, чтоб это слышала вся парикмахерская, говорит, словно между делом:

— Обратили вы внимание, милостивая пани, сегодня утром в киоске? До сих пор выходят газеты! Удивительно, правда?

Но у нас и самая большая осторожность недостаточно осторожна. А он еще был настоящий артист в своем деле, выиграл два международных соревнования, и от него уже ожидали, чтобы он был не только осторожным или, к примеру, много не болтал, но чтоб он еще и хвалил диспетчерскую! Тут уж он никак не мог себя заставить, а наоборот, ехидничал. Некоторое время его спасало то, что он делал прически нашим районным придворным дамам, а уж они берегли его, как зеницу ока. Он был ловкач: придет к нему самая что ни на есть корова, а он — целую ручку, милостивая, сегодня на вас очаровательная шляпка; толстухам сразу говорил, что похудели, а тощим, — что потолстели, просто ни одну не огорчал. Однако, что касается диспетчерской, то, знаете, Вейдлеш был такой непоседливый, так его и тянуло обронить словечко по адресу нашего благословенного устройства. Например, причесывал он один раз дамочку районного диспетчера, — я как раз сидел рядом, в мужском отделении, и сам слышал, как он говорит:

— А как господин супруг? До сих пор жив?

Все это сходило бы ему с рук, потому что бабы разговоров его не понимали, а уж поняли бы — не донесли, но — на всякую старуху бывает проруха. Парикмахерская у Вейдлеша была битком набита; коллега рядом причесывал блондинку, которая туда довольно часто ходила; Вейдлеш навел красоту на заведующую молочной; а из репродуктора лилась лекция о том, какой гениальный был Основатель.

Никто все равно не слушал, но Вейдлеша как-то это задело, взял он и выключил радио в самом разгаре и сказал совсем неосторожно:

— По-моему, он все равно был паралитик.

Камень преткновения оказался в том, что та блондинка был один важный жандарм, гулявший под видом дамы. Звали его Ланда. Он не спешил нисколько, подождал, пока его хорошенько причесали, даже заплатил, но над Вейдлешем сгустились тучи. Не будь баб из диспетчерской, отправили бы его в тюрьму, а так перевели в Брдечко брить колхозников. Отвели ему крошечную дыру, но, как и следовало ожидать, бабы потянулись за ним. Через год местная диспетчерская в Брдечке устроила приличную парикмахерскую из бывшей конюшни, так как это приносило денежки в общую кассу. Но скоро Вейдлеш попал в следующее несчастье — даже не знаю, как. А потом его сунули в тот трансформатор у Заветрова.

Был он, сеньор, наверно, первый заведующий трансформатором в Европе, и Копецкий, говорили, выдумал эту должность только из-за Вейдлеша. Его там на смену как будто даже запирали. Попробуйте залезть в трансформатор и сидеть во тьме целый день. Вскоре Вейдлеш до чего-то там дотронулся и был таков.

Когда его похоронили, сеньор, — совершенно тайно, — жандармерия начала устраивать на его могиле настоящие оргии, почище свадебной ночи. Как только зажигаются на могиле свечи, жандармы впадают в буйство. Наверное, раз пять его гроб с места на место перетаскивали. Вейдлеш, мол, пугает диспетчеров в сберкассе.

Знаете, сеньор, у них, видно, не было исторического чутья. Иначе бы их этот Вейдлеш так не раздражал. Разве из-за анекдотов рухнула хоть одна империя? Даже у нас — нет, сеньор! А приспособлены ли мы для чего-нибудь другого? Много ли раз мы строи-

ли баррикады, сеньор? Ведь этот Жижка, наверно, втерся в нашу историю по ошибке!

Роптали? Да, сеньор, но — минимально! Это же тоже рискованно! Мы много ропщем тогда, когда приличное правительство позволяет, но стоит запретить — и где же ропот, сеньор? А при диспетчерской? Тогда неподходящие сведения шептались только на лоне природы да еще с дружественным бомбардировщиком над головой в качестве глушилки!

И кого же им было бояться, сеньор? Могли бы править до сей поры — восстания-то никакого не было, сеньор, ни — как в Эфесе! Диспетчерская слетела сама по себе! Серая Чума смотрела, как ненормальная, когда на нее всё свалилось!

Но финал не мне описывать. Знаете, я всегда лучше разбираюсь в постелях, чем в политике. Я, сеньор, верный сын народа, куда мне — с ружьем в руках, с огнем в сердце! Я, самое большее, прибежал бы в рагушу с новым анекдотом!

Не грустите, сеньор, пережили мы и эту диспетчерскую, а что конец был бесславный — ничего, славу можно раздуть дополнительно!

Так что, желаю здравствовать, не стесняйтесь, заходите, если в чем-нибудь не разберетесь. Карлуша с радостью посоветует!

Глава XI

Приложение к истории родов

(Документ эпохи)

Ирена П О К О Р Н А Я, рожд. 6-го января 1940 г., в Праге, место жит.: Прага 1, Рудольфова ул.,

д. 17, замужем, во время беременности на учете в Институте матери и ребенка, Прага-Подоли.

История родов и шесть актов о рождении ребенка заполнены правильно; формуляр «Протекание послеродового периода» будет приложен дополнительно.

С. А.: Родители здоровы, в семье заболеваний нет, муж — 49 лет, здоров.

Л. А.: В детстве переболела дифтеритом, ангиной и коклюшем, в остальном — здорова. Первые роды — в возрасте 28 лет, спонтанные, ребенок здоров, 3.500/51, дочь, послеродовое состояние нормальное, аборт не было, вспомогательные анализы нормальные.

Настоящая беременность: BRW отриц., группа крови А, Rh положит., со второго месяца беременности 11 осмотров в ИМР — Подоли, психол. профилакт. 2х, физкультура регулярно, роды преждевременные, отток околоплодных вод преждевременный, нерегулярн., дг. многоплодной беременности, кровоток Ø, настоящая беременность спокойная, предпол. срок родов — 15-е января, первые движения — август, внутреннее обследование — в рамках нормы, рентген легких — отриц.

Мать доставлена в отделение примерно в 20.00, 24-го декабря с. г., признаки родов появились по дороге, в поезде. Дг. многоплодной беременности подтвержден д-ром Панеком, который принимал роды до моего прихода в 23.30.

Рождение детей:

А — 1.508 кг/38 см; время: 21.10, мальчик

Б — 1.270 кг/35 см; время: 22.25, мальчик

В — 1.130 кг/34 см; время: 23.50, мальчик

Г — 1.311 кг/36 см; время: 00.40, мальчик

Д — 1.080 кг/35 см; время: 02.35, мальчик

Е — 0.950 кг/33 см; время: 03.50, девочка

Начиная с третьего ребенка — инфузии, при последнем ребенке — кесарево сечение, повторяющиеся инфузии.

Педиатрические заключения до настоящего времени удовлетворительные, дети без родовых повреждений, норм. рефлексy, общие заключения удовлетворительные.

Состояние матери после родов пока хорошее, общая усталость в норме, пульс 68, t° 37.0, потеря крови компенсирована, поведение спокойное, при родах проявила крайнюю терпеливость и хорошее сотрудничество.

*

В настоящее время нельзя исключить возможность осложнений, однако надежда, что справиться с уходом за матерью и новорожденными можно нашими средствами, обоснована. Подчеркиваю только повышенные требования к персоналу. Врачи и сестры проявляют чрезвычайную самоотверженность.

На все остальные, снова поставленные мне вопросы, отвечаю, что ни я, ни другие врачи роженицу не знали; ни в нашем, ни в других отделениях больницы она ранее не лечилась, и ее карта была заполнена 24-го декабря, одновременно с историей родов.

Возможные личные отношения между роженицей и командиром братского гарнизона, который доставил ее к нам в сопровождении большого числа автомобилей военных и гражданских, не входят в мою профессиональную компетенцию, и роженица сама их категорически отрицает. Почему сюда полковник Б. звонит, — я не знаю. Будет разумнее, если учреждение, интересующееся этим, спросит его самого.

Учитывая мировое значение рождения шестерняшек, я приказом запретил допуск посетителей в больницу. Родильницу я распорядился поместить в палату, которую можно — вместе с палатой для недоношенных — полностью изолировать, и допуск в эти палаты был разрешен только тем, кто должен был там бы-

вать в рамках службы. Никакой помощи извне я пока не просил, не считая это нужным.

Разумеется, если уже в этой фазе понадобится составить более подробный медицинский отчет или представить записи производимых наблюдений, я готов это сделать. Надеюсь, что на вопросы, не имеющие медицинского значения, заинтересованным органам и далее будет любезно отвечать административный аппарат Райздрава, который, насколько мне известно, имеет для этого необходимые социальные предпосылки и требуемую компетенцию.

Главврач, д-р Ян Белый, канд. наук.

Глава XII

Психологический зонд
директора Райздрава
зубного техника
врача под расписку
Рене Пытлика

Со времени событий в Барахолковке прошло уже много времени, хотя не так уж много, чтобы в итоге картина вышла неполной. Я не боюсь провалов в хронологии, нет — я боюсь, что нынешнее поколение мало что поймет. Каждое время дышит своим воздухом, а его не записать, даже в банке не сохранить. Но без этого воздуха — рассказ как картина без красок.

Может, легче будет, если я высвечу кой-какие психологические детали, от которых попахивает тем временем.

Я не врач в настоящем смысле слова. По происхождению я — зубной техник, но когда мое участие в диспетчерской выдвинуло меня на ответственный пост и я стал директором Райздрава, я прошел —

по настоянию друзей — трехмесячные курсы, чтобы звание ВРАЧА поднимало меня как Пытлика до меня же как директора Райздрава. Ведь директору в глазах местного населения — приходится быть доктором; несмотря на всенародную любовь к диспетчерской, изредка требовалось что-нибудь сверх этого — таков был и мой случай.

Дали мне, таким образом, диплом, хоть эксперты выглядели безрадостно и заставили меня оставить им расписку-обязательство, что никогда никого лечить не буду, только зубы. Это мне, конечно, связывало руки. Однажды, например, госпожа районная диспетчерша Бребурдова срочно потребовала, чтоб я ее искусственно оплодотворил. Пришлось ей сказать, как обстоит дело с моей профессиональной квалификацией. Похоже, что она обратилась к кому-то другому.

Если я хочу ответить, как я, собственно, попал в диспетчерскую, — а сегодня, очевидно, это интересует молодежь, — то прежде всего надо сказать, что я, к сожалению, никогда не был вполне нормальным. Уже в переходном возрасте я всё время ужасно потел и покрывался угрями, особенно на носу. Когда я кончил школу, нос был у меня, как помидор, и никакие мази от этого не помогали. Ну, а вследствие формы и окраски моего носа, пошли сплетни, что я пьяница, хотя поначалу я к выпивке склонности не питал. Так что в глазах общественности я стал алкоголиком раньше, чем полюбил это дело.

Эх, живи я на каком-нибудь острове, где туземцы потеют, как я, и носы у них, как у меня, жизнь моя текла бы, наверно, без чрезвычайных происшествий. Я не чувствовал бы себя не таким, как все, и, по всей вероятности, не стал бы ни членом диспетчерской, ни директором местного Райздрава, если допустить возможность, что на острове, где все жители нормальные, завелся бы не только Райздрав — это еще можно представить, — но и диспетчерская, — что невообразимо.

Но я, увы, жил не на острове, а в Барахолкове, где подобных носов на десять тысяч населения было около двух. Не говоря уж о моей несчастной потливости.

И скоро я обнаружил, что у всех кругом красивые жены, а любовницы еще красивее, тогда как я с горя женился на главной городской уродине, лет на пятнадцать старше меня, и та сбежала во время ярмарки с заведующим каруселью. Что же касается любовниц, то за все время, не жалея ни сил, ни финансов, я приобрел только одну — шестидесятитрехлетнюю уборщицу из деревни Заветрово, которая тут же от радости всё разболтала, и я предстал в еще более невыгодном свете.

К счастью, такие трудности были не у меня одного. Обстоятельства постепенно свели меня с другими людьми, тоже обделенными судьбой, такими же грустными, кислыми и брюзгливыми, что естественно. Так, я подружился с господином Тафом, когда вырвал ему четвертый верхний зуб слева. В тот день он был последний пациент и ужасно мучился от боли, поэтому я предложил ему выпить. Выпивка сближает народы, не говоря об отдельных личностях, и господин Таф — я уже называл его Яроушем — без колебаний открыл мне душу. Хоть нос у него был нормальным и он сам выглядел вроде прилично, но зато он был тютя. Не знаю, понятно ли вам это слово — в общем, это такой, в компанию которому, мягко говоря, никто не набивается. Тютя сидит, и глядит, и не знает, что сказать, а если что-нибудь скажет, так уж лучше бы молчал. Но мне это не мешало, я был рад, что Яроуш вообще-то со мной сидит, раньше и такого не нашлось. Жена его, госпожа Тафова, от его общества удовольствия не получала — изменяя Яроушу, например, с районным художником, господином Блатником, она дома устраивала мужу настоящее пекло, да и публично обзывала его импотентом и кретином. И это

того господина Тафа, что три раза подряд был старостой и два — районным диспетчером.

Но на дружбе с Яроушем дело не остановилось. Постепенно мы познакомились с другими, кто понимал наши муки, имея свои собственные, — и скоро собралась солидная компания. Так, к нам прибавился Вильда Шуп: он ужасно шепелявил и в адвокатских делах имел из-за этого затруднения, да еще ему, во время учебы в Шверине, в очереди за билетами в цирк, кто-то сзади отрубил саблей ухо, и он был похож на кастрюлю с двумя ручками, когда одна отвалилась. С Бребурдой дело обстояло еще хуже: это было такое мертвецки застывшее лицо, хотя во всех отношениях — живой и энергичный деятель. Принадлежал к нам, конечно, и господин штабс-капитан Копецкий — я позволю себе не описывать его наружность. И, само собою, Венда Гаек — ему ничего не удавалось, и он заявлял, что народ ведет себя преступно по отношению к нему. Напившись, сразу искал, кому поплакаться в жилетку. Как обнаружилось, он был лицом сексуально раздвоенным — природа иногда слишком жестока к человеку.

И вот, когда мы сблизились, вроде масонской логи, как раз настала великая эра диспетчерской. На улицы города победоносно вторглось Общественное Благо. И мы, к счастью, были подготовлены. На зов трубы мы вышли в полной готовности. Районная диспетчерская — это и были мы, нас как будто ждали, без нас ничего бы не осуществилось. Разумеется, у нас на это было больше времени — мы же не распутничали, как рядовые граждане, которым никакие заботы не испепеляют нутро: к ним девки сами лезут в постель, всё им удается, никто на них пальцем не показывает, ничем они не мажутся и не облепляются, просто огурчики; потому и учреждения их не интересуют, ходят туда только по повестке.

Так что у нас не было никакой конкуренции. Нам

почти казалось, будто народ испытывает облегчение оттого, что мы взяли дело в свои руки, чтобы — в случае чего — ему не затрудняться раздумьями над предвыборными списками.

Такое народное удовлетворение мы потом часто наблюдали на разных торжествах, поскольку Общественное Благо открыло дорогу самым частым празднованиям самых разнообразных юбилеев самых различных лиц и событий. Бывало, по нашему мягкому приглашению барахолковская площадь быстро битком набивалась восторженными трудящимися, знаменами и лозунгами, и все они устремляли глаза к нашей радостной разукрашенной трибуне.

Коронным номером торжества были речи. Любимым оратором был, конечно, адвокат, господин доктор Шуп — его выступления почти заглушались бурными аплодисментами. И, должен признаться, эти манифестации, когда мы, недавно такие несчастные, стояли наверху, на трибуне, а нормальный народ — внизу, наполняли нас огромным внутренним покоем и радостью — вот и мы нашли себе место под солнцем, да еще и на трибуне!

Может, в административном отношении районная диспетчерская имела отдельные недочеты, но трудящиеся не выражали недовольства. За все эти долгие годы спятил только один портной, по фамилии Гудечек, — пошел ночью, один-одинешенек, с ведром извести, писать на фасаде ратуши, что районная диспетчерская — это сплошные кретины и гомосексуалисты. По случаю, шли мы с господином старостой, то есть с Яроушем, довольно веселенькие, и, любопытства ради, подождали, пока он допишет. Потом мы зазвали его ко мне на рюмочку и точно подсчитали процент кретинизма и гомосексуализма в руководстве, после чего он побежал исправлять надпись. К сожалению, не успел он взяться за кисть, как его сцапали жандармы.

Вы спрашиваете, как же это диспетчерская наконец рухнула, если все шло как по маслу и, главное, народ не проявлял никакого недовольства. Сами знаете, нелегкий вопрос! Это, видите ли, очень затянулось, и мы уже переставали находить в этом удовольствие. И мы их не забавляли, трудящихся то есть, и нас уже не тянуло, как вначале, себя показывать. Возникла взаимная усталость, как накануне серебряной свадьбы. И управлять мы стали без прежнего энтузиазма, халтурно. Пока чувствуешь поддержку снизу и знаешь, что кому-то доставляешь радость, то и стараешься, но стоит этому ослабеть — показатели сразу снижаются.

Ко всему прибавился страшный хаос, в котором мы даже не повинны. В городе стоял дружественный гарнизон, и хотя мы к нему привыкли, все-таки постоянно чувствовалось, что на стадионе чужая команда, и это тоже способствовало общей усталости. Они уже не были такими забавными, всем примелькались со своими шапками и чемоданами. Поэтому, когда начался окончательный кавардак, в городе не осталось и повода к веселью. Всенародная скука, — сказал бы я.

Такова была атмосфера предшествовавшей осени.

В Сочельник я, как обычно, посидел с моими любимыми сотрудниками — из них дольше всего выдержал управляющий больницей, господин Климент. С отчаяния мы выпили абсолютно все, что было в учреждении, вплоть до пол-литры пятновыводителя. Поэтому я не встречал вместе с остальными членами районной диспетчерской нового командира дружественного гарнизона, а спал, как убитый, в кабинете уха-горла-носа, куда я сам притащил Климента и просил его отрезать мне нос. Еще счастье, что Климент в ту минуту свалился как сноп — подействовал пятновыводитель.

Там я и продрал глаза в третьем часу утра. Климент уже исчез, проспался, видно, раньше меня, — и

я отправился в метель домой. В рождественский полдень я попытался заказать по телефону обед из соседнего ресторана, но телефон не работал, поэтому я выхлестал несколько литров воды и опять вздремнул.

К вечеру телефон чудом заработал, зазвонил, как на пожар. Я выскочил из кровати, как тигр, и в первую минуту не мог понять, что происходит. Потом я поднял трубку и услышал главврача Белого из родильного отделения.

Белый был, честно говоря, последний человек во всей Европе, от которого я мог бы ожидать, что он вспомнит обо мне в Рождество. За все время, пока он работал в Барахолкове, он ни разу со мной не поздоровался, никогда руки не подал, обходил меня стороной и вообще вел себя со мною как с прокаженным. И вдруг звонит! Я чуть не пожелал ему веселых святок. Вот был бы кошмар!

— Я уже звонил вам утром и днем, — сказал Белый, конечно, не поздоровавшись. — Сообщаю, что в ночь со вчера на сегодня у нас были необычайные роды. Желаете письменный отчет сразу или можно послезавтра?

Я не мог себе представить, чтобы в Барахолкове родилось что-нибудь необычайное. Секунду я вообще не знал, что ответить. С некоторым беспокойством я в то же время осознал, что, собственно, не знаю, что бы это могло быть такое — необычайные роды.

— Что-нибудь родилось? — спросил я и тут же понял, какую чушь несу.

Я слышал, как Белый чем-то постукивает по столу — наверное, пальцем, — чтобы успокоиться.

— Под родами, — сказал он наконец очень медленно, — в медицине мы подразумеваем, как правило, рождение, господин директор.

Он подчеркнул это «господин директор», потому что Белый никогда не сказал бы мне «господин доктор». Не очень-то он был вежливый.

Потом он перестал стучать пальцем по столу и продолжал:

— Ввиду того, что меня пока, насколько известно, не направили в ветеринарный сектор, чего я, однако, не исключаю на будущее, то я позволил бы себе еще добавить, господин директор, что я подразумевал рождение детей.

Помолчал, видимо, собирая силы, чтобы не взорваться.

— Так вот, повторяю: у нас были необычайные роды. И спрашиваю одно: письменный отчет об этом сейчас подать или послезавтра?

Во мне зашевелилось подозрение: а не скрывается ли тут какой-нибудь ловкий трюк? Еще хорошо, что я отоспался после пьянки и что Белый не застиг меня утром.

— Может, хоть намекнете... — просительно пробормотал я.

— Могу, но спешу. Все есть в письменном отчете. У нас тут шестерняшки.

Он сказал это довольно безразличным тоном, но что-то мне не понравилось.

— Пошлите мне отчет, — сказал я тоже равнодушно. — Шесть детей сразу — это и правда достаточно.

— Посылаю к вам шофера, — добавил он. В трубке щелкнуло, провода затихли, Белый повесил трубку.

Я сварил кофе и бросился в служебную библиотеку Райздрава, которая занимала у меня дома целую стену, четыре метра в высоту и два с половиной в ширину. Но я в жизни в нее не заглядывал и не имел понятия, что в ней есть. Я только втайне надеялся о родах и о шестерняшках что-нибудь там раскопать.

Между тем приехал шофер с отчетом Белого. И хоть все было написано черным по белому, я никак не понимал, какая это, собственно, сенсация. Я выко-

пал энциклопедию постарше, потом — еще одну, после — какой-то ежегодник, однако время шло, а я все еще не знал, что думать. Только к девяти вечера до меня постепенно начало доходить, какая это бомба. Я сообразил, что не могу оставить дело у себя. Надо было быстро перебросить его кому-нибудь, как горячую картофелину. Но кому?

Дело легкое: Гаеку. Ты ведь районный диспетчер, Венда, сказал я, как бы извиняясь, не сердись на меня, парень, я тебе это подкину, шутки в сторону.

Я набрал номер Гаека.

К телефону подошла его жена, такая тихоня забитая, наверняка сидела у телевизора и проливала слезы над вторым действием «Кремлевских курантов». Но Венды не оказалось дома. Он, как на зло, ужинал у самого князя, на вилле.

— Чёрт побери, — заорал я в пустой квартире, конечно, после того как уже вежливо поблагодарил и мягко положил трубку. Потом со злости плюнул на стену, причем совсем рядом с очередным рекомендованным любимым деятелем. Он, однако, продолжал улыбаться, как директор школы на выпускном вечере, — идиотски и фальшиво.

Я еще раз поднял трубку, вызвал дежурного и заказал свою машину и шофера. Дежурный удивился, но я говорил решительно. Ни машины моей, ни шофера не нашли. Скорее всего, негодяй покатыл на Рождество в горы.

Наконец за мной приехал незнакомый бородатый хиппи на сильно ободранной «Скорой помощи». Мою машину, мол, нигде не могут найти.

— Как это, не могут найти? — спросил я его, хотя и догадывался, где она.

— Наверно, занесло снегом, — сказал хиппи равнодушно. — Метет всюду, — добавил он, хотя метель уже улеглась.

Я бросил задавать вопросы, влез в этот жуткий

драндулет и сказал лохматому, что поедем к князю. Хиппи вообще не знал, кто это такой и как к нему ехать. Пришлось показывать ему дорогу.

Шоссе, к счастью, уже расчистили и посыпали, так что ехали мы довольно хорошо. Но не проехали и полпути, как в машине что-то затрещало, задребезжало, нас бросило вправо, потом мы стукнулись об пол и остановились. Лохматый, не вылезая, заявил:

— Лопнула полуось. Это я слышу.

Надеюсь, ясно, до чего мы тогда дожили, если мой директорский лимузин мог преспокойно потеряться, а меня послали в мороз и метель с подозрительным элементом в полуразбитом рыдване, который чуть не развалился пополам и не убил меня. А этот хиппи сидит возле меня и спокойненько говорит:

— Надо подождать, пока кто-нибудь поедет. Надеюсь, не замерзнем.

На улице было не меньше минус десяти и надеяться, что в эту ночь и по этой дороге что-нибудь поедет, было глупо. А хиппи спокойно раскурил вонючую сигарету и спросил (будто и не думает, что я директор Райздрава и видный член узкого районного руководства, а он обыкновенный шофер, которого я в любой момент могу приказать выгнать с работы, а то и посадить):

— А не найдется ли у тебя выпить, старик?

Это ошутимое доказательство полного разложения государственной и магистратской морали настолько меня потрясло, что я предпочел вылезти на мороз — сам не зная, почему. Ночь была безлунная, но снег и звезды, проглядывавшие сквозь низкие облака, немного ее освещали. Стояла божественная тишина, и я еще больше возмутился, услышав, как этот хулиган в машине громко издал неприличный звук.

От унижительного существования с этим грубияном меня спасло только то, что неподалеку я увидел огни. Я, правда, не представлял, куда мы заехали и

какой тут может быть дом, но другой надежды не было. Через горы снега я пошел на огонек.

Эта случайность свела меня с композитором Станей Фикейзом. Фикейз был личностью подозрительной, но я его даже в лицо не знал, а когда понял, кто везет меня к князю, было уже поздно.

Все это я помню довольно хорошо, но вот почему меня от князя домой на другой день привез братский бронетранспортер — до сих пор не могу вспомнить.

Глава XIII

Станя Фикейз с Волком по пятам*

Познакомился я с ним лично, собственно говоря, только в исправительном учреждении, где мне очень легко дали свидание. В заявлении я указал, что я его сводный брат. На это и не взглянули. Чиновник в проходной только небрежно сказал, что запрещается приносить заключенным напильники и автоматы, в особенности заряженные.

Еще не совсем придя в себя после Общественного Блага, я наблюдал всё это с нескрываемым ужасом.

Когда его привели в комнату свиданий и он увидел меня, то сделал слабую попытку попятиться. Надзиратель же, наверное, решил, что он разволновался, и взяв его подмышки, впихнул в кресло. Когда дверь за надзирателем закрылась, я не услышал поворота ключа. В этой двери была даже ручка изнутри, зато не было глазка. Может, и подслушивающего устройства не было?

* Отрывки из одноименной книги С. Фикейза, по которой он позже сочинил мюзикл «Волк в камышах».

Да, дело ясное: в кутузках опять воцарилось старое разгильдяйство, которое так резко критиковали легендарные народные мученики. Помню, как один из них написал об этом: «Носили нам из ближайшего ресторана чуть теплую еду, пиво с осевшей пеной, и за все две недели, которые классовая юстиция нам вкатила за избивание одного-единственного полицейского, не дали ни одного свидания с дамой».

И всё это, значит, снова вернулось. Снова раздавались стоны. Я наблюдал, что и моему собеседнику стыдно: как упал уровень тюрьмы! Как профессионал, он мог оценить это лучше меня, работал он по специальности почти тридцать лет, хотя скорее снаружи, чем внутри.

Я думал, он сам об этом скажет, чтобы разогнать неловкость первого момента; но он начал с другого.

— Меня уже осудили, — сказал он с отворачиванием. — Надеюсь, хоть вы не станете на мне отыгрываться.

Мне пришло в голову, что хорошо оставить его на время в сомнении. Дали ему двенадцать лет за государственную измену — если к ним два-три годика прибавить, ничего не переменится. Он почти старик, а времена пошли такие, что под амнистию не только жулики попадали.

— Ну и задали вы мне работенку, пока я вас нашел, — сказал я вместо ответа. Я не знал, как к нему, собственно говоря, обращаться, потому что для нас он был все эти годы ВОЛК I, но потом оказалось, что его звали Кристоф Прцпан. Такую странную фамилию можно объяснить лишь порядками эпохи раннего феодализма, когда возникали фамилии.

— Так зачем же вы меня искали? — спросил он неуверенно.

Я знал его до сих пор только издали, потому что в недавно прошедшем времени он был мой личный следопыт и ищейка, и лишь изредка я видел из своей

избы в бинокль, как он незаметно тащится через па-секу, переодетый старушкой в моравском националь-ном костюме.

Я рассматривал его сейчас с большим интересом. Господин Волк — не будем пытаться выговорить фа-милию Прцпан — был среднего роста, ни толстый, ни тонкий, темноволосый, с пролысинами и с седи-ной, — лицом своим он сильно напоминал охотника за мамонтами. Или такую увеличенную обезьянку, из тех, что в зоопарке сидят в первой клетке с краю.

Маленькими глазками он шарил по полу и по сте-нам, избегая посмотреть прямо. Я знал, что в моло-дости он обворовывал крольчатники, — странная уго-ловная профессия. Скоро его поймали, но как встав-шего на путь исправления взяли работать в полицию. Тогда была такая традиционная прямолинейная карьера.

Он видел, как я его рассматриваю, и пошевелил левым ухом. Я был глубоко разочарован. ВОЛК 1, по сравнению с тем, как я его — несмотря на все пере-одевания — рисовал себе, оказался просто уродец. Даже на Прцпана не тянул.

И этот-то тип столько лет неумоимо наблюдал за мной, фотографировал меня, снимал на кинопленку, подслушивал, ввертывался буравом в мою дачу, а в пражской квартире — в пол, потолок и в коридорную стену, продырявливал шины моего автомобиля, отравил у меня трех собак и семь кошек, поджег сеновал и (заметьте!) украл кролика, — видно, руки у него так и зудели. Он послал на меня 96 доносов, из которых 95 были рассмотрены; в пивной «У Барашка» он под-сыпал мне в пиво слабительного, но нечаянно выпил его сам; из-за меня выучил ноты и играл на барабане, из-за меня чуть не дал себя изнасиловать в мужской бане, — ну, просто всего не перечислить.

Изучая архивные материалы, я обнаружил, что за те годы на меня истратили 1.578.000 крон, в том числе: 912.000 крон — на зарплаты, премии и награды

для ВОЛКОВ 1-11; 526.300 крон — на служебные поездки в самых разнообразных средствах сообщения, включая самоходный вагончик и телегу с лошадиной упряжкой (маскировка); и наконец 130.000 крон — на различную технику, главным образом — фото, подслушивающую и маскировочную.

Когда я сейчас мысленно сопоставлял эту сумму, на которую в пору Общественного Блага можно было построить солидную министерскую виллу, с этим типом, всё навязчивее напомиавшем мне увеличенную обезьянку из зоопарка, меня охватывали смешанные ощущения.

— Я хотел наконец познакомиться с вами, — ответил я, немного помедлив, на его вопрос. — Согласитесь, что после стольких лет сотрудничества — имею право.

Он смотрел хмуро. Я решил, что надо его подбодрить.

— Ну, господин Волк, — сказал я товарищеским тоном, — не смотрите на меня, как на чужого! Ведь вас благодаря мне столько раз повышали в чине! Что вы были такое, когда вас прикомандировали ко мне? Жалкий старшина, за пятнадцать лет не пошедший дальше профессионального лжесвидетеля. Во всех судах вас уже знали. Потом вам дали меня, и за шесть лет вы выросли в подполковника. А награды, которые вы за меня получили? Ну, разве я не прав?

Не знаю, смягчилось ли его сердце, но он положил ногу на ногу и перестал шевелить ухом. Я предложил ему папиросу.

— Разве вы не знаете, что я не курю? Я никогда не курил! — воскликнул он уязвленно.

— Но из можжевельника, который вы на себе таскали, часто шел дым, — заметил я.

— Нет, когда я носил его, этого не бывало, — сказал он официальным тоном. — Это мог быть толь-

ко ВОЛК 8. Недисциплинированный элемент. Или курил, или спал.

Конфет я с собой не ношу, выпивки с собой не было, одним словом, мне нечем было его угостить. Я вежливо осведомился, не помешает ли ему, если я сам закурю. Он ответил, что не помешает.

— Сижу в камере с одним бывшим министром, и он курит даже сигары, — сказал Волк с полным смирением.

— Неподходящая архитектура? — спросил я с участием — я же это хорошо помнил. — Теснота? Духота?

Тема его заинтересовала.

— Чуланчиком и то не назовешь, — ответил он. — Вместо окон — дырка под потолком. Только через месяц проведут кондиционированный воздух и пробьют нормальные окна. Это, видимо, строил какой-то садист.

Его слова звучали совершенно искренно.

Я был рад, что он делится своими огорчениями со мной, и, шая его, не сообщил, когда была построена эта тюрьма. Каждому правительству, которое строит тюрьмы для своих политических противников, стоило бы подумать, что когда-нибудь оно само будет там сидеть.

Пожалел я его:

— Печально, что вы в таких плохих условиях, — сказал я. — А я пишу мюзикл и хотел доверить вам важную роль.

Он прореагировал несколько неуверенно. Я поспешил объяснить ему, что мюзикл — это не новая попытка, а нечто вроде оперетты. Он оживился, явно рассчитывая, что на этом может иногда зарабатывать увольнительную. Поэтому он сразу стал более разговорчивым, а я перешел к старым воспоминаниям.

— Помните еще, господин Волк, как тогда в Ба-рахолкове родились шестерняшки? — спросил я его.

Он снова пошевелил левым ухом и ответил обиженно:

— Это не моя работа. Я был самостоятельной оперативной единицей, направленной исключительно на вас.

— Значит, вами не руководил Копецкий? — продвигался я.

— Копецкий? — воскликнул он уязвленно. — Мною? Откуда у вас такие сведения? Мною и моей группой руководил лично главный комиссар Ирсак. Копецкий был заурядным районным жандармом и обязан был по первому моему требованию помогать мне!

— Простите, — сказал я. — Не хотел вас задеть. А не было ли такого, что вы с Копецким недолюбливали друг друга?

— Он всё время во всё вмешивался, — пожаловался Волк. — Всё проявлял инициативу, меня наперед не предупреждал, и дважды мы по ошибке чуть не перестреляли своих же. Например, тот охотник, упавший у вас с крыши в носилки с раствором, был его агент Ланда. Полный идиот — влезет на крышу в охотничьем снаряжении и еще забудет привязаться к трубе. Заснул и свалился. Такими вещами я принципиально не занимался, мои люди к вам на крышу не лазили, разве что в подвал. Это не мой стиль. Только вспомните, какая была картина, когда этот дурак лежал на носилках, а на голове у него красовалась шляпа с пером.

— Да, правда, глупо выглядело, — допустил я. — Он сломал ногу, и мы его вместе с носилками на тракторном прицепе привезли в жандармское управление. Помню, как там делали вид, что не знают его. «Почему везете его к нам? — спрашивали вроде как удивленно. — Почему не в лесное управление?» — «У него в кармане ваше удостоверение, — объяснил я им. — Лучше выньте, пока раствор не затвердел. Он цементный». Только после этого они согласились забрать его, но зато

не хотели вернуть носилки. Это были неприятные пререкания.

— Так, значит, вами руководил лично Ирсак, — вернулся я к первоначальной теме. — Оттого такой профессионализм и такая техника! Уже тогда мне было странно, откуда у районных жандармов этакий профессиональный уровень!

Он покосился слегка польщенно.

Главный комиссар Ирсак пользовался в свое время славой выдающегося криминалиста. Это был прямо воскресший Шерлок Холмс и, к тому же, красавец. Женщины по нем с ума сходили, его фотографии в киосках бешено раскупались. Когда он выступал по телевизору, повествовал о своих приключениях в борьбе с преступниками и просил народ сотрудничать, в больших семьях происходили драки из-за места у экрана. Когда барахолковская афера сотрясла верхний слой земной коры, правительство выслало на место действия именно Ирсака. Заговорщики не могли, конечно, укрыться от его научной дедукции. Поэтому из Барахолкова Ирсак вернулся, увенчанный новыми лаврами своей детективной славы. Потом, к сожалению, вторгся Горимир Зуска со своей Серой Чумой, так что Ирсака подзабыли. Позже он продавал каштаны в подземном переходе.

И вот сейчас передо мною находился важный работник из штаба Ирсака, и я мог отчасти удовлетворить свое любопытство.

— Помните, какая метель была в тот Сочельник? — вернулся я ко временам шестерняшек.

— Еще бы не помнить, — сказал он грустно. — Я тогда потерял у вас ВОЛКА 10. Некий прапорщик Франя. Засыпало его, и нам уже не удалось его разыскать. Когда снег сошел, нашли мы от него только служебный свисток. Видимо, его в замерзшем виде сожрали мелкие грызуны. Тяжелая была служба, — добавил он со вздохом.

— Мне показалось странным, что он не реагирует, когда я уезжал с Пытликом, — сказал я с участием. — Я гудел, но он не отозвался. Я думал, может, что у него свистулька замерзла. Не предполагал я, что он уже на том свете.

Минуту мы помолчали, как бы почтив память ВОЛКА 10, сожранного мелкими грызунами. Потом мой собеседник для разнообразия спросил меня:

— Почему вы, собственно, везли этого Пытлика?

— Послушайте, господин Волк, — сказал я ему с укором, — разве вы забыли мои протоколы? Ведь мне пришлось рассказывать об этом не меньше пятидесяти раз! Машина Пытлика поломалась недалеко от моей избы, и он сам попросил отвезти его.

— Странно, что Пытлик застрял именно рядом с вами. А вы всю вторую половину дня расчищали свою дорогу к шоссе. У нас было серьезное подозрение, что это не случайные совпадения.

Он сделал ударение на слове «серьезное».

— Я всегда расчищал дорогу к шоссе, когда бывал такой снегопад, — защищался я, после всех этих лет еще раз. — Не мог же я ждать, пока меня совсем завалит. Вспомните своего прапорщика Франю, беднягу.

Мне показалось, что он со мной согласен, потому что слегка кивнул в ответ.

— Но мы узнали также, что вы грубо оскорбили князя, — продолжал Волк опять бойко.

— Он не выпускал меня, — защищался я. — После того как я высадил Пытлика, не поднимали шлагбаум. Князь вышел и тащил меня выпить с ним. Сам он уже перебрал, вцепился мне в рукав и кричал, что я его любимый поэт. Явно путал меня с Иваном Скалой*. Я напрасно объяснял ему, что я не поэт, а композитор.

* Скала Иван — директор издательства Союза чехословацких писателей. — Прим. пер.

— Но ведь вы назвали его свиньей, — строго укорил меня бывший полковник.

— Такого я бы себе не позволил, — заверил я его. — Это сказала его внучка, которая тоже вышла на улицу и тянула его обратно. Хорошо ее помню. Красивая девушка.

— Это не внучка, это его жена, — поправил меня Волк.

Он действительно знал гораздо больше, чем я.

— И сразу после этого, — продолжал он неумолимо, — вы поехали организовывать скандал с шестерняшками, если не что-нибудь похуже. Не отрицайте — вы замешаны и в похищении. Не притворяйтесь невинным.

Разговор вышел за стены комнаты свиданий исправительного учреждения и как бы по волшебству перенесся в иное время и в другие стены. Думаю, оба мы чувствовали себя помолодевшими.

В действительности всё тогда было так: от князя я поехал прямо домой. Снова пошел снег, и я радовался, что по дороге от шоссе к избе пока еще можно проехать. Машину я отвел в сарай, а сам пошел в тепло. Возможно, я уже не думал о происшедшем, — скорее всего я лег спать. Разгрести снег — лучше всякого снотворного.

Теперь, однако, когда передо мною сидел мой долголетний личный сыщик и следопыт, неловко было в этом сознаться. За все те годы ему не удалось сбить меня ни в чем другом, кроме шестерняшек, но поскольку я шесть недель упорно отрицал даже и то, что мой дедушка был адъютантом наследного принца Рудольфа, меня предпочли выпустить с пометкой «не вполне нормален». Я с радостью предложил им следующее объяснение: эта актриса, раньше чем убить наследного принца бутылкой из-под шампанского, оглушила вначале моего деда бутылкой из-под мозельского. «Тут сказывается дурная наследственность», — заверил я их.

Тем не менее, сейчас мне было жаль моего Волка. Ведь у него не осталось бы никакой утешительной темы для размышлений — и я решил на святую ложь.

— Что же, — сказал я ему, — перед таким криминалистом, как вы, не имеет смысла играть в прятки. Да, я поехал прямо в Барахолково и с почты позвонил португальскому морскому атташе. Это был мой знакомый. Я ему сообщил всю тайну шестерняшек. Ну, а комодор работал на китайцев, а китайцы подослали туда этого итальянца. Теперь понимаете?

Его лицо просияло.

— Так это всё объясняет! — воскликнул он радостно. — Это и есть недостающее звено, этот португалец! Мы, наверно, португальца почему-то не прослушивали. Возможно, у нас были дружественные отношения.

— Не было ли у вас еще какой-нибудь гипотезы? — спросил я с любопытством.

— У меня — никакой, так как мне не хватало Франи. Кроме того, у вас в спальне не работал микрофон. Вы всегда вешали на него какой-то противень — ничего не было слышно.

— Не противень, а сковородку, — поправил я его.

— Так вот, сковородку. Материал, наверно, был довоенный, потому что через нее ничего не было слышно.

— Еще австро-венгерская, — объяснил я. — Из хозяйства того самого дедушки, адъютанта наследного принца.

— Тогда понятно. Чугун, видимо, солидный. Но из-за этого я не знал, где вы находились ночью, и думал, что информацию вы передали кому-то прямо на шоссе. Мы допрашивали водителя той поломанной «Скорой помощи», и он утверждал, что не видел, ни как вы уезжали, ни как приезжали.

— Он спал, как бревно, — пришлось мне помочь ему. — Я даже прикрыл его одеялом.

Мы оба так вжились в это, как будто скинули годы с плеч. Я еще спросил:

— А как Копецкий? У него не было своей гипотезы?

— Он утверждал, что у вас есть почтовые голуби. К сожалению, господин главный комиссар Ирсак на это клюнул и мы в течение недели искали голубиный помет.

— И нашли?

— Нашли, но в лаборатории обнаружили, что он не от голубей, а от попугая, — ответил он.

— Ах да, — вспомнил я, — жил у меня тогда действительно попугай Людвик. Я даже возил его с собой. Вполне прилично разговаривал.

Надзиратель заглянул внутрь и сказал, что у нас остается еще десять минут, так как заключенным будут раздавать полдник.

— Вам не кажется странным, — почему он не сидит тут с нами и не вмешивается в наши разговоры? — спросил я Волка. Ведь во времена, когда мой Прцпан бывал еще ВОЛКОМ 1, осужденным не разрешалось разговаривать с посетителями наедине. Политическим заключенным даже в тюрьме сажали на шею личного шпика, называвшегося воспитателем.

— Вы — первый, кто посетил меня здесь, — ответил он. — Конечно, мне странно, что нас тут так вот оставляют одних, но порядки-то теперь хаотические. Здесь просто отсутствует дисциплина.

— Как, разве у вас нет воспитателя? — удивился я.

— Нету, живем, как трава. Вышиваем настенные коврики. Норма такая низкая, что и днем больше лежим. Иногда такая лень нападает, — даже телевизор неохота включать. Мой сокамерник-министр набирает за неделю по три кило.

— А сколько он весил, когда пришел сюда? — спросил я, потрясенный.

— Сто пятнадцать. Теперь уже двести десять. Вчера ему дали направление на месяц в лагерь, где лечат от ожирения.

— Патефона в камере у вас нет? — спросил я. — Я бы прислал вам свои пластинки.

— Патефон был, да мы от него отказались. У нас теперь магнитофон. Может, у вас есть записи?

Я пообещал ему пару кассет. Шли последние минуты. Я чувствовал, как теряю нить разговора. Но у стареющего разведчика память хорошо работала.

— Так как же насчет оперетты? — спросил он меня.

У меня не было причин скрывать от него что-нибудь.

— Это называется «С Волком по пятам». Сами понимаете, какой сюжет. Вас поет Олдржих Новый, недавно ему исполнилось девяносто два.

— А как же я? — выпалил он почти оскорбленно.

— Не бойтесь, я на вас рассчитываю как на эксперта-консультанта.

Это его обрадовало. Он впервые засмеялся.

Двери тем временем открылись, и надзиратель, выглядевший скорее как баварский таможенник, звякнул ключами. В спешке я еще спросил Волка:

— Могу я послать вам посылочку?

— Вы бы...

— Ну, конечно. Сколько вам разрешается?

— Никаких ограничений. Мой коллега получает по две в день.

Это объясняло мне прибавку в весе.

— Хотите чего-нибудь особенного? — спросил я еще.

Он задергал левым ухом и сказал:

— Больше всего я люблю мятные леденцы.

Потом он подал мне руку — его приятно удивило,

что я не отказался пожать ее, — и вышел из комнаты. Надзирателю я сунул две десятки. Он небрежно, двумя пальцами, отдал честь и вышел вслед за Волком. Я остался в комнате один.

Через год объявили очередную амнистию, и его выпустили. На другой же день он пришел ко мне.

В то время мы как раз начинали репетировать и смогли его использовать. Позже он получил даже роль. Играл он лейку, которая пела. В театре он так уже и остался, потому что пенсию ему дали маленькую.

Иногда он заходит поболтать, и у меня всегда приготовлена для него коробочка с мятными леденцами.

(Продолжение следует)

КРЕСТОВЫЙ ХОЛМ

Перевод Василия Бетаки

(с подстрочника П. Гаутиса)

*Кровь дуба капает,
И венок мой в крови,
И одежда моя...*

(Литовская народная песня)

19 мая 1973 года ночью на окраине города Шауляй показалось необычное шествие. Группа юношей и девушек молча несла крест.

20 мая в 2 часа 30 минут Крестовый холм украсился еще одним новым крестом.

В 6 часов 45 минут утра послышалось гуденье машины. Злые руки вырвали крест и увезли его.

Но к полудню уже стоял на его месте другой.

Кресты словно росли из земли...

(Хроника Литовской католической церкви)

1

Зачем оголили Крестовый холм
И крест изрубили вы?
Рассветом забрызган голый холм
Посередине Литвы.

Пускай задубеют ваши сердца,
Отсохнут руки у вас,
И камни встанут навстречу вам,
Как в самый последний час!

Сплетутся реки петлями змей,
Солнце в зените замрет,
Леса превратятся в снопы огней,
А слезы людские — в лед.

История вытащит свой топор...
Тогда припомните вы,
Как наступал ваш черный сапог
На крест посреди Литвы.

2

В альбоме Вáрнаса — кресты.
Им снится ширь полей...
Усадьбы старые пусты
И тучи — без дождей.

Кресты встают со всех страниц
(А топоры стучат!)
И слышат кресты, как падает ниц
Под пилами мертвый брат.

Кресты оставляют тихий альбом
Бредут по дорогам страны,
И тени их над голым холмом
Врезаются в луч луны.

3

В Шварцвальде — живые Нагис и Нилюнас.
Земли у них нет...

В Биржовской пуще — Мамертас и Бронюс.
Земля их взяла...

И я не в силах
Живым обещать хоть клочок земли,
А мертвым — кресты на могилах.

4

Сибирской мерзлотой закованы кресты,
Кресты в песках пустынь чернеют от загара,
Прибежище крестов — альпийские мосты,
Шотландские холмы и берег Ниагары.

И Тихий океан, и маленький атолл,
И австралийский буш их видели немало,
И там, в самой Литве, где онемел Костел,
Крестов литовских речь еще не отзвучала:

Холсты Чурлёниса мерцают в полутьме,
Созвездие Стрельца играет тетивой,
И солнечная ночь противится зиме,
И жемайтийские кресты над головою.

В любом конце земли мы слышим их слова,
(О да, бессилён слух, бессильно сердце тоже!)
Но голосом крестов нам говорит Литва,
И — горек слух души, когда мороз по коже...

5

Не рубины в короне
И не брызги вина...
На Крестовом холме
Ты распята, страна.

И давно поделили
Одежду твою,
И в куски изрубили
Надежду твою.

На Крестовом холме —
Тишина, пустота...
Но листвой покрывается
Пень от креста...

БРАДУНАС Казис — родился 11 февраля 1917 г. в деревне Киршай. Окончил гимназию в Вилкавишкисе и изучал историю литовского языка и литературы в Вильнюсском университете, который закончил в 1943 г. После войны жил в Мюнхене, преподавал в литовской гимназии и издавал литературный журнал «Айдус». В 1949 г. переехал в США.

Два сборника стихов К. Брадунаса вышли еще во время его пребывания в Литве. За границей — в Мюнхене, Тюбингене, а потом в Чикаго — был издан ряд сборников его стихов, последний — в 1973 году. Двум его книгам были присуждены премии: одной — в 1958 г. в Торонто, другой — в 1964 г. в Чикаго. Поэтическая деятельность К. Брадунаса успешно сочетается с его редакторской работой.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

Главы из второй книги романа

1

Когда люди в тылу видят движение к фронту воинских эшелонов, их охватывает чувство радостного томления, — кажется, что именно эти пушки, эти свежеокрашенные танки предназначены для главного, заветного, что сразу приблизит счастливый исход войны.

У тех, кто выходя из резерва, грузится в эшелоны, возникает в душе особое напряжение. Молодым командирам взводов мерещатся приказы Сталина в засургученных конвертах... Конечно, люди поопытней ни о чем таком не помышляют, пьют кипяток, бьют об столик или об подметку сапога вяленую воблу, обсуждают частную жизнь майора, перспективы товарообмена на ближайшей узловой станции. Опытные люди уже видели, как бывает: часть сгружается в прифронтной полосе, на глухой, известной только немецким пикировщикам станции и под первую бомбежку новички маленько теряют праздничное настроение... Людям, опухавшим в дороге от сна, не дают поспать ни часу, марш длится сутками, некогда попить, поесть, в висках ломит от беспрерывного рева перегретых моторов, руки не в силах держать рычаги управления. А командир уже начитался шифровок, наслушался крику и матюков по радиопередатчику, — командованию надо поскорей затыкать дыру и нет здесь никому никакого дела до того, какие показатели у новой части в

* См. «КОНТИНЕНТ» №№ 6, 7. На этом мы кончаем публикацию глав романа Вас. Гроссмана «Жизнь и судьба». — Ред.

учебных стрельбах. «Давай, давай, давай» — одно это слово стоит в ушах командира части, и он дает, не задерживает, — гонит всю. И бывает, прямо с ходу, не разведав местности, часть вступает в бой, чей-то усталый и нервный голос скажет: «Немедленно контратакуйте, вдоль этих высоток, у нас тут ни хрена нет, а он прет всю, все к черту повалится».

В головах механиков-водителей, радистов, наводчиков стук и грохот многосуточной дороги смешался с воем германских воздушных пицух, с треском рвущихся мин.

Тут и становится особенно понятно безумие войны, — час прошел, и вот он, огромный труд: дымятся обгоревшие, развалившиеся машины с развороченными орудиями, сорванными гусеницами.

Где месяцы бессонной учебы, где прилежание, терпеливый труд сталеваров, электриков?!

И старший начальник, чтобы скрыть необдуманную торопливость, с которой была брошена в бой прибывшая из резерва часть, скрыть ее почти бесполезную гибель, — посылает наверх стандартное донесение: «Действия брошенной с хода резервной части приостановили на некоторое время продвижение противника и позволили произвести перегруппировку вверенных мне войск».

А если б не кричал — давай-давай, если б дал возможность разведать местность, не переть на минированное поле, то танки, хоть ничего решающего и не совершив, подрались бы, причинили немцам неприятность и большое неудобство.

Танковый корпус Новикова шел к фронту.

Необстрелянным, наивным ребятам-танкистам казалось, что именно им предстоит участвовать в решающем деле. Фронтвики, знавшие почему фунт лиха, посмеивались над ними — командир первой бригады Макаров и лучший в корпусе командир танкового ба-

тальяна Фатов хорошо знали, как все это бывает, видели не раз.

Скептики и пессимисты — люди реальные, люди горького опыта, кровью, страданием обогатившиеся пониманием войны. В этом их превосходство над безусыми губошлепами. Но люди горького опыта ошиблись. Танкам полковника Новикова предстояло участвовать в деле, которое определило и судьбу войны и послевоенную жизнь многих сотен миллионов людей.

2

Новикову было приказано, прибыв в Куйбышев, связаться с представителем Генерального штаба, генерал-лейтенантом Рютиным, осветить ряд вопросов, интересующих Ставку.

Новиков думал, что его встретят на вокзале, но комендант вокзала, майор с каким-то диким, блуждающим и одновременно совершенно сонным взором, сказал, что о Новикове никто не справлялся. Позвонить по телефону генералу с вокзала не удалось, генеральский телефон был до того засекречен, что пользоваться им было невозможно.

Новиков отправился пешком в Штаб округа.

На вокзальной площади он ощутил ту робость, которую переживают командиры строевых частей, вдруг оказавшиеся в непривычной городской обстановке. Ощущение своего центрального положения в жизни обрушилось — тут не было телефониста, протягивающего трубку, ни водителя, стремительно кидавшегося заводить машину.

По мощеной лобастым булыжником улице бежали люди к вновь образующейся у распределителя очереди. «Кто крайний... Я за вами...»

Казалось, что нет ничего важнее для этих позванивающих бидонами людей, чем очередь у зашарпанной двери продмага. Особенно сердили Новикова

встречные военные, почти у каждого в руках был чемоданчик, сверточек. «Собрать их всех, сукиных сынов, да эшелон на фронт», — подумал он.

Неужели он сегодня увидит ее? Он шел по улице и думал о ней. Женя, алло!

Встреча с генералом Рютиным в кабинете командующего Округом была недолгой. Едва начался разговор, генерала вызвали по телефону из Генштаба, — предложили срочно вылететь в Москву.

Рютин извинился перед Новиковым и позвонил по городскому телефону.

— Маша, все изменилось. «Дуглас» уходит на рассвете, передай Анне Аристарховне. Картошку не успеем взять, мешки в совхозе... — Бледное лицо его брезгливо и страдальчески наморщилось и, видимо, перебивая поток слов, шедший к нему по проводу, он сказал:

— Что ж, прикажешь доложить Ставке, что из-за недошитого дамского пальто я не могу лететь?

Генерал положил трубку и сказал Новикову:

— Товарищ полковник, вы считаете, что ходовая часть машины удовлетворяет требованиям, которые мы выдвинули перед конструкторами?

Новикова тяготил этот разговор. За месяцы, проведенные в корпусе, он научился точно определять людей, вернее, их деловой вес. Мгновенно и безошибочно взвешивал он силу тех уполномоченных, руководителей комиссий, представителей, инспекторов и инструкторов, которые являлись к нему в корпус.

Он знал значение негромких слов: «Товарищ Маленков велел передать вам...» и знал, что есть люди в орденах и генеральских погонах, красноречивые и шумные, бессильные получить тонну солярки, назначить кладовщика и снять с работы писаря.

Рютин действовал не на главном этаже государственной громады. Он работал на статистику, предста-

вительство, на общее освещение, и Новиков, разговаривая с ним, стал поглядывать на часы.

Генерал закрыл большой блокнот.

— К сожалению, товарищ полковник, время, вылетаю на рассвете в Генштаб. Беда прямо, хоть в Москву вас вызывай.

— Да, товарищ генерал-лейтенант, действительно, хоть в Москву вместе с танками, которыми я команду, — холодно сказал Новиков.

Они простились. Рютин просил передать привет генералу Неудобнову, с которым они вместе служили когда-то. Новиков шел по зеленой дорожке в обширном кабинете и слышал, как Рютин сказал в телефон:

— Соедините меня с начальником совхоза номер один.

«Картошку свою выручает», — подумал Новиков.

Он пошел к Евгении Николаевне. Душной летней ночью он подошел к ее сталинградскому дому, пришел из степи, охваченной дымом и пылью отступления. И вот он снова шел к ее дому, и, казалось, бездна лежала между тем и этим человеком, а шел он такой же, он же, один и тот же человек.

— Будешь моею, — подумал он. — Будешь моею.

3

Это был старинной постройки двухэтажный дом, из тех, не поспевающих за временами года толсто-стенных, упрямых домов, которые летом хранят прохладную сырость, а в осенние холода не расстаются с душным и пыльным теплом.

Он позвонил, и на него из открывшейся двери пахнуло духотой, и в коридоре, заставленном продавленными корзинами и сундуками, он увидел Евгению Николаевну. Он видел ее, не видя ни белого платочка на ее волосах, ни черного платья, ни ее глаз и лица, ни ее рук и плеч... Он словно не глазами увидел ее, а

незрячим сердцем. А она ахнула и не подалась немного назад, как обычно делают пораженные неожиданно-стью люди.

Он поздоровался и что-то она ему ответила.

Он шагнул к ней, закрыл глаза, чувствовал и счастье жизни, и готовность вот тут же, сейчас умереть, и тепло ее касалось его.

И для того, чтобы переживать чувство, которого он раньше не знал, — счастье, — оказалось, не нужно было ни зрения, ни мыслей, ни слов.

Она спросила его о чем-то и он ответил, идя следом за ней по темному коридору и держа ее за руку, словно мальчик, боящийся остаться один в толпе.

— Очень широкий коридор, — подумал он. — Тут КВ пройти может.

Они вошли в комнату с окном, выходящим на глухую стену соседнего дома.

У стен стояли две кровати — одна с мягкой, плоской подушкой, застеленная серым одеялом, вторая под белым кружевным покрывалом с белыми взбитыми подушечками. Над беленькой кроватью висели открытки с новогодними и пасхальными красавцами в смокингах, цыплятами, выходящими из яичных скорлуп.

На углу стола, заваленного свернутыми в трубку листами ватманской бумаги, лежал кусок хлеба, вялая половина луковицы, стояла бутылка с постным маслом.

— Женя... — сказал он.

Взгляд ее, обычно насмешливый, наблюдающий, был особый, странный.

Она сказала:

— Вы голодны, вы с дороги?

Она, видимо, хотела разрушить, разбить то новое, что уже возникло и что уже нельзя было разбить. Какой-то стал он иной, не такой, каким был, человек, получивший власть над сотнями людей, над утрюмы-

ми машинами войны, с жалобными глазами несчастного парнишки. И от этого несоответствия она терялась, хотелось испытывать к нему снисходительное чувство, даже жалость и не думать о его силе. Ее счастьем была свобода. Но свобода уходила от нее и она была счастлива.

Вдруг он сказал:

— Да что же, неужели не понятно! — И снова он перестал слышать свои и ее слова. И снова возникло в его душе ощущение счастья и связанное с ним чувство, — хоть сейчас умереть. Она его обняла за шею и ее волосы, точно теплая вода, коснулись его лба, щек и в полумраке этих темных, рассыпавшихся волос он увидел ее глаза.

Ее шепот заглушил войну, скрежет танков...

Вечером они пили кипяток, ели хлеб, и Женя сказала:

— Отвык начальник от черного хлеба.

Она принесла выставленную за окно кастрюлю гречневой каши, — крупные, заледеневшие зерна гречи стали фиолетовыми и синими. На них выступил холодный пот.

— Как персидская сирень, — сказала Женя.

Новиков попробовал персидской сирени, подумал: «Жуткое дело!»

— Отвык начальник, — снова сказала она, и он подумал: «Хорошо, что не послушался Гетманова, не привез продукты».

Он сказал:

— Когда началась война, я был под Брестом, в одном авиаполку. Летчики кинулись на аэродром, и я слышал, какая-то полька вскрикнула: «Кто это?», — а мальчишка-полячок ответил ей: «Это русский жолнеж», — и я особенно почувствовал: русский, русский я... Ведь, понимаешь, всю жизнь знаю, что не турок, а здесь душа загудела: русский я, я русский. По правде говоря, нас в другом духе воспитывали перед войной...

Сегодня, именно сейчас, лучший мой день — вот смотрю на тебя и снова, как тогда — русское горе, русское счастье... Вот такое, хотел тебе сказать...

Он спросил: — Чему ты?

Мелькнула перед ней взлохмаченная голова Крымова. Боже, неужели она навеки рассталась с ним? Именно в эти счастливые минуты ей показалась невыносимой вечная разлука с ним.

На мгновение показалось, вот-вот она соединит этот сегодняшний день, слова сегодняшнего человека, целовавшего ее, с тем ушедшим временем, вдруг поймет тайный ход своей жизни и увидит то, что не дано увидеть, — глубину своего собственного сердца, ту, где решается судьба.

— Эта комната, — сказала Женя, — принадлежит немке, она меня приютила. Это ее ангельская белая кровать. Более безобидного, беспомощного человека я не видала в жизни... Странно ведь вот так, во время войны с немцами, я уверена, — она самый добрый человек в этом городе. Странно, да?

— Она скоро придет? — спросил он.

— Нет, с ней война кончена, ее выслали.

— Ну и слава Богу, — сказал Новиков.

Ей хотелось сказать о своей жалости к Крымову, брошенному ею, ему некому писать письма, не к кому стремиться, ему осталась тоска, безнадежная тоска, одиночество.

И к этому примешивалось желание рассказать о Лимонове, о Шаргородском, о новом, любопытном, непонятном, что связывалось с этими людьми. И хотелось рассказать о том, как в детстве Женни Генриховна записывала смешные слова, которые произносили маленькие Шапошниковы, и что тетрадки с этими записями лежат на столе, их можно почитать. Хотелось рассказать об истории с пропиской и о начальнике паспортного стола. Но в ней не было еще доверия к

нему, она стеснялась его. Нужно ли ему то, что она скажет?..

И удивительно... Словно наново она переживала свой разрыв с Крымовым. Ей всегда в глубине души казалось, что можно будет исправить, вернуть прошлое. Это успокаивало ее. И сейчас, когда она ощутила подхватившую ее силу, пришла мучительная тревога, — неужели это навеки, неужели то непоправимо? Бедный, бедный Николай Григорьевич. За что ему столько страданий?

— Что ж это будет? — спросила она.

— Евгения Николаевна Новикова, — проговорил он.

Она стала смеяться, всматриваться в его лицо.

— Чужой, ведь совершенно чужой. Собственно, кто ты?

— Этого я не знаю. А вот ты — Новикова Евгения Николаевна.

Она уже не была над жизнью. Она наливала ему в чашку кипятку, она спрашивала:

— Еще хлеба?

Вдруг она сказала:

— Если с Крымовым что-нибудь случится, его искалечат или посадят, я вернусь к нему. Имей это в виду.

— А за что его сажать? — хмуро спросил он.

— Ну, мало ли что, старый коминтерновец, его ведь Троцкий знал, сказал, прочтя одну его статью: «Мраморно!»

— Попробуй, вернись, он тебя погонит.

— Не беспокойся. Это уж мое дело.

Он сказал ей, что после войны она станет хозяйкой в большом доме, и дом будет красивый, и при доме будет сад.

Неужели это навсегда, на всю жизнь?

Ей почему-то хотелось, чтобы Новиков ясно понимал, что Крымов умный, талантливый, что она при-

вязана к Крымову, да чего там — любит его. Она не хотела, чтобы он ревновал ее к Крымову, но она сама того не понимая, все делала, чтобы вызвать его ревность. Но она рассказывала именно ему, единственному, то, что ей, единственной, рассказывал когда-то Крымов, — о словах Троцкого. «Знай об этом случае в свое время еще кто-либо, вряд ли Крымов уцелел бы в 1937 году». Ее чувство к Новикову требовало высшего доверия и она доверила ему судьбу человека, обиженного ею.

Голова ее была полна мыслей, она думала о будущем, о сегодняшнем дне, о прошедшем, она млела, радовалась, стыдилась, тревожилась, тосковала, ужасалась. Мать, сестры, племянники, Вера, десятки людей связывались с изменением, происшедшим в ее жизни. Как бы Новиков говорил с Лимоновым, слушал разговоры о поэзии и живописи?.. Он не стыдный, хотя и не знает Шагала и Матисса... Сильный, сильный, сильный. Она и подчинилась. Вот кончится война. Неужели, неужели она никогда больше не увидит Николая?! Боже, Боже, что она наделала! Не надо думать об этом сейчас. Ведь неизвестно, что еще будет, как все сложится.

— Я именно сейчас поняла: ведь совершенно не знаю тебя. Я не шучу: чужой. Дом, сад — зачем все это. Ты всерьез?

— Хочешь, я после войны демобилизуюсь и поеду десятником на стройку, куда-нибудь в Восточную Сибирь? Будем жить в семейном бараке.

Слова эти были правдой, он не шутил.

— Не обязательно в семейном.

— Совершенно обязательно.

— Да ты с ума сошел. Зачем это? — И она подумала: «Коленька».

— Как зачем? — испуганно спросил он.

А он не думал ни о будущем, ни о прошлом. Он был счастлив. Его даже не пугала мысль о том, что

через несколько минут они расстанутся. Он сидел рядом с ней, он смотрел на нее... Евгения Николаевна Новикова... Он был счастлив. Ему не нужно было, чтобы она была умна, красива, молода. Он действительно любил ее. Сперва он не смел мечтать, чтобы она стала его женой. Потом он долгие годы мечтал об этом. Но и сегодня, по-прежнему, он со смирением и робостью ловил ее улыбку и насмешливое слово. Но он видел — появилось новое.

Она следила, как он собирался в дорогу, и сказала:

— Пришло время отправиться к ропщущей дружине, а меня бросить в набежавшую волну.

Когда Новиков стал прощаться, он понял, что не так уж сильна она, и что женщина всегда женщина, даже если она и наделена от Бога ясным и насмешливым умом.

— Столько хотела сказать и ничего не сказала, — проговорила она.

Но это не было так, — то важное, что решает жизнь людей, стало определяться во время их встречи. Он действительно любил ее.

4

Новиков шел к вокзалу.

... Женя, ее растерянный шепот, ее босые ноги, ее ласковый шепот, слезы в минуты расставания, ее власть над ним, ее бедность и чистота, запах ее волос, ее милая стыдливость, тепло ее тела, его робость от сознания своей рабоче-солдатской простоты и его гордость от принадлежности к рабоче-солдатской простоте.

Новиков пошел по железнодорожным путям, и в жаркое, смутное облако его мыслей вошла пронзительная игла — страх солдата в пути — не ушел ли эшелон.

Он издали увидел платформы, угловатые танки с

металлическими мышцами, выпиравшими из-под брезентовых полотнищ, часовых в черных шлемах, штабной вагон с окнами, завешенными белыми занавесками.

Он вошел в вагон мимо приосанившегося часового.

Адъютант Вершков, обиженный на то, что Новиков не взял его с собой в Куйбышев, молча положил на столик шифровку Ставки, — следовать на Саратов, далее астраханской веткой...

В купе вошел генерал Неудобнов и, глядя не на лицо Новикова, а на телеграмму в его руках, сказал:

— Подтвердили маршрут.

— Да, Михаил Петрович, — сказал Новиков, — не маршрут, подтвердили судьбу: Сталинград, — и добавил: — Привет вам от генерал-лейтенанта Рютина.

— А-а-а, — сказал Неудобнов и нельзя было понять, к чему относится это безразличное «а-а-а», — к генеральскому привету или к сталинградской судьбе.

Странный он был человек, страшновато становилось от него Новикову, — что бы ни случилось в пути, — задержка из-за встречного поезда, неисправность буксы в одном из вагонов, неполучение повестки к движению эшелона от путевого диспетчера, — Неудобнов оживлялся, говорил:

— Фамилию, фамилию запишите, сознательный вредитель, посадить его надо, мерзавца.

Новиков в глубине души равнодушно, без ненависти, относился к тем, кого называли врагами народа, подкулачниками, кулаками. У него никогда не возникало желанья засадить кого-нибудь в тюрьму, подвести под трибунал, разоблачить на собрании. Но это добродушное равнодушие, считал он, происходило от малой политической сознательности.

А Неудобнов, казалось Новикову, глядя на человека, сразу же и прежде всего проявлял бдительность,

подозрительно думал: «Ох, а не враг ли ты, товарищ дорогой?» Накануне он рассказывал Новикову и Гетманову о вредителях-архитекторах, пытавшихся главные московские улицы — магистрали превратить в посадочные площадки для вражеской авиации.

— По-моему, это ерунда, — сказал Новиков, — военно безграмотно.

Сейчас Неудобнов разговаривал с Новиковым на свою вторую любимую тему — о домашней жизни. Пощупав вагонные отопительные трубы, он стал рассказывать про паровое отопление, устроенное им на даче незадолго до войны.

Разговор этот неожиданно показался Новикову интересным и важным, он попросил Неудобнова начертить схему дачного парового отопления, сложив чертежник, вложил его во внутренний карман гимнастерки.

— Пригодится, — сказал он.

Вскоре в купе вошел Гетманов и весело, шумно приветствовал Новикова.

— Вот мы снова с командиром, а то уж хотели нового атамана себе выбирать, думали, бросил Стенька Разин свою дружину.

Он шурился, добродушно глядя на Новикова, и тот смеялся шуткам комиссара, а в душе у него возникло ставшее уже привычным напряженное ощущение.

В шутках Гетманова была странная особенность, он словно знал многое о Новикове и именно в своих шутках об этом намекал. Вот и теперь он повторил слова Жени при расставании, но уж это, конечно, было случайностью.

Гетманов посмотрел на часы и сказал:

— Ну, пановье, моя очередь в город съездить, возражений нет?

— Пожалуйста, мы тут скучать без вас не будем, — сказал Новиков.

— Это точно, — сказал Гетманов, — вы, товарищ комкор, в Куйбышеве вообще не скучаете.

И уж в этой шутке случайности не было.

Стоя в дверях купе, Гетманов спросил:

— Как себя чувствует Евгения Николаевна, Петр Павлович?

Лицо Гетманова было серьезно, глаза не смеялись.

— Спасибо, хорошо, работает много, — сказал Новиков и, желая перевести разговор, спросил у Неудобнова:

— Михаил Петрович, вам бы почему в Куйбышев на часок не съездить?

— Чего я там не видел? — ответил Неудобнов.

Они сидели рядом, и Новиков, слушая Неудобнова, просматривая бумаги и откладывая их в сторону, время от времени произносил:

— Так, так, так, продолжайте...

Всю жизнь Новиков докладывал начальству и начальство во время доклада просматривало бумаги, рассеянно произносило: «Так, так, продолжайте...». И всегда это оскорбляло Новикова, и Новикову казалось, что он никогда не стал бы так делать...

— Вот какое дело, — сказал Новиков, — нам надо заранее составить для Ремонтного Управления заявку на инженеров-ремонтников, колесники у нас есть, а гусеничников почти не оказалось.

— Я уже составил, думаю, ее лучше адресовать непосредственно генерал-полковнику, ведь все равно пойдет к нему на утверждение.

— Так, так, так, — сказал Новиков. Он подписал заявку и проговорил: — Надо проверить противоздушные средства в бригадах, после Саратова возможны налеты.

— Я уже отдал распоряжение по штабу.

— Это не годится, надо под личную ответствен-

ность начальников эшелонов, пусть донесут не позже шестнадцати часов. Лично, лично.

Неудобнов сказал:

— Получено утверждение Сазонова на должность начальника штаба в бригаду.

— Быстро, телеграфно, — сказал Новиков.

На этот раз Неудобнов не смотрел в сторону, он улыбнулся, понимая досаду и неловкость Новикова.

Обычно Новиков не находил в себе смелости упорно отстаивать людей особо годных, по его мнению, для командных должностей. Едва дело касалось политической благонадежности командиров, он скисал, а деловые качества людей вдруг переставали казаться важными.

Но сейчас он озлился. Сегодня он не хотел смирения. Глядя на Неудобнова, он проговорил:

— Моя ошибка, принес в жертву воинское умение анкетным данным. На фронте выправим, — там по анкетным данным не повоюешь. В случае чего — в первый же день к чёрту смещу!

Неудобнов пожал плечами сказал:

— Я лично против этого калмыка Басангова ничего не имею, но предпочтение нужно отдать русскому человеку. Дружба народов — святое дело, но, понимаете, большой процент среди националов — враждебно настроенных, шатких, неясных людей.

— Надо бы об этом думать в тридцать седьмом году, — сказал Новиков. — У меня такой знакомый был, Митька Евсеев. Он всегда кричал: «Я русский, это прежде всего». Ну вот ему и дали русского человека, посадили.

— Каждому овощу свое время, — сказал Неудобнов. — А сажают мерзавцев, врагов. Зря у нас не сажают. Когда-то мы заключили с немцами Брестский мир, и в этом был большевизм, а теперь товарищ Сталин призвал уничтожить всех немцев-оккупантов до

последнего, пробравшихся на нашу советскую родину, — и в этом большевизм.

И поучающим голосом добавил:

— В наше время большевик прежде всего — русский патриот.

Новикова раздражало: он, Новиков, выстрадал свое русское чувство в тяжелые дни войны, а Неудобнов, казалось, заимствовал его из какой-то канцелярии, в которую Новиков не был вхож.

Он говорил с Неудобновым, раздражался, думал о многих делах, волновался. А щеки горели, как от ветра и солнца, а сердце билось гулко, сильно, не хотело успокаиваться.

Казалось, полк шел по его сердцу, гулко, дружно выбивали сапоги: «Женя, Женя, Женя, Женя».

В купе заглянул уже простивший Новикова Вершков и произнес вкрадчивым глосом:

— Товарищ полковник, разрешите доложить, повар замучил: третий час кушанье под парами.

— Ладно, ладно, побыстрее только.

И тут же в купе вбежал потный повар и с выражением страдания, счастья и обиды стал устанавливать блюда с уральскими соленьями.

— А мне дай бутылочку пива, — томно сказал Неудобнов.

— Есть, товарищ генерал-майор, — проговорил счастливый повар.

Новиков почувствовал, что от желания есть после долгого поста слезы выступили у него на глазах. «Привык, товарищ начальник», — подумал он, вспоминая недавнюю холодную персидскую сирень.

Новиков и Неудобнов одновременно поглядели в окно: по путям пронзительно выкрикивая, шарахаясь и спотыкаясь, шел пьяный танкист, поддерживаемый милиционером с винтовкой на брезентовом ремне. Танкист пытался вырваться и ударить милиционера, но тот обхватил его за плечи и, видимо, в пьяной го-

лове танкиста царила пьяная путаница, — забыв о желании драться, он с внезапным умилением стал целовать милицейскую щеку.

Новиков сказал адъютанту:

— Немедленно расследуйте и доложите мне об этом безобразии.

— Расстрелять надо мерзавца, дезорганизатора, — сказал Неудобнов, задергивая занавеску.

На незамысловатом лице Вершкова отразилось сложное чувство. Прежде всего он горевал, что командир корпуса портит себе аппетит. Но одновременно он испытывал и сочувствие к танкисту, оно содержало в себе самые различные оттенки, — усмешки, поощрения, товарищеского восхищения, отцовской нежности, печали и сердечной тревоги. Отрапортовал:

— Слушаюсь, расследовать и доложить, — он, тут же сочиняя, добавил: — Мать у него тут живет, а русский человек, он разве знает меру, расстроился, стремился со старушкой потеплей проститься и не соизмерил дозы.

Новиков почесал затылок, придвинув к себе тарелку: «Черта с два, никуда не уйду больше от эшелона», — подумал он, обращаясь к женщине, ждавшей его.

Гетманов вернулся перед отправкой эшелона, раскрасневшийся, веселый, отказался от ужина, велел лишь порученцу откупорить бутылку мандариновой, любимой им, воды.

Кряхтя, он снял с себя сапоги и прилег на диван, ногой в носке поплотней прикрыл дверь в купе.

Он стал рассказывать Новикову слышанные от старого товарища, секретаря обкома, новости, — тот накануне вернулся из Москвы, где был принят одним их тех людей, что в дни праздников поднимаются на мавзолей, но не стоят на мавзолее возле микрофона, рядом со Сталиным. Человек, рассказывавший новости, знал, конечно, не все, и уж, конечно, не все, что знал, рассказал секретарю обкома, знакомому ему по

той поре, когда секретарь работал инструктором райкома в небольшом приволжском городе. И из того, что услышал секретарь обкома, он, взвесив на невидимых химических весах собеседника, рассказал немного комиссару танкового корпуса. И уж, конечно, немного из услышанного от секретаря обкома комиссар корпуса Гетманов рассказал полковнику Новикову...

Но он говорил в этот вечер тем особо доверительным тоном, каким раньше не говорил с Новиковым. Казалось, он предполагал, что Новикову досконально известна огромная исполнительная власть Маленкова, и то, что, кроме Молотова, один лишь Лаврентий Павлович говорит «ты» товарищу Сталину, и что товарищ Сталин больше всего не любит самочинных действий, и что товарищ Сталин любит сыр сулгуни, и что товарищ Сталин из-за плохого состояния зубов макает хлеб в вино, и что он, между прочим, рябоват, от перенесенной в детстве натуральной оспы, и что Вячеслав Михайлович давно уж не второе лицо в партии, что Иосиф Виссарионович не очень жалуется в последнее время Никиту Сергеевича и даже недавно в разговоре по Вече покрыл его матом.

Этот доверительный тон в разговоре о людях главной государственной высоты, веселое словцо Сталина, смеясь осенившего себя крестным знаменем в разговоре с Черчиллем, недовольство Сталина самонадеянностью одного из маршалов казались важнее, чем в полунамеке произнесенные слова, шедшие от человека, стоявшего на мавзолее, — слова, прихода которых жаждала и угадывала душа Новикова, — подходило время прорывать! С какой-то глупой самодовольной внутренней ухмылкой, которой Новиков сам не застыдился, он подумал: «Вот это да, попал и я в номенклатуру».

Вскоре тронулся без звонков, без объявлений эшелон.

Новиков вышел в тамбур, открыл дверь, взглядел-

ся в тьму, стоявшую над городом. И снова гулко забила пехота: «Женя, Женя, Женя». Со стороны паровоза, сквозь стук и грохот слышались протяжные слова «Ермака».

Грохот стальных колес по стальным рельсам, и железный лязг вагонов, мчавших к фронту стальные массы танков, и молодые голоса, — и холодный ветер с Волги, и огромное, в звездах небо, как-то по-новому коснулись его, не так, как секунду назад, не так, как весь этот год с первого дня войны, — в душе сверкнула надменная радость, и жестокое, веселое счастье от ощущения боевой грозной и грубой силы, словно лицо войны изменилось, стало иным, не искаженным одной лишь мукой и ненавистью... Печально и угрюмо тянущаяся из тьмы песня зазвучала грозно, надменно.

Но странно, его сегодняшнее счастье не вызывало в нем доброты, желание прощать. Это счастье поднимало ненависть, гнев, стремление проявить свою силу, уничтожить все, что стоит на пути этой силы.

Он вернулся в купе, и так же, как недавно охватило его очарование осенней ночи, охватила его духота вагона, табачный дым, запах горелого коровьего масла, разомлевшей ваксы, дух потных, полнокровных штабных людей. Гетманов в пижаме, раскрытой на белой груди, полулежал на диване.

— Ну как, забьем козла? Генералитет дал согласие.

— Что ж, это можно, — ответил Новиков.

Гетманов тихонько отрыгнув, озабоченно проговорил:

— Наверное, где-то язва у меня кроется, как поем, изжога жутко мучит.

— Не надо было доктора со вторым эшелонотправлять, — сказал Новиков.

Зля самого себя, он думал: «Хотел когда-то Даренского устроить, — поморщился Федоренко, — и я на попятный. Сказал Гетманову и Неудобнову, они

поморщились, зачем нам бывший репрессированный, и я испугался. Предложил Басангова, — зачем нам не русский, я опять на попятный... То ли я согласен, то ли нет?» Глядя на Гетманова, он думал, нарочно доводя мысль до нелепости: «Сегодня он моим коньяком меня же угощает, а завтра ко мне моя баба придет, он с моей бабой спать захочет».

Но почему он, не сомневавшийся в том, что ему-то и ломать хребет немецкой военной машине, неизменно чувствовал свою слабость и робость в разговоре с Гетмановым и Неудобновым?

В этот счастливый день грузно поднялось в нем зло на долгие годы прошедшей жизни, на ставшее для него законным положение, когда военно безграмотные ребята, привычные до злости, еды, орденов, слушали его доклады, милостиво хлопотали о предоставлении ему комнатухи в доме начальствующего состава, выносили ему поощрения. Люди, не знавшие калибров артиллерии, не умевшие грамотно вслух прочесть чужой рукой для них написанную речь, путавшиеся в карте, говорившие вместо «процэнт» «процент», «выдающий полководец», «Бёрлин», всегда руководили им. Он им докладывал. Их малограмотность не зависела от рабочего происхождения, ведь и его отец был шахтером, дед был шахтером, брат был шахтером. Малограмотность, иногда казалось ему, является силой этих людей, она им заменяла образованность; его знания, правильная речь, интерес к книгам были его слабостью. Перед войной ему казалось, что у этих людей больше воли, веры, чем у него. Но война показала, что и это не так.

Война выдвинула его на высокую командную должность. Но оказалось, хозяином он не сделался. По-прежнему он подчинялся силе, которую постоянно чувствовал, но не мог понять. Два человека, оказавшиеся в его подчинении, не имевшие права командовать, были выразителями этой силы. И вот он мле

от удовольствия, когда Гетманов делился с ним рассказами о том мире, где, очевидно, и дышала сила, которой нельзя не подчиняться.

Война покажет, кому Россия обязана, — таким, как он, или таким, как Гетманов.

То, о чем мечтал он, свершилось: женщина, любимая им долгие годы, станет его женой... В этот день его танки получили приказ идти к Сталинграду.

— Петр Павлович, — внезапно сказал Гетманов. — Знаете, тут пока вы в город ездили, у меня с Михаилом Петровичем спор вышел.

Он отвалился от спинки дивана, отхлебнул пива, сказал:

— Я — человек простодушный, и я вам прямо хочу сказать: зашел разговор о товарище Шапошниковой. Брат у нее в тридцать седьмом году нырнул, — и Гетманов ткнул пальцем в сторону пола. — Оказывается, Неудобнов знал его в ту пору, ну, а я ее первого мужа знаю, Крымова, этот, как говорится, чудом уцелел. Был он в лекторской группе ЦК. Вот Неудобнов и говорит: напрасно товарищ Новиков, которому советский народ и товарищ Сталин оказали высокое доверие, связывает свою личную жизнь с человеком неясной социально-политической среды.

— А ему какое дело до моей личной жизни, — сказал Новиков.

— Вот именно, — проговорил Гетманов. — Это все пережитки тридцать седьмого года, надо шире смотреть на такие вещи. Нет, нет, вы меня правильно поймите. Неудобнов — замечательный человек, кристально честный, нескгибаемый коммунист сталинской складки. Но есть у него маленький грех — не видит он иногда ростки нового, не ощущает. Для него главное — цитаты из классиков. А чему жизнь учит, он не всегда видит. Иногда кажется, что он не знает, не понимает, в каком государстве живет, до того он цитат начитался. А война нас во многом новому учит.

Генерал-лейтенант Рокоссовский, генерал Горбатов, генерал Пултус, генерал Белов, — все ведь сидели. А товарищ Сталин нашел возможным доверить им командование. Мне сегодня Митрич, у которого я гостевал, рассказывал, как Рокоссовского прямо из лагеря в командармы произвели: стоял в барачной умывалке и портянки стирал, а за ним бегут: скорей! Ну, думает, портянок достирать не дали, а его накануне допрашивал один начальник и малость помял. А тут его на «Дуглас» — и прямо в Кремль. Какие-то выводы все же из этого делать нам надо. А наш Неудобнов, он ведь энтузиаст тридцать седьмого года, его, начетчика, с этих позиций не собьешь. Неизвестно, в чем этот брат Евгении Николаевны был виноват, может быть, товарищ Берия тоже сейчас его выпустил бы и он бы армией командовал. А Крымов в войсках. Человек в порядке, при партбилете. В чем же дело?

Но эти слова именно и взорвали Новикова.

— Да плевать мне! — зычно сказал он и сам удивился, впервые услышав такие раскаты в своем голосе. — А мне что, был ли Шапошников враг или не был. Я его знать не знаю! Этому самому Крымову Троцкий о его статье говорил, что она мраморно написана. А мне-то что? Мраморно так мраморно. Да пусть его любили без памяти и Троцкий, и Рыков, и Бухарин, и Пушкин, — моя-то жизнь тут причем? Я его мраморных статей не читал. А Евгения Николаевна тут причем, она, что ли, в Коминтерне работала до тридцать седьмого года? Руководить — это можно, а попробуйте, товарищи, повоюйте, поработайте! Хватит, ребята! Надоело!

Щеки его горели, сердце билось гулко, мысли были ясные, злые, четкие, а в голове стоял туман: «Женя, Женя, Женя».

Он слушал самого себя и удивлялся: неужели это он, впервые в жизни без опасений, свободно, рубит так, обращаясь к большому партийному работнику.

Он посмотрел на Гетманова, чувствуя радость, подавляя раскаяние и опасения.

Гетманов вдруг вскочил с дивана, взмахнул толстыми руками, проговорил:

— Петр Павлович, дай я тебя обниму, ты настоящий мужик.

Новиков, растерявшись, обнял его, они поцеловались, и Гетманов крикнул в коридор:

— Вершков, дай нам коньяку, командир корпуса с комиссаром брудершафт сейчас пить будут!

Борис Ямпольский

Последняя встреча с Василием Гроссманом

Вместо послесловия

Почему-то в последнее время я все чаще и чаще думаю о нем. Предвестье судьбы приблизило его ко мне, и я подробно вглядываюсь в него, чтобы понять его, увидеть его в себе и себя в нем.

Я вижу его таким, каким встретил тогда, в сумеречный зимний день, января 1942 года, на полевом аэродроме 6-й воздушной армии у Изюм-Барвенкова. Я только прилетел на У-2 из Лозовенок из штаба 6-й армии, которая нацеливалась на харьковскую операцию, а он шел навстречу к самолету, возвращаясь в штаб Юго-западного фронта, который квартировал в то время в Воронеже. В простой шинели и в солдатской цигейковой ушанке с легким вещмешком, он похож был на усталого пожилого солдата, только тонкие учительские очки нарушали это впечатление. Мы остановились на снежной тропинке и немного поговорили. Он — в спокойном, медленном, характерно иро-

ничном тоне все понимающего и все прощающего пожилого человека, а я — взвинченно, восторженно, нетерпимо, негодующе.

И сколько я после о нем ни думал, я почему-то всегда вспоминал его именно тем пожилым, усталым солдатом, спокойно делающим свое солдатское дело, мудро вглядываясь в войну. Это тогда он мне сказал:

— Я пишу только то, что видел, а выдумать я мог бы что угодно.

Голос его — глухой, сильный, глубокий, и слова всегда какие-то крутые, подлинные, как крупнозернистая сталь, только добытая на копях, только отколотая от материка земли. Слово, которое он произносит, обработано и весомо и ложится в фразу, в разговор, как отесанный камень или кирпич на стройке, слово к слову, в крепкий, нерушимый ряд, их не сдвинешь и они никогда не славируют, и он никогда не откажется от них.

В нем была неторопливость, несуетность, медлительность и как бы сонность движений и разговора, в которых таились взрывчатая, зря не расходуемая береженная сила, бешеное упорство и терпение, которое все преодолевает.

Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса; казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмокнутое в чернила перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга его, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым и светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор, хотя прошло уже пятнадцать лет, единственный раз была сказана вся правда о происшедшей великой и страшной войне.

В дневнике моем записано 15 ноября 1963 года.

Вечер этот теперь мне кажется таким печальным,

одиноким, ужасным в своей будничности, да таким он, наверно, и был.

Один из тех одинаковых вечеров нашей жизни, которых уже и не запомнишь, они повторяются и повторяются, и уже сливаются в один постылый день. Может, такими бывают все вечера человеческие и только в волшебном фонаре времени они воссоздаются в ином свете и расцветают, как настурция.

Осенний вечер, когда студеный ветер срывает уже последние бурые листья и некоторые из них вмерзли в ледок уличных луж и просвечивали узором, напоминавшим детство. Вечер с мутными, желтыми, как бы растворенными во мгле огоньками окон, спешащими под дождичком прохожими, — с авоськами, сумками и портфелями, каждый в своей раковине, в своей сиюминутной заботе, никому другому не нужный, погибший, если сам за себя не постоит.

Кто-то еще повстречался на пути, я уже не помню кто, и мы по обыкновению немного постояли и поговорили о чем-то сегодняшнем, злободневном, раздражающем, бесполезно махнули рукой и разошлись.

Здесь, в этих новых, выросших на бывшей городской окраине и следующих в затылок друг за другом массивных кирпичных корпусах с недавних пор проживали московские литераторы. На неполном квадратном гектаре, на 700 сотках, жило почти пятьсот поэтов, романистов, сатириков, сочинителей опереточных либретто, скетчей, куплетистов, современных мейстерзингеров, бывших и будущих Добролюбовых, с десятков Булгариных, литературных квартальных и надзирателей. И теперь эти дома на ходу осваивала милиция, почта, сберкасса, булочная, молочная и та дальняя, выпыточная организация, которая должна все слышать и все знать.

Я одиноко прошел к большому, мрачному новому дому, построенному в виде буквы «П» на углу Первой Аэропортовской и Красноармейской.

Это был девятиэтажный кооперативный дом, куда перебрались люди после всей их жизни, проведенной в коммунальных муравейниках, на общих кухнях, на общих лестницах, с общими телефонами, жизни с коммунальными сплетнями, интригами, бунтами, с подслушиваниями, подсматриваниями, с доносами. И вот почти к концу жизни человек получил ключи, открыл дверь, вошел в свою пустую, пахнущую краской квартиру, захлопнул дверь и впервые остался один в тишине целого мира, наедине со своей душой, своей совестью.

В одну из этих ячеек, в скромную и тесную коробочку однокомнатной квартиры, с окнами в тихий пустынный параллелограмм двора, въехал и Василий Семенович Гроссман.

Над подъездом тлела — почему-то вполне накала — лампочка под пластмассовым колпачком, и в подъезде тоже было сумрачно и неудобно и настраивало на нехороший лад.

— Вы к кому? — с молодым подозрением спросила старуха-лифтерша.

— Знаю к кому, — отвечал я и хлопнул дверью лифта, нажал кнопку, и она осталась внизу, получающая сорок рублей за службу и еще восемь рублей за наблюдение.

Когда я поднялся в новом скрипящем, дребезжащем, еще не привыкшем к своему гнезду лифте, на пятый этаж, на пустую лестничную площадку с четырьмя дверями квартир, три из них были обиты коричневым дерматином, с крупными узорными бронзовыми кнопками, а четвертая была голая и какая-то суровая, непреклонная в своем аскетизме. Я нажал звонок, и за дверью послышались шаги и надтреснуто знакомый голос спросил:

— Это вы, Борис?

Дверь открылась, Василий Семенович, очень похуевший, печально улыбался, словно до того, что я

пришел, случилось что-то, что я должен был уже знать и к чему и относилась эта печальная безнадежная улыбка, и только я сказал: «Добрый вечер!» — и, возбужденный встречей, громко, бурно заговорил, он приложил палец к губам и молча провел меня через тесную тусклую прихожую, в слабо освещенную, полную теней, необранную, неустроенную комнату, где на столе уже приготовленный заранее лежал лист бумаги, на котором красным карандашом крупным ломаным почерком было написано: «Боря, имейте в виду, у стен могут быть уши».

Я молча взглянул на него и он на меня. И чтобы все-таки что-то сказать, я произнес: «Понятно». Ладно, — пусть они запишут это «понятно», а что «понятно» — ведь непонятно.

Я к тому времени уже знал, что во время строительства дома приходили какие-то типы и устанавливали именно над этой квартирой загадочную аппаратуру. Это не могло остаться секретом. Техник-строитель сказал кому-то из членов правления, что квартира «озвучена», тот сказал своему товарищу и постепенно об этом узнал весь дом и соседний дом и даже в других районах узнали все, кто интересовался этим.

У Василия Семеновича были черные руки, он только что чинил сломавшуюся машинку.

— Теперь я сам перепечатаваю, — сказал он, — когда были деньги, я отдавал машинистке.

Новая квартира отчего-то казалась старой, изжитой, измученной и заброшенной. Может, от того, что она забита была старой мебелью, а может, из-за тусклого света, мертвящей тишины и одиночества.

В этой комнате все как бы иссохлось и покрыто было каким-то невидимым пеплом печали.

Старомодная продавленная софа, старый исцарапанный с чернильными пятнами письменный стол, линялый потертый коврик на полу, обветшавшие корешки книг на этажерке. Это впечатление заброшен-

ности еще усиливала полузасохшая пальма и расставленные на полочках и на подоконнике карликовые кактусы, похожие на обрубленных уродцев. Еще были тут несколько тяжелых, черных чугунных фигур, то ли лошадей, то ли псов, на стене висели побитые молью лосиные рога, а на рабочем столике стояла старенькая, разбитая машинка, в которой торчал лист с отпечатанными раздерганным шрифтом бледноватыми строчками. Я представил себе, как она дребезжит во время работы. На кресле у софы лежали знакомые, с золотыми буквами, томики Фета издания Маркса и очки в тонкой оправе.

Все вокруг было словно заблокировано, занавеси задернуты, и мне стало душно. И первое горькое желание — поскорей уйти, вырваться из этой несчастной неустроенной жизни, просто тебе самому слишком долго было плохо. О, как теперь в возрасте и опыте страдания, в раскаянии я чувствую тоску его в тот темный сырой вечер, когда я к нему пришел в последний раз.

Я долго не знал, что у него изъят роман.

Однажды летним июньским вечером, гуляя по центру, я забрел случайно в Александровский сад и увидел на скамейке Гроссмана и его друга Липкина. На этот раз он как-то странно холодно меня встретил и обидчиво заметил, что я не показывался целый год. Я ответил, что болел.

— Все равно, — как-то отвлеченно сказал он.

Так же некогда он выговаривал мне за то, что я не посещал в последние дни перед смертью Андрея Платонова.

Мы немного помолчали, потом я сказал:

— Василий Семенович, дайте мне прочесть ваш роман.

— К сожалению, Боря, я сейчас не имею возможности, — как-то глухо сказал он.

Липкин странно взглянул на меня и смолчал.

Только теперь я заметил, что у Василия Семеновича подергивалась голова и дрожали руки.

Потом я узнал, что роман арестован. С тех пор в обиходе появилось словечко «репрессированный роман». Пустил его, как говорили, «дядя Митя» — Дмитрий Поликарпов, бывший в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС и сыгравший в этой операции ключевую роль.

Однажды я принес Василию Семеновичу еще в квартиру на Беговую «По ком звонит колокол». К тому времени роман еще не был напечатан, а ходил по рукам в машинописной копии на правах Самиздата. Мы беседовали о судьбе рукописей и вдруг я попросил рассказать, как забирали роман. Он раздраженно ответил:

— Вы что, хотите подробности? Это было ужасно, как только может быть в нашем государстве.

Больше об этом — ни слова.

Мне бы надо тогда сказать:

— Я ведь не из любопытства спрашиваю. Пусть бы еще одно свидетельство осталось. Может быть, какое-нибудь одно из них выживет. Чем больше свидетельств, тем больше шансов, что одно из них выживет, даже при том, что государство промышляет бреднем.

Но я этого не сказал. Я промолчал. Меня только удивила его резкость.

Уже после его смерти я узнал, как однажды днем на Беговую пришли два человека.

— Нам поручено извлечь роман.

Вот именно так они сказали: извлечь, — и предъявили ордер на обыск. Забрали не только все копии, но и черновики, и материалы, а у машинисток, перепечатававших роман, забрали даже ленты пишущих машинок.

И вот теперь, в нашу последнюю встречу, он мне с бессильной мольбой сказал:

— Мне хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее.

И все-таки мне кажется, он записывал исправления, новые строки, эпитеты, совершенствуя, шлифуя, заостряя, как это делал в свое время до самой смерти, работая над рукописью «Мастера и Маргариты», Михаил Булгаков. Это ведь как дыхание.

Изо дня в день работа над романом, который не может быть, ни за что не может быть напечатан, фанатичная, безумная работа над фразой, над словом в этой как бы не существующей книге, полный отказ, уход из жизни, почти уход в небытие, в сотворенный тобою мир, дерзость, святость...

Что же должен был пережить, передумать писатель, когда забрали у него то, чем он жил десять лет, все дни и ночи, с чем были связаны восторги и страхи, радости, печали, сны.

Гроссман написал письмо наверх и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет.

Василий Семенович рассказывал о человеке, принимавшем его:

— Сердечник, человек понаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами. Сказал: «Это не то, что мы ждем от вас».

Василий Семенович еще что-то добавил, поглядел на стены и махнул рукой.

Тот, кто принимал его, сказал: «Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция» — и еще он сказал, что о возврате или напечатании романа не может быть и речи, и напечатан он может быть не раньше, чем через 200-300 лет.

Чудовищное высокомерие временщика. Это из той

же оперы, что и тысячелетний рейх, десять тысяч лет Мао, дружба на вечные времена, посмертная реабилитация, посмертное восстановление в партии убитого той же партией.

Откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку. Ну и что? Те, которые будут клеймить это позором, разве не повторят со своими современниками то же самое и, может быть, еще в более страшном, чудовищном варианте?..

Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, встречалась все реже и реже его фамилия. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был. Редкий рассказ вдруг прорывался в «Новом мире» или в «Москве». И самое удивительное, что это было время, когда были опубликованы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка», когда говорили вообще о ликвидации цензуры, именно в эти дни в нашем чудовищно путаном обществе арестовали роман Гроссмана, негласно репрессировали его имя.

В последние годы жизни он написал «Записки пожилого человека» (Путевые заметки по Армении), произведение, на мой взгляд, гениальное, из того класса, что «Путешествие в Эрзерум». Записки были набраны и сверстаны в «Новом мире» и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. «Записки» пошли в разбор. А после был Манеж, «Обнаженная» Фалька или, как говорил временщик, «Обголенная Фулька», борьба с абстракционизмом, знаменитые приемы интеллигенции, похожие на спектакли на Лобном месте, идеологические качели пошли вниз и вниз в пропасть, смердяще пахло эпохой культа, и уже речи не могло быть о публикации «Записок».

Чья-то рука, вернее, много чиновных рук по ука-

занию одного перста аккуратно и неумолимо изуверски вычеркивали Гроссмана из издательских планов, из критических статей, литературоведческих работ, жилищных списков, вообще из всех списков благодеяний, как это в свое время было с Михаилом Булгаковым, Анной Ахматовой, Андреем Платоновым, а до них с Осипом Мандельштамом.

Василий Семенович показал мне отрывок, принятый в «Неделе» и отпечатанный только в части тиража, машина посреди ночи была остановлена, заверстан очерк о Приморье. На столе у него лежали эти два номера-близнеца с разными носами.

Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в «Новом мире» двумя-тремя абзацами.

— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.

— Да, — сказал я, — там у вас были вещи важнее и позначительнее, чем антисемитизм.

Он ничего не ответил, смолчал.

Только после молчания рассказал, как одного его знакомого, одетого в шубу, на Арбате задели, а когда он возмутился, плюнули в лицо и сказали: «Скоро будет погром, нам обещали!» — и показали пальцем вверх.

— Как быстро это пришло в подвалы, — печально сказал Гроссман.

Через несколько лет после его смерти «Записки», скальпированные, кастрированные были напечатаны в «Литературной Армении», журнале тиражом в две тысячи экземпляров, их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.

Заговорили про напечатанное в «Литературной газете» интервью со Стейнбеком, где он вроде как бы польстил нашей державе. Василий Семенович сказал:

— Уж как я привык, и то возмутился. Я понимаю, что могут приписать, но когда ничего нет, то нет.

Тогда пишут: «Пропасть лежит между высказываниями и романами», или «трудно понять непонятную и странную позицию». Вот с Бёллем, как ни вертели, ничего ведь не могли придумать.

Потом заговорили про недавно напечатанные мемуары Эренбурга. Он был недоволен.

— Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон.

Я сказал, что Эренбург был единственным евреем в России, принявшим католичество.

— Нет, еще был Минский, уехал в Испанию в монастырь, дал обет молчания и уже не произнес ни одного слова. Вот каких людей поставляем! — он сверкнул очками.

О, этот вечер, когда он, грузный, с одышкой, ерзая на стуле, поглубже и поудобнее устраиваясь и по привычке касаясь рукой большого бока, как бы успокаивая боль, глухим, глубоким, но уже чем-то неуверенным в себе, чем-то усомнившимся в себе голосом, читал грустный щемящий рассказ, впоследствии названный «Мама». Сильный и страшный рассказ о том, как в Британии туманной на Темзе в семье работника советского торгпредства родилась девочка и в младенческом сне видела белые чайки над Темзой. Как раз в эти дни его неожиданно отозвали в Москву и по приезде арестовали вместе с молодой женой, и девочка попала в детский дом. И вот однажды в том замоскворецком переулке, где был этот детский дом, появилось военное оцепление. Говорили, что в детском доме чума, а это Ежов с супругой приехали выбирать приемную дочь и выбрали эту девочку. И как потом снова все повторилось и забрали уже Ежова. До сих пор помню пронзительное описание обыска в этой высокой квартире, где только накануне были Сталин, Молотов и Каганович. И снова девочка в детском приюте где-то в Туле и вырезает из старых желтых газет портрет, уверенная, что это ее отец.

Только странным призрачным видением, словно воспоминание того, чего никогда не было и не могло быть, являются ей белые птицы-чайки из того младенческого сна, когда она еще была дочкой тех убитых.

Я слушал, и у меня было ощущение, что это мне снится волшебный пролет белых птиц. Василий Семенович читал рассказ своим ровным, внятными, несколько учительским голосом, приглушенным болью, хриловато, отчеканивая слова. И иногда казалось, что это не проза, а клятва, проклятье, песня песней. А потом он еще прочел небольшой, протокольно записанный рассказ о старой большевичке Надежде Борисовне Алмазовой, которая получила комнату в новом доме на Юго-Западе, вскоре умерла, и как после смерти приходит на ее имя письмо. Это воскресенье, и соседи ее по коммунальной квартире играют на кухне в подкидного дурачка, игра прерывается приходом почтальона. Письмо вскрывают, а там извещение, что Алмазов — муж Надежды Борисовны — посмертно реабилитирован. Слесарь — житель квартиры — говорит: «Ладно, завтра пойду в домоуправление и отнесу письмо».

Рассказ заканчивается возобновлением подкидного дурачка.

«— А кто сдает?

— Кто остался, тот и сдает».

Это были именно те слова, которые входят как копьё в сердце.

Казалось, в комнате все иссушено, и бумага, шуршавшая в его руках, и то, что он читал, было сухо, ушли краски, свет, кипение, остались только жесткие точные слова, иероглифы, и разлитая бессильная боль.

Это было уже во второй раз на моей молодой жизни. Вот так же доходил в сумрачной своей комнате, в матрацной могиле, всеми забытый, заросший бородой Андрей Платонов и рассказывал мне, как

однажды на фронте ночевал в крестьянской хате и в сенях вздыхала корова и он всю ночь не спал и слушал вздохи.

А литературные лалачи сменяли друг друга с железной неумолимостью, становились все мельче и ничтожнее. Они вырождались из кобры в клопа. Сначала были те, которые сами умели писать, но и убивать хорошо умели, а потом те, которые не могли писать, а только убивать. А теперь те, которые не могут ни писать, ни убивать, а только кусать.

Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, мазуриков, ловчил, печатали миллионными тиражами и награждали государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на своей старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет.

Конечно, к этому привыкаешь, как к болезни, тюрьме, потере близких, и это уже не вызывает протеста. Вот так и тянется жизнь.

Ошибочно, что люди, чуждые суеты, славы, насмеются и издеваются над ней, и им, забытым, хочется если и не света юпитеров, то общения, публикаций, признания. Гроссмана никогда не баловали вниманием. С грустью говорил он: когда печатают роман, звонит телефон, приезжает курьер с гранками, присылают машину, ты нужен, все-таки приятно. А потом телефон молчит, курьеров нет и никому ты уже не нужен.

— Знаете, забывают все-таки, — печально сказал он, — за десять лет напечатали три-четыре страницы. Я недавно спросил пятилетнюю девочку, кто такой

Сталин, она не знала. А ведь Наполеону не снилась его слава.

Он говорил спокойно, чуть иронично, как бы посмеиваясь над самим собой, да и над собеседником, глуховатым, пожилым мудрым голосом раввина и инженера.

Один, совсем один, забытый, сидел он в своей квартирке и писал очередной рассказ, зная и понимая, что никто этого рассказа не ждет, ни одна редакция не позвонит, что и напечатать рассказ невозможно. Правда, об этом он сейчас не думал и не мог думать. Он думал только о рассказе и на этот миг мощь и наслаждение работой отвлекали его от тоски, тяжелых мыслей, понимания своего положения, и снимали удушье.

За весь этот вечер, пока я сидел у него и мы беседовали, он читал мне рассказы, за весь долгий вечер телефон ни разу не зазвонил, не было даже ошибочного звонка.

В этой новой холодной комнате с пальмой в кадке и мертвыми уродцами кактусами, с живыми, слушающими, враждебными стенами чувствовалась обреченность. Меня коснулось и объяло это глухое городское одиночество в камере огромного дома, в миллионном городе, в немоте, постоянном чувстве чуткого, дремлющего неустającego электронного уха, которое слушает и слушает день и ночь и кашель, и хрипы, и крики боли, и кажется, даже мысли, кажется, все знает.

Человек, которому в это время должен был внимать мир, в этот затерянный вечер радовался, что у него есть один слушатель; кроме меня, только кактусы тоже, казалось, слушали его с человеческим вниманием.

А этот единственный слушатель торопился к своей жизни. Куда я торопился, зачем не досидел до поздней ночи, до рассвета в этой последней встрече, последней беседе?!

В жизни, в которой мы живем, мы не ценим того, что должны были ценить, мы проходим почти равнодушно мимо близких, родных людей, их бед, их несчастий, нам некогда, мы торопимся, мы очень заняты собой, мы не пишем писем, которые должны были написать, мы даже не приходим на похороны, а потом, потом мы горько плачем, сожалеем, ужасаемся своему эгоизму, своему равнодушию и в дневниках, в стихах и прозе изливаем свою тоску, горе, вымаливаем себе прощение. Все несправедливости, все притеснения возможны только потому, что каждый думает о себе, всегда только о себе.

В самом конце вечера, как бы подводя итог нашим разговорам, Василий Семенович сказал:

— Меня задушили в подворотне.

После была болезнь, больница, долгое, жестокое, мучительное умирание, крики, которые поднимали в воздух Первую Градскую больницу. Природа добивала его с той же, что и государство, неумолимостью и беспощадностью.

Было необычайно жаркое сентябрьское утро, прощальный день сухого лета. Почему-то долго, томительно сидели во дворе Союза писателей, на скамеечке под падающими листьями, и ждали начала панихиды. Летали поздние неожиданные мотыльки, они были какие-то взъерошенные, судорожно, истерическими рывками перелетали с травинки на травинку, вздрагивая, садились на поздние осенние цветы и как бы оглядывались — не приснился ли им этот мир, эта однодневная жизнь, данная им случайно, напрасно.

Медленно стекались люди, немного, но и не мало. Не было обычного, торжественно печального подъема знаменитых похорон, а как-то тихо, таинственно. Одна женщина сказала:

— Так хоронят самоубийц.

Да он и был самоубийца, писал, что хотел и как

хотел, и не желал входить в мутную, общую струю.

Я сидел на скамеечке под падающими желтыми листьями и думал. Поразительная судьба. Действительно задушенный в подворотне. И после смерти его продолжали втихую душить. В редакции «Литературной газеты» долго судили, рядили, как давать некролог, с портретом или без, указаний на этот счет не было, и напечатали на всякий случай без портрета. «Советская культура» неожиданно дала портрет, получился конфуз, но редактор «Литературной газеты» легко его перенес, у него было чувство своей правоты, чувство политической перестраховки, а значит, и превосходства.

Панихида задерживалась, и никто не знал, в чем дело, очевидно, где-то в последней инстанции окончательно утрясали список ораторов.

Толпа все увеличивалась, было много незнакомых лиц. Какой-то человек подсел ко мне и представился.

— Я Аметистов, все знают, что я порядочный человек.

— Очень хорошо, — сказал я, встал и ушел.

У раскрытого подъезда торчком стояла в ожидании глазетовая крышка гроба, в здании вяло, кладбищенски печально пахло венками. Большое зеркало прихожей было завешено простыней, скульптура в черном крепе, люстры повиты черной кисеей.

Народ жался у стен, и пол был покрыт еловыми иглами и лепестками траурных цветов.

Вдруг что-то произошло, где-то была дана команда, и толпа как-то зрелищно устремилась по широкой лестнице в конференц-зал. Я остался в фойе.

Из тишины пришла взвизгивающая нота, кто-то начал речь.

Все наши муки, горе, сострадание, жизнь и смерть в последние десятилетия каким-то образом связаны с этим конференц-залом. Здесь шли те долгие безумные собрания и убийственные обсуждения, именно здесь и

состоялось то заседание Секретариата, на котором Первенцев назвал Гроссмана идеологическим диверсантом, а Фадеев сказал, что стоило нам на минуту отвлечься, как выполз национализм Гроссмана.

В фойе была угнетающая тишина, тишина мимолетной жизни, как бы прислушивающейся к миру смерти.

А в больших пустых служебных комнатах на столах неутешно звонили телефоны, во двор на серой машине «Связь» приехал фельдъегерь с кожаным портфелем, поднялся по ковровой дорожке в особый сектор, сдал засургученный пакет и, даже не взглянув в сторону зала, откуда доносилось жужжание похоронных речей, спустился по лестнице, и в тишине снова зафырчал мотор, а когда он затих, слышно стало, как в техническом секретариате стучат почтовым штемпелем.

Да, учреждение работало на полном газу.

Чем роскошнее, представительнее становилось это учреждение, лакированное парадный ход, вместо гнусной раздевалки и пахнущего карболкой писсуара — просторный, обитый сосновыми панелями гардероб, на мраморной лестнице — ковровая красная дорожка и в кабинетах массивные, огромные, похожие на прокатный стан, столы, чем это учреждение становилось богаче, солиднее, государственнее, тем все меньше в нем было живого дыхания и дела, участия к людям, тем больше оно становилось похожим на загримированный, одетый в фальшивую парадную одежду разлагающийся труп.

Когда секция сказочников заседает при закрытых дверях, как Генеральный штаб, когда глупые никчемные людишки могут болтать все что угодно, хвалить друг друга, подлизываться друг к другу, награждать друг друга, ведь никто не ответит им, никто не посмеется над ними, все перерождается.

Как раз в час похорон на свое очередное заседание собирался Секретариат.

Они торопились мимо гроба, собираясь поодиночке. Первым появился Вадим Кожевников. Он прошел деловым шагом, даже не остановившись возле распахнутой двери в конференц-зал, он прекрасно знал, что тут происходит и какое он лично имеет к этому отношение, выдав доверенную редакции рукопись романа карательным органам. Лицо с крепкой, натянутой, как ремень, кожей, ничего не выражало, кроме вечного недовольства, словно он все время жевал дерьмо.

Остальные останавливались на одну-две минуты, но каждый останавливался по-своему.

Вот Грибачев в новой темной велюровой шляпе и новом костюме, в рубашке с высоким режущим вялую шею воротником, сначала прошел мимо, но поняв, что его видят, вернулся. Я долго смотрел на его землисто-лимонное лицо, заостренное, как у стервятника, куриные серые глаза. Неужели только взглянув на него, люди не видят, что это страшный человек. Говорили, что недавно было его письмо в «Литературную энциклопедию» с протестом против статьи о Гроссмане, который уже десять лет ничего не пишет. Теперь он стоял у открытой, жарко дышащей двери в похоронный конференц-зал, в мертвящей тишине гудел чей-то голос произносящего речь над гробом, а он был напряжен, как пружина, и, глядя поверх голов, слушал и все время поглядывал на ручные часы: «Видите, я ведь занят, а стою». Он послушал, пожевал тонкими костяными губами и спокойно прошел дальше.

Вот Чаковский с лицом хорька. Он тоже остановился у дверей и с серьезным, как бы соболезнающим, как бы чем-то виноватым лицом, немного невнимательно послушал, чтобы никто не мог ничего плохого о нем сказать. Страх и безнаказанность все время сменяются и играют на его лице. Он боится скоро уйти,

чувствуя на себе взгляды окружающих, но и страшится перестоять лишнее. И он переминается с ноги на ногу, нет, он не в том вечном, необратимом, что происходит там в зале, а весь в своих комплексах. И вот наконец усилием воли он отрывается от места, к которому неведомой силой пригвожден, и сначала тихонечко, чуть ли не на цыпочках, остороженько и скромненько отходит, словно и не отходит, а как бы случайно делает несколько шажков в сторону, и еще несколько шажков, скрывается в коридоре, а там уже чуть ли не бежит.

А. Сурков постоял как бы мельком, мимоходом, на одной ноге, всунув в распахнутую смертью настесь дверь свою мордочку «гиены в сиропе», и, когда ему стало скучно, отошел, забыв все на свете, весь в своей живой авторитетности.

Подошел и Б. Полевой с прищуренным прикрытым глазом, с лицом, приснившимся в дурном сне, и как бы сочувственно послушал и пошел дальше.

Все они знали, мимо чего проходят, того вечного, необратимого, что ждет и их, но не хотели, не желали, боялись или неспособны были об этом подумать.

Думали ли они, по крайней мере, о содеянном, каялись ли, проникал ли страх возмездия в их душу, или они всецело были в текучке, в интригах, в своих личных шкурных интересах и полной уверенности в своей безнаказанности.

Там, в убранных коврами уютных барских апартаментах они сидели в глубоких кожаных креслах вокруг массивного министерского дубового стола и из огромных окон ровно лился спокойный солнечный свет сентября.

О чем же они там говорили в солнечном кабинете, как могли рядом с гробом своего коллеги обсуждать свои мелкие хищные вопросы, и какими бесчувственными, зачерствелыми должны были они быть, какими выжатыми лимонами, сколько унижения, презрения от

высших должны были они вытерпеть, сколько их должны были топтать в тех высоких кабинетах, через какие страхи должны были они пройти, чтобы все живое из них выутюжить, вычерпать, и чтобы они стали только винтиками этой бесчеловечной машины.

А в отделе кадров шла будничная работа. После смерти члена Союза его личное дело сдают в архив, вынимая из роскошной коричневой кожаной папки, и между собой сотрудники это называют «раздевать».

— Валя, ты Гроссмана уже раздела?

В крематорий я поехал в одной машине с В. Тевекеляном. Я помню, как он только появился в Союзе в 1956 г., и старая лиса Никулин, услышав его первую речь на собрании, сказал: «Он вас всех подождет». Теперь он занимал высокую должность парторга МГК, ему поручено было проследить за порядком похорон, чтобы все было, как нужно, тихо, прилично и правильно, без нигилизма, вывихов и вывертов.

Он был комиссаром похорон, и сидя рядом с ним в машине, что бы я ни думал про себя, я как бы был в безопасности.

Вдруг он сказал мне:

— И мы умрем, а не хочется, как не хочется!

Еще бы ему хотелось! А ведь были в этой скорбной толпе провожающих и такие, которым уже хотелось скорее все кончать.

При виде Донского монастыря я бодро сказал ему:

— Все тут будем.

И он весело кивнул, совсем не ощущая, как, впрочем, и я, и никто не ощущает, что это его лично касается, всех, но не меня, не может же этого быть, чтобы меня повезли в черном автобусе.

И снова эти краснокирпичные стены Донского монастыря, эти широкие всегда открытые ворота крематория.

Зеленая тишина и строгое современное ультра-

урбанистское сооружение с вечно дымящей трубой.

Тут, в высоком и гулком храмовом зале мы стояли и ждали среди высоких шкафов с урнами. Трудно, невозможно, невысказанно представить, что все это были люди, от которых остались только одни выгравированные на металлических табличках имена, что это были счастливые, веселые и печальные, добрые и подлые, мудрецы и невежды, совестливые и бесстыдные, тихие и буйные, завистливые и бессребреники, гуляки и аскеты, дельцы и сумасшедшие. О, если бы вдруг заговорили все эти голоса, если бы засмеялись вдруг своим смехом или, может, заплакали.

И вот, наконец, гроб Василия Семеновича Гроссмана на постаменте, как на трибуне.

Стояла тишина, вернее микро тишина этих похорон, потому что в нескольких шагах уже суетились, пошумливали, подвывали следующие похороны.

И были речи, и медленное открывание зеленой шторы, и медленное и неумолимое опускание гроба под звуки Реквиема.

Это был последний миг его существования. Еще можно было увидеть, как мелькнули седые виски его, надбровья в жалкой бесполезной сердитости, окостеневшее, ссохшееся в незнакомой желтизне лицо и такие теперь маленькие, высохшие рабочие натруженные руки его.

Через миг всего этого не станет. Где-то там в адской глубине костяной лопаточкой соберут кучку пепла, да и кто знает, его ли пепла, или предыдущего, или последующего. Там у этих кочегаров работа конвейером и нет для них ни гения, ни палача, ни старика, ни ребенка, ни красавицы, ни уродки.

О, сколько в тот вечер последней встречи еще было в нем силы, какой динамитный заряд творения, жажды, самолюбия, сколько было накоплено, сколько запечатленных картин, удивительных, волшебных,

какая уйма острых метких словечек, которые он так любил. Какие планы, сюжеты, сколько типов, сколько типов! И какая бездна любви, нежности, ненависти. И все это ушло с ним, сгорело в мгновенном адском огне, от всего осталась серая кучка магнезитового пепла с расплавленными золотыми коронками, которые вытащили щипчиками и по акту сдали артельщику Госбанка, а, может, и не сдали.

И чувство сиротства, чувство великого одиночества и что все кончено и никогда уже ничего не будет, и удушье, и незачем жить, и такси по чужим, как бы незнакомым улицам, и нет сил сидеть на месте, и пешком где-то по Замоскворечью, по Большой Якиманке, по Болотной через Яузский мост в центр, и медленное возвращение к жизни.

А дома, на улице Черняховского, я встретил своего соседа, мелкого литературного вертухая. Он вышел из подъезда веселый, моложавый, светящийся на солнце в териленовом костюме с дорогим кожаным, заклеенным пестрыми ярлыками чемоданом.

— Прощайте, до свидания, я уезжаю.

— Куда?

— В Конго Киншаса, в Уганду, к горе Килиманджаро.

*ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
ИЗ ЦИКЛА «МОЙ ДОМ СЛОВО»*

1

Я покидаю грешную Москву,
как оставляют нежную супругу,
и направляюсь на Восток и к югу,
куда летит, подобная мазку,

и скачет тень под стать автомобилю,
пересекая сказочную степь.

И всё былое порастает пылью.

И силой ветра разрывая цепь

пережитого — от любовных кляуз
до облечённых властью угроз,
как на свечу, лечу я, изумляясь,
на тополя, забывшиеся в рост...

покуда ночь не призовет к ответу
ещё на непоставленный вопрос,
и память в бездну упадёт отверсту
под вопиющих перезвоны звёзд.

2

Москва — Воронеж...

Вот она степь, позади Воронеж.
Так и Россия мелькнёт — догонишь
разве пословицей! Я б решил,ся,
да забодают, небось. На джинсах
усики ржи. На закате стадо.
Медленно падает ночь. Не стало

времени в этом последнем блеске
взвешивать, думать о самых близких,
как о себе, и бродить виною
в глинах Господних. Летит войною
жук опоздавший по звёздной сети.
Лень заглядывать в небо. Ветер

лезет под кожу, густой и тёплый.
Хорошо было с этой тёлкой!
Льну щекою к прелести леса.
Неподалёку бормочет трасса.
Небо бодает месяц двурогий.
Двое святых идут по дороге...

Две колени, поднимаясь в небо,
за руки взявшись, Борис-и-Глеба
церковью замерли. Да убоится
в поле ищущий их убийца.
Ибо, где двое назвали имя
Господа, смерть уже между ними

только метнулась стрелою ватной.
Степь повернулась и стала вмятой.
Только взметнулась шальною птицей
вместо креста. Пусть и мне простится,
как богословам от атеизма,
церковь, воздвигнутая капризной

силою слов!.. Наблюдая время,
я вспоминаю в степи еврея.
С кем говорит он, покуда, будто
в дереве, руки растут у Будды.
Что он бормочет в пылу изустном,
не называя еще искусством

память о том, что слышал он ночью
в ветре творенья, в душе, воочью
видимой днём между лбом и носом
меры вещей и в овце на сносях,

в том, что наощупь, как книга, снова
просится в рот, возвращаясь Слову!

Я вспоминаю, который раз уж
строится Новгород, белят расу,
чистят пороги, отколь просеян
бледный народ далеко на Север...
Правит фундамент постройкой древней.
Ставится крест. И растут деревья.

3

О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ДУШИ

Я весь умру.

И. Бродский

Тебе, подруга, ибо я сажусь
вновь не в свои, как ты сказала б, сани,
хоть от скитаний жду я только бед,
чтобы супругой в окруженьи муз,
как ты хотела, из моих писаний
вылавливала истину и бред,

я говорю, что не вернусь домой
до осени, а, может быть, до смерти,
поскольку странно это слово — дом,
в котором я переживал с тобой
положенное по любовной смете,
о чём уже и помнится с трудом

тогда, как зовь, звучащий из письма,
мне возвращает материнский облик.
Ибо всегда привязанность к жене
нас возвращает из пустого сна
к истоку жизни, чей интимный облик
не может быть желанней и нежней!..

И всё-таки я продолжаю путь
твоим телёнком под чужое вымя

и возвращусь, неведомо куда.
И ты меня, помяня зло, забудь.
С тоскою смертной я твержу: не время.
А что за время, Господи? когда

я стану неопрятным стариком.
Я и теперь не очень-то опрятен.
А посмотреть на тело изнутри,
сама подумай, можно ли в таком
жилище душу уберечь от пятен?
Когда для хирургических смотрин

меня откроют и найдут, что всё,
чем я любил и мучался, в порядке —
пути дыханья, семени и желчь
омыты кровью, что стучит в висок,
вращая мозг, и смазывает пятки
(и тем скорей меня прикажут сжечь

либо зарыть на нищенский аршин
в сырую землю, как объедки от
не по желудку пиршественных трапез),
мы и тогда, пожалуй, не решим,
кого из нас обнюхает Господь,
кого обмочит легендарный Апис.

Вот человек со всей его душой,
со всем его невыдуманным прошлым,
со всем, чему в нём надлежало быть.
И всё-таки, дыханьем оглушён,
он отвечает под сердечным поршнем,
что он таким предполагает жить,

в котором претендует вещество
и пустота на совершенье мига,
как в городах у лобных площадей,
в ком и теперь мы ощущаем, что
есть Бог один. Всё остальное — Книга.
А человек — лишь в меру всех вещей!

И так играя, чтоб не умереть,
чужим ребёнком в современном, красном
поставленный углу для бития,
я повторяю: пусть приходит смерть.
Мой дом цветёт в отчаяньи прекрасном.
Мой дом стоит в начале бытия!

май-август 1975

По европейской России и Средней Азии

БУРИХИН Игорь Николаевич — еще один поэт ленинградской школы, который в последнее время стал объектом травли КГБ. Родился в 1943, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии как театровед и был оставлен в аспирантуре. Знарок немецкой литературы, переводчик Новалиса, свою первую диссертацию написал о Клейсте. Она была в конце концов отвергнута, и аспирант получил предложение заняться более полезным для нас Брехтом. Но и брехтовской работе не суждено закончиться. В связи с широко задуманным писательским делом, в апреле 1974 года Бурихин подвергся обыску. И хотя обыск не принес никаких криминальных результатов, обысканного выгнали из аспирантуры. Некоторое время еще он работал пожарником в музее, но и туда раздался могущественный звонок из КГБ, запретивший и эту работу. Пришлось перебиваться случайными заработками, вроде работы землекопа в экспедиции, которой мы и обязаны помещаемыми стихами. Причина травли одна: знакомство с подсудимым В. Марамзиным и выгнанным из страны профессором Е. Эткингом, научным руководителем брехтовской диссертации. И, разумеется, не последнюю роль сыграло спокойное и твердое поведение в качестве свидетеля: КГБ радуется, лишь когда допрашиваемый дрожит и распадается у следователя на глазах.

Игорь Бурихин — автор сгнувшей в недрах КГБ статьи «Фрагменты слова о русской поэзии», где делается попытка сопоставить разных, казалось бы, русских поэтов — от Федора Сологуба, «мелкого Фауста русской поэзии» (выражение Бурихина) до Иосифа Бродского. Статья, несомненно, тоже причина травли.

Владимир Марамзин

ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA-PRESS

11 rue de la Montagne Ste Geneviève
75005 Paris, France - tél. 033-74-46

НОВАЯ СЕРИЯ (переиздание редких книг):

Цена во фр. фр.

Голлербах Э.: В. Розанов — жизнь и творчество (с изд. 1922), стр. 112	18.—
Мочульский К.: Духовный путь Гоголя (с изд. 1934), стр. 150	21.—
Ходасевич В.: Некрополь (с изд. 1939), стр. 280	24.—
Цветаева М.: После России (1922—1925), (с изд. 1928), стр. 160	21.—
Войнович В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (1975)	39.—
В.С.Х.С.О.Н. Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа: Программа, Суд, В тюрьмах и лагерях (1975)	33.—
Герцык Е. Воспоминания: Бердяев, Шестов, С. Булгаков, Вяч. Иванов, М. Волошин, А. Герцык (1973)	27.—
Гладков А. Встречи с Пастернаком (1973)	24.—
Д*** Стремя Тихого Дона: Загадки романа (1974)	27.—
Дудко Д. свящ. О нашем уповании: 11 бесед, Москва 1974 (1975)	36.—
Жить не по лжи. Сборник, посвященный выходу Архипелага ГУЛаг, Самиздат 1974 (1975)	33.—
Зернов Н. Русское религиозное возрождение XX века (1975)	39.—
«Из-под глыб». Сборник статей Солженицына, Агурского, Борисова, Шафаревича, Барабанова (Москва 1974)	30.—
«Памяти Анны Ахматовой» — Сборник: Стихи, Письма, Воспоминания и статья Л. Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» (1974)	36.—
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг, т. 1 (части I-II)	40.—
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг, т. 2 (части III-IV)	42.—
Солженицын А. Архипелаг ГУЛаг, т. 3 (части V-VII)	45.—
Солженицын А. Американские речи (1975)	8.—
Солженицын А. Ленин в Цюрихе (1975)	30.—
Уделов Ф. Об отце Павле Флоренском (1972)	24.—
Цветаева М. Неизданное: Юношеские стихи, Стихи 1915-1917, Каменный Ангел (драма), Повесть о Сонечке, стр. 380 (1976)	48.—
Цветаева М. Неизданные письма (1973)	60.—
Четвериков С. Старец Паисий Величковский (1976)	39.—
Шафаревич И. Законодательство о религии в СССР (1973)	15.—

С заказами обращайтесь по адресу: LES EDITEURS REUNIS
11 rue de la Montagne Ste Geneviève, 75005 Paris, France

Не посылайте, пожалуйста, денег вперед!

Россия и современность

Наум Коржавин

ПСИХОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭНТУЗИАЗМА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1970 году я прочитал в Самиздате письмо *«Ко всем людям доброй воли — Фиделю Кастро, Сартру, Расселу и многим, многим другим...»*, написанное левым израильским журналистом Амосом Кеннаном. Автор протестовал против поведения своих коллег по левизне, которые внезапно отвернулись от Израиля. (О причинах см. в тексте работы). Амос Кеннан упрекает своих бывших товарищей в непоследовательности и несправедливости, он очень обижен на них за это. Но он всё равно левый и те же мотивы, которые позволили его товарищам так поступить, не перестали руководить и им самим — только в других случаях.

В связи с этим его письмо оказалось тогда для меня очень удобным поводом для моего разговора с левой западной интеллигенцией, который мне уже давно не терпелось начать. Эту задачу я выполнил тогда, но только отчасти, ибо передать эту работу на Запад — не решился. Теперь, приехав на Запад, я убедился, что она не потеряла своей актуальности. С этим чувством я и сажусь за её перепечатку (я вывез только слепой экземпляр).

Разумеется, любая перепечатка есть в то же время и редактирование. Но я не хочу слишком модернизировать написанную в определенное время и в опреде-

Печатается в дискуссионном порядке. — Р е д.

лённом месте работу. Большинство переделок, как бы значительны они ни были, носят чисто стилистический характер. Только главу о «чилийской революции» ввиду трагической гибели Альенде я счел нужным переделать, т. е. написать с сегодняшних позиций. Разумеется, я не изменил моего тогдашнего отрицательного отношения ко всему, что он собирался делать (справедливость такого отношения, по-моему, только подтвердилась), но изменил несколько тон, в котором это отношение высказывал.

Эта работа никак не посвящена рассмотрению ближневосточного кризиса, она только рассматривает его моральные аспекты. Просто в отношении к этому кризису проявился довольно остро общий культурный и духовный кризис Запада, а этому кризису как раз и посвящена моя работа.

К сожалению, в ней в сущности рассматривается только одно из проявлений этого кризиса — радикальная психология. Но к этому кризису еще, конечно, относится и общее отношение западного обывателя и зависящих от него демократических правительств к острым вопросам современности. К сожалению, я касаюсь этого отношения вскользь. Но об этом не раз с тех пор, с 1970 г., очень хорошо писали Солженицын и Сахаров, с которыми я согласен.

Остается добавить, что я безоговорочно поддерживаю право Израиля на существование и даже не скрываю своей личной заинтересованности в этом (чтоб иметь возможность добровольно оставаться русским).

А также не считаю, что Израиль проявлял или проявляет неуступчивость, ибо единственные переговоры, которые с ним соглашается вести противник — это переговоры о добровольном изменении линии фронта в свою пользу во время войны без всякого согласия на её прекращение. С моей точки зрения, таких «переговоров» вести не следует.

За годы, прошедшие с 1970 г., обстановка, конечно, изменилась (к худшему). Запад много раз соглашался на требования террористов и создал у последних ощущение безнаказанности. Крайский (австрийский премьер) по их требованию закрыл перевалочный пункт в замке Шенау, что дало арабам уверенность в своей общей безнаказанности и, может быть, развязало Октябрьскую войну. Запад покорился нефтяному шантажу. Дело идет к тому, что Израиль будет предан и Америкой. Но обо всем этом в работе, написанной тогда, ничего нет. Однако, я думаю, что в ней отмечены тенденции, которые позволили всему этому случиться и позволят, если люди не поймут, в какой обстановке они живут, случиться чему угодно.

Уважаемый господин Амос Кеннан!

Вероятно, Вы больше привыкли к обращению «товарищ». Но, как видно из Вашего письма, люди, к которым Вы привыкли так обращаться, предали Вас, и Вы им больше не товарищ. Они теперь озабочены установлением товарищества с теми, кто хочет Вас уничтожить. Не исключено, что это и им самим неприятно, но велика власть диалектики над теми, кто позволил ей заменить совесть. Они верят, что эта несправедливость окажется справедливой исторически. Такая у них вера...

Кроме того, Вы в этом письме проявляете гораздо больше самостоятельности, зрелости и личного достоинства, чем могут это себе позволить Ваши бывшие «товарищи», становитесь как будто и в самом деле «господином», господином своих мыслей и своей совести. Может быть, жгучая альтернатива, стоящая перед человечеством, и состоит в том, кем станут люди в процессе борьбы за равенство — все, как один, господами или рабами. Рабы, безусловно, товарищи

по судьбе, но вряд ли стоит из-за этого стремиться к рабству.

Вспоминается один случай проявления такого товарищества. Когда начались уже давние, но когда-то очередные, парижские переговоры по Вьетнаму, командование Северного Вьетнама разослало во все части циркуляр, в котором рекомендовалось ничего об этих переговорах рядовым «товарищам» не сообщать, чтоб поддерживать их «дух» в должном состоянии. Импонирует ли Вам это отношение к духу каждого как к государственной собственности, как к конфискованной глине, из которой революционная творческая интеллигенция может лепить всё, что ей вздумается? Не были ли Вы сами когда-либо объектом такой трогательной товарищеской заботы? И не заботились ли так сами о ком-нибудь другом? Про себя я могу сказать, что окружён такой заботой с раннего детства. Вечно из меня что-то формировали для целей, которые, впрочем, тоже часто менялись. И подменялись.

К сожалению, эта дрессировка касается не только нас, живущих за «железным занавесом». Это вообще одна из главных проблем, бед, преступлений и загадок двадцатого века. Ведь часто дрессируемые бывают гораздо умней, образованней и духовней дрессировщиков. И всё же они поддаются (за честь иногда считают поддаваться) этой дрессировке. Хотя потом часто оказываются в глупейшем положении, когда их, уже поддавшихся дрессировке (и от этого потерявших отчасти самих себя), эти дрессировщики бросают на произвол судьбы посреди дороги... Как Вас, например...

Переводчик Вашего письма «всем людям доброй воли — Фиделю Кастро, Сартру, Расселу и многим, многим другим» почему-то назвал это письмо несколько иронически: «Плач изгнанника из прогрессивного рая», — несмотря на то, что, переводя это письмо и

распространяя его, многим рисковал. Разумеется, большая часть этой иронии относится к самому «прогрессивному раю», но, конечно, кое-что остается и на Вашу долю. Уж слишком страстно переживаете Вы это изгнание...

Слишком огромен и горек наш опыт, для того чтоб мы могли отнестись без иронии к тому, что человеком доброй воли вдруг оказывается лгун и диктатор Фидель Кастро. Или тот же Ж.-П. Сартр, у которого, как показывает его поведение, нет никакой собственной воли — только патологическое стремление к восторженной капитуляции перед чужой волей. И почему-то всегда обязательно перед волей злой.

Вы должны простить мне этот тон разговора взрослого с ребёнком. Я вовсе не хочу унижить Вас или Ваших многочисленных единомышленников во всех странах. Но в смысле социального опыта любой из моих сограждан действительно взрослее своих западных сверстников. Теперь уже на шестьдесят почти лет взрослее. И это иногда пробивается наружу. Многие слова, до сих пор окутанные для Вас романтическим флёром, пред нами не раз представляли обнажёнными, и сущность их отнюдь не была романтической. И многие ходы мысли, в начале которых долго (и в духовном смысле несколько трусливо) топчутся по сегодня Ваши товарищи, — поневоле уже давно исследованы нами до конца.

В свете того, что мы поняли, несколько нелепо выглядит Ваше возмущение единомышленниками. А что Вас, собственно, удивляет? Что Вас предали? А нас уже около шестидесяти лет предают! И те же самые люди, что и Вас — левые интеллигенты Запада. Иногда — называя себя либеральными, иногда — вместе с либеральными, но предают. Около шестидесяти лет они спокойно и вдохновенно жертвуют нашими судьбами, здоровьем, жизнями (о свободе и достоинстве и говорить нечего) ради того, что им (но

отнюдь не нам) кажется историческим прогрессом, т. е. ради своей, но отнюдь не нашей — любви. Конечно, мы понимаем, что ничем реальным Вы (даже при помощи ваших правительств) нам помочь не сможете, даже если очень захотите, и нисколько не претендуем на это. Речь идет о вещах сугубо эмоциональных — жертвовать нами не надо с такой готовностью. Или входить уж слишком заботливо в «сложное положение» наших палачей и душителей, даже если Вам кажется, что они на наших костях строят какой-то замечательный мир. Всё-таки нельзя, чтобы кровь и страдания одних людей воспринимались другими только как незначительные пятна на солнце своей веры. Конечно, никто так прямо не говорит, но так себя ведут — в своем поведении исходя из этого отношения и стараясь любой ценой уйти от постановки вопроса, как бы не заметить его. Это испытанный метод, он применяется такими людьми при рассмотрении всех вопросов: ближневосточного, индокитайского и любого другого. Именно поэтому психология этого метода нуждается в самом подробном рассмотрении. Даже если это несколько нарушит жанр «письма». Итак — о методе.

ТРАГИКОМЕДИЯ ВЕРЫ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О НЕУДАЧНОЙ СВОБОДНОЙ ЛЮБВИ

Название это никого не должно удивлять, ибо в основе рассматриваемого метода (и, вообще, психологии, о которой идет речь) действительно лежит любовь. И любовь неудачная — основанная на обмане и самообмане. Именно такой любовью и любит много лет эта интеллигенция советскую систему подавления. Любит — за качества, которых в этой системе нет и никогда не было. Любит без взаимности, ибо представителям системы на такой идеологический пыл

просто нечем ответить, он их раздражает только. Правда, они иногда подмигивают этой интеллигенции, но всегда с нехорошей целью — попользоваться ею, использовать её пыл для других целей. Но любовь — слепа. Она эти подмигивания истолковывает совсем иначе, она вообще умеет объяснять поступки советского руководства мотивами, которые тому и в голову не могли прийти. Но это уже — если эти поступки нельзя не заметить. Обычно же она просто старается не знать правды и иногда десятилетиями в этом преуспевает.

Долгие годы очень помогал ей способ, основанный на мировоззрении — самоцензура. Способ этот прост. Поскольку считалось, что «буржуазная» (т.е. чуждая мировоззрению, иногда даже только партии) печать — правды говорить по своей природе не может, её и не читали. Пользовались только правдивыми советскими источниками, что, во-первых, помогало сохранять верность, а во-вторых, душевный покой. Но метод подвёл. Сегодня вряд ли уже кто-нибудь сомневается в том, какая печать ближе к правде. Спасает диалектика, т. е. вера в сложные извивы развития, когда Добро выглядит Злом и наоборот. Это помогает им в их службе Злу, которое всё почему-то никак не обернётся Добром.

Еще могла эта интеллигенция узнать правду у живых свидетелей, т. е. у людей, вынужденных жить среди неё в эмиграции. Но поскольку общество в их сознании делится не на людей, а на классы, то и это было невозможно: живые впечатления в расчёт не принимались. Какой смысл интересоваться впечатлениями представителей эксплуататорских классов (или своими о них, как о людях), если наперёд известно, что все представления (а значит, и впечатления) этих людей классово-ограничены. Совершенно ясно, что они просто не могут примириться со своими материальными и иными потерями от революции и, вообще, реакционе-

ры. Их страдания, даже если б они были признаны реальными, сочувствию не подлежали.

Между тем, даже среди самых тупых реакционеров, далеко не все руководствовались в своих свидетельствах только своими имущественными или другими личными потерями. Не говоря уже о том, что не все эти люди были лгунами. Когда человек рассказывает об ужасах, которые пришлось пережить ему или его близким (из которых далеко не все эти ужасы — пережили), он врёт редко — не до того ему. При любых расхождениях во взглядах (а со многими из этих людей я и сейчас не согласен), к этим людям надо было прислушаться — хотя бы как к источнику информации. Но не прислушивались не только к ним. К самым подлинным «прогрессистам», которых тоже в эмиграции было немало, прислушивались не больше. Берегли вышеупомянутую любовь. Да, что ни говори, права русская пословица: любовь — зла. Особенно, если она опирается на диалектическое отношение к чужим страданиям.

Тем меньше могла сделать в этих условиях высокая умственная и духовная элита России, тоже в большом количестве — чаще против своей воли — оказавшаяся за границей. Это была совсем особая элита, имевшая особо богатый духовный и интеллектуальный опыт. Вся она прошла через революционные, часто через марксистские симпатии и — под воздействием жизни — преодолела их. Она первая, еще с 1905 года, начала внимательно всматриваться в тот кризис культуры, который нес в себе двадцатый век (правда, тогда она думала, что это только русское явление), и смело встала на защиту её духа, как общезначимой и всем необходимой ценности. Трагедии семнадцатого и последующих годов еще больше обогатили её умственный и духовный опыт и обострили ощущения человеческих и культурных ценностей. Она и выслана была потому, что тогдашние правители,

левые интеллигенты, — а какой левый интеллигент не ощущает себя мыслителем? — не чувствовали за собой если не достаточной правоты (это им заменяло ощущение силы), то достаточной компетентности, чтобы победить этих «идеалистов» в открытом споре. Другое дело демагогически обыграть их на митинге — но эпоха митингов как раз кончалась. Спасибо, что их только выслали, а не расстреляли.

Но левая интеллигенция и не подумала воспользоваться этой возможностью узнать правду. Да и как она могла прислушаться к этим людям, если они пришли к Христу, а, с её точки зрения, это было не только реакционно, но даже и некультурно! Эта интеллигенция сама не замечала, что её абсолютное отрицание Бога — тоже вера, она только смутно чувствовала, что вера эта (основа её жизни и мировоззрения) зыбка. Тем жёстче и фанатичней (так было и в России) она берегла её цельность от воздействия внешних впечатлений и чуждых разъедающих мнений. Так всегда берегут слабую веру. И опять-таки к их услугам всегда была диалектика, с помощью которой можно было изменить смысл любого факта. А также — вечная возможность объявлять классово-ограниченными и буржуазными, — следовательно, низменно-эгоистическими — любые мнения и доводы, идущие с ней вразрез, — любое проявление реального смысла.

Конечно, это была вера, хотя большого уважения эта вера не вызывает. Вы разве не замечали, г-н Кеннан, что на свете нет ни одного атеиста? Как только человек отворачивается от Бога, он поворачивается к идолам, т. е. из подручного материала начинает отливать очередного тельца, не обязательно золотого. В наше время такими тельцами бывают не только предметы (допустим, вещи, мебель, деньги), не только положение и мода, наконец, и того хуже — слова.

Эти слова быстро утрачивают или многократно изменяют свой первоначальный смысл, но всё равно

остаются предметом поклонения однажды поверившего в них человека. Таким словом может быть «секс», может быть «эмоциональность», но может быть НАЦИЯ или СОЦИАЛИЗМ. Может быть целая система таких терминов, положительных и отрицательных идолов, отграничивающих «единственно-возможный» смысл достойной жизни. Этот единственно-возможный смысл может связаться в нашем сознании с деятельностью или просто с именем какого-либо человека (например, Ленина, Сталина или Гитлера), и они могут потом делать из нас всё, что придёт им в их разгорячённую голову: противоречиям в их словах и поступках мы всегда найдём талантливое объяснение. Сегодняшнее поведение французских коммунистов или израильской партии Мейера Вильнера показывает, к чему может привести это страшное идолопоклонство. Подлинная религия хороша уже тем, что может быть освобождением от него и от его завораживающей диалектики.

Именно идолопоклонство, страх нарушить волю идолов и помогли левой интеллигенции пройти мимо чрезвычайно богатой философской и мемуарной литературы русской эмиграции. А ведь из неё можно было много (и вовремя) узнать о красном терроре, о коллективизации, о самоуничтожении большевистской партии, о десятилетиях дезинформации и о многом, многом другом. Я мог бы рекомендовать Вам и сочинения Бердяева, и «Красный террор в России» С. Мельгунова, и «Технологию власти» А. Авторханова, и комплект «Современных записок» (журнала, выходившего в Париже между двумя войнами), и еще много-много книг. Это кроме современных: Солженицына, Н. Я. Мандельштам и т. д. Я считаю, что любой человек, до сих пор думающий о социализме, должен внимательно ознакомиться с его историей в России, а этого нельзя сделать без русских книг, вышедших на Западе. Это нужно просто для того, чтобы быть честным

хотя бы перед собой. Правда, есть люди, на которых не действуют никакие книги и никакие факты, но, судя по Вашему письму, полностью это относится к Вам не может. Я думаю, что прочтя эти мемуары и исследования, Вы почувствуете, объектом каких вивисекций в течение стольких лет были люди нашей страны. И возможно, задумаетесь над тем, насколько было нравственно закрывать на это глаза и испытывать по этому поводу энтузиазм.

ЭНТУЗИАЗМ Г-НА САРТРА, ГРАНДЭР И ОБЩИЙ УРОВЕНЬ КУЛЬТУРЫ

Да, мы давние жертвы этого энтузиазма. Впрочем, теперь нам стало несколько легче. Половина энтузиастов, разочаровавшись в СССР, переметнулась теперь увлекаться (а значит, и жертвовать) китайцами. Теперь уже их, а не наши страдания — ничто перед великими свершениями. Конечно, к правде никто от этого не приблизился: китайские коммунисты — еще более страшная антикультурная сила, чем московские аппаратчики. Но всё же...

Правда, есть и такие энтузиасты, которые, переметнувшись к китайцам, не упускают жертвовать и нами. Впереди всех в этом ряду, как и во многих других, столь же малопочтенных, безусловно стоит Ж.-П. Сартр. Тот самый, к которому Вы обращаетесь, как к человеку какой-то воли. Он теперь широко известен как защитник свободы. Всякой. От всего. Вообще, всего, что ему придёт в голову назвать свободой. Правда, при этом он упускает то, что называется свободой обыкновенно. Но он, как мы увидим, вообще не дорожит банальными ценностями.

Так вот, этот Сартр выпускает теперь (или выпускал когда-то) журнал под красноречивым названием «Международный идиот» («L'idiot international»), це-

лью которого, по-видимому, является защита тесных буржуазным обществом идиотов. (И то правда — при социализме идиотам, в отличие от нормальных, не в пример лучше.) В одной из статей, помещенных в этом журнале, доказывается, что сумасшедшие — люди, угнетённые классовым обществом и врачами. (Видимо, врачи — агенты этого общества.) Впрочем, на это я не стал бы реагировать. Но дело в том, что столь трогательно пекущийся о больных, автор этой статьи к судьбе здоровых (которых всё-таки больше и которых теперь в некоторых странах тоже сажают в сумасшедшие дома) — более чем равнодушен. Особенно показательна его отношение к советской оппозиции, т. е. к тем, кто в любую минуту может оказаться в таком положении. Он её порицает, и даже весьма строго. Оказывается, она слишком занята приобретением буржуазных свобод (т. е. как раз таких, злоупотребление которыми и позволяет Сартру издавать свой интересный журнал), — в то время как автор статьи (и, по-видимому, её редактор), которым эти свободы добыл когда-то папин дедушка, давно стоят выше таких банальных требований. Даже советскую власть, которую они не очень жалуют за консерватизм, они всё-таки считают более прогрессивной, чем нас, т. к. наша оппозиционность носит, по их мнению, чисто буржуазный характер. Этически эти рассуждения выглядят так же, как выглядели бы рассуждения пирующей компании о том, что голодные почему-то уж слишком много думают о хлебе. Я намеренно пока не акцентирую внимания на интеллектуальной несостоятельности этого манипулирования потерявшими всякое реальное значение терминами. Мне хочется выпятить другую сторону этого рассуждения — его бессовестность и бесстыдство.

Впрочем, от такого буржуазного пережитка, как стыд, Сартр уже давно, по-видимому, освободился. Всё его внимание теперь сосредоточено на том, чтоб

как можно дольше оставаться властителем дум. А для этого необходимо всё время не зевать и поспевать за ходячими мнениями, каждый раз стараясь захватить их еще на той стадии, когда они воспринимаются как оригинальные. Тут уж не до совести. Вероятно, к Сартру не стоит относиться серьёзно. Но всё-таки как-то становится не по себе, когда человек, пользующийся полной свободой, так пишет о людях, которым зажали рот, которым ежедневно за то, что они просто дерзают думать и высказывать свои взгляды, угрожают, как минимум, если не психушки, то советские лагеря строгого режима* — в другие инакомыслящих не сажают.

Последствия таких высказываний далеко не безобидны и носят отнюдь не академический характер. Они раскололи общественное мнение стран, где такое мнение существует и имеет значение, причем сделали спорным вопрос, ранее совершенно для всех (конечно, кроме коммунистов) бесспорный: следует ли сочувст-

* Кстати говоря, «строгий режим» — не пустой термин. Нормальных преступников подвергают этому режиму в порядке дополнительного наказания, инакомыслящих — с самого начала, что зафиксировано законодательно. Впрочем, мы теперь вообще живём в эпоху законности, сам «строгий режим» тоже сформулирован вполне легально в «Исправительно-трудовом кодексе СССР» — так что любой желающий мог бы узнать, что это такое. Знакомые с произведениями Солженицына, Шаламова и особенно Марченко могли бы заметить, что те порядки, которые без всякого кодекса существовали в сталинских и послесталинских лагерях, теперь почти полностью легализованы этим кодексом, а некоторые даже изменены в сторону большей жестокости. Например, скупо ограничено количество писем и продуктовых посылок, которые может получать заключенный. Это узаконенное мучительство, причем не только самого заключенного, но и его родных. Современные вожди не обладают жестокостью Сталина, но зато не считают и нужным стесняться, скрывать свою мелкую мстительность. А может быть, они знают, что скрывать не от кого — современные борцы за лучшее будущее на Западе не очень интересуются узнать, что их ждёт впереди. Во всяком случае, о протестах в свободном мире по поводу принятия этого варварского кодекса мне ничего не известно.

зовать жертвам диктатуры. И конечно, от этого наше положение, положение мыслящих людей в тоталитарных странах, тут же ухудшилось. Воистину, ни одна тайная полиция за всю историю человечества не пользовалась поддержкой такого количества рафинированных мыслителей, как советская тайная полиция...

Впрочем, мыслители эти особого рода. Особенно тот же Сартр. Уж, кажется, радикал из радикалов. В июньские дни 1968 года прямо-таки рвался в тюрьму (разумеется, в империалистическую, а не в пролетарскую, туда — смело говорю! — он бы ни при каких обстоятельствах не рвался). И вдруг он же упрекает Набокова и других русских эмигрантских писателей в полной «выкорчеванности», в том, что они «не заботятся ни о какой общественности хотя бы для того, чтобы восстать против нее, потому что сами не принадлежат ни к какой общественности». И даже добавляет: «Их писания поэтому низведены до пустых сюжетов».

Нет, я не собираюсь защищать ни Набокова, ни других эмигрантских писателей от Сартра. О писателях вообще нельзя судить скопом, да и уж слишком неточный человек Сартр, чтоб его эстетические оценки могли иметь какое-либо значение (разве что чисто рекламное). Поражает меня другое. Оказывается, Сартр — кроме того, что он такой страшный радикал — хочет быть еще и тем, что в России называется «почвенник»*. Вот так. Как говорится, наш пострел везде пошел!

В наш век трудно кого-нибудь чем-нибудь удивить, но Сартр — человек, никогда не имевший и не хотевший иметь под собой никакой почвы, кроме зыбких волн общественного возбуждения, — упрекающий кого-то другого в беспочвенности, всё-таки бьёт все рекорды.

* Почвенничество — мироощущение, прямо противоположное радикализму. Кстати, я и сам к нему близок, но я ведь не радикал.

Видно, низко пала духовная и культурная жизнь Франции, если в стране с такими традициями такой человек может считаться мыслителем. Неужели сама культура этой страны теперь уже только история? К сожалению, интеллектуальное содержание политики «грандэра» (величия), начатой де Голлем и продолжаемой его наследниками, подтверждает самые худшие предположения. В этой политике ощущается воистину сартровская безответственность. Заключается эта политика в открытом перманентном предательстве всех, кого только можно предать, во имя величия (так теперь мыслится величие) и интересов (чаще всего мнимых) самой Франции. Видимо, это предательство, в представлении творцов этой политики, должно подчеркивать значение и роль теперешней Франции в современном мире. И действительно — все народы уже чувствуют и в дальнейшем, если так будет продолжаться, еще острее почувствуют значение Франции. Значение союзника, который в любой момент может оставить свой участок фронта, действительно всегда ощущается остро.

И добилась Франция уже немало. Ведь эскалация предательств, охватившая сегодня свободный мир, началась именно с неё. Это именно она остроумно решила поджечь дом, в котором сама живёт, в надежде, что в суматохе стащит у соседа фамильные бриллианты. Или просто переиграет его на стороне, пока он будет тушить пожар. Инфантильная политика, нерасчётливость которой, возможно, превосходит её откровенное неблагородство. Когда Сартр желал сесть в тюрьму, де Голль вполне разумно воспрепятствовал этому, сказав: «Оставьте в покое этого паяца!» Безусловно, Сартр — паяц, но имел ли право де Голль на то чувство превосходства, которое слышится в этих словах? Если «грандэр» — политика, то и Сартр — мыслитель и филантроп. Уровень глубины и ответственности здесь один и тот же.

По странному стечению обстоятельств почти все французы, которых мне пришлось видеть, были разумными и культурными людьми, уровень которых намного превосходил и эту политику и эту оппозицию. Но почему этот уровень никак сегодня не проявляется в национальной жизни Франции? Что за мистика?

Всё это может Вас утешить в том смысле, что самоубийством занимаются не одни левые. Это верно, но верно и то, что всё это происходит в обстановке, создаваемой левыми, иногда не без их влияния, прямого или косвенного. И потом, это не может отменить того факта, что левые этим самоубийством занимаются не время от времени, как все остальные, а всегда, о чём я уже писал в этой работе.

Поразительно, как их ничто ничему не учит. Они каждый раз опять надеются, что уж теперь всё обойдется, что террора, который в конце концов оборачивается против них, они не начнут. И каждый раз — опять-таки, любовь зла — совершают такие действия, которые вынуждают потом прибегнуть к террору, как к единственному средству, позволяющему «не погубить революцию». Они мастера себя уговаривать, что уж с ними ничего плохого произойти не может. Они как-то забывают о том, что если бы даже им удалось провести революцию по-иному (а я в это не верю), то, как поется в песне, у СССР «броня крепка, а танки быстры». Никакого другого социализма советские руководители не допустят: не стоит забывать Чехословакию. И большинство товарищей этих крамольных социалистов — даже те из них, кто будет выступать против этой акции, — в конце концов всё равно сочтут этот вопрос частным и не станут портить из-за него своих отношений со страной, где нет эксплуатации. А то просто приспособятся к «правильной» точке зрения. Как в случае с Израилем.

«Товарищи!» Как я рад, что у меня больше нет таких

товарищей и что мне просто некому писать письма, подобные Вашему...

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ПАРОЛЬ

Ваши товарищи — лгут. И Вам от этого обидно. Но не от отвращения к лжи, а только от того, что методы, которые и Вы считали допустимыми, но исключительно по отношению к тем, кто как бы вынесен за чергу (допустим, Класса или Прогресса), теперь в полном объёме применены к Вам самому. Т. е., что и Вы сами вынесены за черту, из субъекта превратились в объект. Положение Ваше напоминает положение старого большевика (или — того хуже — чекиста) в сталинской тюрьме или на скамье подсудимых любого из больших процессов. Или Троцкого в изгнании. И обижают, и клеветуют, и не к кому (да и не к чему) апеллировать: все законы, божеские и человеческие, самим давно попораны.

По Вашему письму видно, что абстракционизм идей и горение душ на прогрессивных банкетах Вам и теперь дороже, чем конкретная истина. И что Вам очень дорога ложь, причастие к которой обеспечивало Вас таким интересным товариществом. За примерами идти недалеко. Они начинаются с первой фразы.

— Я за Кубу! Я люблю Кубу! — восклицаете Вы страстно.

Если не знать в чём дело, можно даже удивиться. Любишь, так люби, а зачем об этом так кричать? Мало ли кто что любит. Есть и такие, кому Антарктида даже нравится... Но мы не удивляемся. Ибо прекрасно знаем, что ни любовь, ни сама Куба к Вашему утверждению никакого отношения не имеют. Ибо это не утверждение и даже не восклицание, а только привычный пароль, которым Вы страстно хотите сообщить часовому, что Вы свой. Когда-то, произнеся этот па-

роль, Вы тут же оказывались принятым и своим в прогрессивном лагере, и теперь Вы повторяете его как заклинание и как доказательство того, что Вы не изменились. Но заклинание не действует. То ли пароль теперь другой (например: «Да здравствует прогрессивный арабский национализм! Смерть израильским захватчикам!»), то ли часовой просто получил приказ при Вашем появлении ни на какие пароли не откликаться, но факт Вашей верности никого здесь не волнует, и Вас не пропускают. Собственно, Вы и сами знаете, что не пропустят — дисциплинированность совести тех, к кому Вы взываете, Вам хорошо известна — но всё-таки кричите. Этим криком Вы хотите напомнить и себе самому, что Вы — это Вы. Ибо другого представления о себе у Вас пока (я надеюсь, только пока!) — нет. И Куба тут ни при чём. Вообще, чтобы быть точным, Вы должны были в этом своём восклицании заменить слово «Куба» словом «Кастро»: «Я за Кастро! Я люблю Кастро!». Ибо собственно до Кубы Вам дела, по-видимому, нет. Вас интересует революция, а не Куба.

А между тем, Куба существует и сама по себе. Это не пароль, не символ и не синоним слова «Кастро». Это имя страны, в которой живут живые люди. Правда, теперь они все стали объектом неграмотного эксперимента левой интеллигенции, руководимой Кастро.

Впрочем, строго говоря, и Вам его уже давно любить абсолютно не за что. Ведь таких, как Вы, — свою левую интеллигенцию, представителем которой он был, он уже тоже давно подавил, превратившись, как это водится у Ваших вождей, из неграмотного экспериментатора в бессмысленного диктатора. Но левой интеллигенции приятней этого не видеть, как не видела она ничего и до этого.

Правда, заезжал когда-то левый немецкий поэт Ганс Магнус Энцессбергер на Кубу и уехал в ужасе, которого не скрыл от некоторых моих друзей в Москве.

Но это, видимо, было от нервозности. По всему видно, что он уже относится к тому, что он там видел, диалектически: дует в ту же дуду. Издалека вообще смотреть диалектически легче, чем вблизи — смотришь не глазами.

Но иногда что-то видеть всё же приходится. Например, посадил барбудо Фидель не так давно кубинского поэта Эрнесто Падилья в тюрьму. А выпустил только после того, как тот публично покаялся и себя оплевал. На этот раз и левые интеллигенты не выдержали — в такие спектакли сегодня не верят даже они. И вот собрались они вместе и написали своему кумиру и единомышленнику наполовину дружеский протест, наполовину верноподданное прошение: «Неужели на Кубе так плохи дела, что там надо запрещать говорить правду?» В самом тоне этого вопроса заключён само собой разумеющийся отрицательный ответ. (Так же как, к слову сказать, и согласие с тем, что если дела плохи, запрещать говорить правду можно и нужно.)

Но, видимо, информации о делах на Кубе у Фиделя Кастро несколько больше, чем у его восторженных поклонников, верноподданные всхлипы его несколько не умилили, и он тут же, не вдаваясь в дискуссии и не затрудняя себя изобретательностью, взял да и решил проблему, с ходу обозвав своих непрошенных доброжелателей наймитами империализма (до этого он вложил эти слова в уста Падилья). После этого всякая потребность выяснять положение на Кубе отпала сама собой. Сейчас, вероятно, его обескураженные поклонники ищут корень своей ошибки и некоторый высший — поскольку элементарного не доискаться, — мистически-диалектический смысл его филиппики.

А дела на Кубе, как и в любой стране, где у власти партия нового типа, прямо сказать — плохи. Люди голодают и, судя по всему, будут голодать и дальше, не хватает самого необходимого. К тому же, большую часть своего скудного рациона кубинцы получают за

счёт советского народа, который тоже от этого не в восторге...

Так что, я даже несколько извиняю незтичное обращение Кастро со своими поклонниками. Какое уж тут «неужели?» Плохи дела. Потому и террор, что плохи дела. Потому и всегда после исторически-необходимой победы бывает террор, что материальные (о других я уже не говорю) дела после этой победы неизменно бывают плохи, а признаться в этом неудобно: ведь всё, что делалось, делалось исключительно для вящего развития производительных сил.

Только террор может смягчить впечатление от этой ужасающей действительности: ибо когда человек воочию убеждается, что в любой момент может лишиться жизни, голод и лишения перестают ему казаться самой страшной вещью на свете.

Впрочем, Вас это всё равно не убедит. Вы твёрдо убеждены, что всё это только издержки прогресса, что Кастро малость потренируется в управлении (на людях) и всё пойдет замечательно. Тем более, что и теперь уже какие успехи! Неквалифицированный, а то и просто малограмотный человек может вырасти в крупную персону. Конечно, подчиняться такой персоне будет мало радости, но что значат эти мелкие соображения перед таким разгулом демократии? Стыдиться надо таких чувств! И — стыдятся.

Вот Вам, например, согласно этому кодексу, следует стыдиться того, что Вы сопротивляетесь уничтожению Израиля и не верите лжи про него. И хоть Вы не уступаете своим бывшим друзьям и хоть знаете, что это они, а не Вы изменили идеологии, Вы всё равно стыдитесь и оправдываетесь, Вы всё равно, не сознаваясь себе, чувствуете свою вину перед бессмысленным молохом прогрессизма. А ведь это действительно странно. Это они — вопреки всем своим канонам, — объявили утробных националистов борцами за мировую революцию, расовую войну (против жен-

щин, детей и безоружных, против населения, — чтоб его не было) — классовой, а людей, которые нападают на безоружных, боятся вооружённых — героями и храбрцами. Причем, как уже говорилось, такое переосмысление (раньше эти Ваши друзья были на стороне Израиля) произошло только после соответствующей переориентировки советской внешней политики. Федаины и не подозревали, что им так подфартит, что все их звериные вожделения свяжутся таким образом со «светлой мечтой человечества»...

А оправдываются не Ваши друзья, а Вы. А что еще, кроме оправданий, означает Ваш пароль (или истошный крик): «Я за Кубу! Я люблю Кубу!»?

САГА О ЧЕ ГЕВАРЕ

Но поскольку мы коснулись сказки о Кубе, я полагаю, что нам нельзя никак обойти и связанной с ней «Саги о Че Геваре». Правда, тут мы уже вступаем в опасную зону, в область дорогих мифов. Говорят, что если я посмею коснуться своим неромантическим пером этой героической «Саги», все по-настоящему революционные люди Земли меня тут же начнут презирать. И не только они, а даже все, им сочувствующие. И не только сочувствующие, но даже и несочувствующие, но испытывающие по отношению к сочувствующим комплекс неполноценности (т. е. воспринимающие это своё несочувствие как измененность природы и неспособность к настоящему полёту духа). А некоторые — так даже и убить меня захотят. Но тут уж, как говорится: волков бояться — в лес не ходить. Не отказаться же из-за этого от выражения мыслей и отношения к вещам. Тем более, что я больше любого социалиста верю в окончательную победу социализма (обязательно переходящего в национал-социализм) и потому жизнью дорожу не очень. Так что эту Сагу я всё-таки

изложу. Правда, она у меня получилась слишком юмористической для такого образа. Но что поделаешь!.. Есть на свете вещи, серьёзные только по своим последствиям, к тому же меня, как писателя, больше интересует эмпирика красок, и юмор иногда может получаться независимо от автора: от непредвиденного сочетания игры красок с игрой рока.

Во всяком случае, вот эта Сага, как она представляется мне сегодня.

Прежде всего — предыстория. Сначала, как известно, на Кубе шла война против диктатора Батисты. В этот период Че Гевара жил полной жизнью: горел душой, ощущая дружбу и приподнятость духа. (Такие люди, вообще, боятся смерти меньше, чем жизни.) Но сколько верёвочке ни виться, а конец будет. Барбудос победили. Сгоряча, наверно. Подчиняясь логике событий. И даже не заметили, что воевали за свободу, а победила диктатура. (Над незаметностью этого перехода, надо думать, и Гевара немало поработал.) Но вот — победа. Казалось бы — всё. Ан нет!

Неожиданно встали непредвиденные трудности. Нужна еда, нужна мануфактура — прикрывать наготу и писать лозунги — нужно многое, ежедневно необходимое, а его — нет. Конечно, можно было б сказать людям: «Валяйте, ребята, кормитесь, кто как может, а мы потом регулировать будем, — то, что у вас получится». Но тогда бы стихия началась, в буржуазность бы всех потянуло. Нехорошо. А потом — если бы люди самостоятельно стараться стали, что б тогда делал левый интеллигент, настоящий революционер? Скучал? А за что кровь проливали? Разве не за творческую радость от руководства жизненным процессом?

Ну вот, и стали руководить — творить действительность. Поначалу еще ничего было — это покуда склады от старого режима оставались. А потом —

совсем плохо стало. Проза жизни, столь ненавистная левому интеллигенту, не только не сократилась, а даже начала быстро увеличиваться. Несознательность начала заедать. Не желают люди с объективными трудностями считаться, и что хочешь, с ними делай. Обступают, волнуются. И этому дай, и тому дай, этому одно, тому другое... Все кричат... Все требуют... А где взять? В общем — плохо.

И досадно, конечно. Самое главное — власть! — ведь уже взяли!.. Сущие мелочи осталось доделать. Ну, чепуху! Ерунду!.. А такая морока!

А еще — раз такое дело — приспособленцы появились. Это те, кто хоть что-то умеет, но себя не умеет забывать. А таких вообще голыми руками не возьмешь — всё разлагают, и ни к чему не придерёшься. Приспособились, сволочи! Хоть плачь!..

Че Гевара как легендарный герой терпел-терпел, думал-думал и, наконец, принял своё историческое решение, за которое до сих пор его не устают прославлять все потенциальные герои Земли. Он собрал всех своих друзей и соратников и сказал им:

— Ладно, ребята!.. Тут еще кое-что осталось доделать, — доделаете без меня. А я поехал. В другую страну — революцию там поднимать, на наш светлый путь её поворачивать. А то нецелесообразно получается — специальность пропадает.

Как известно, большевики — большие поклонники целесообразности, потом, желающих властвовать и среди них больше, чем желающих бунтовать, — отпустили.

— Ладно, — сказали, — езжай, дорогой товарищ! А мы тебя заменим на твоём боевом посту!.. (Имелся в виду служебный кабинет министра. Впрочем, злые языки утверждают, что с этого кабинета всё и началось, т. е., что попросту выперли голубчика, но это не меняет сути дела и не должно нарушать строй данного повествования.)

Вот тут, строго говоря, и начинается собственно «Сага». Очередной Дон-Кихот отправляется на поиски очередных Санчо Панс. Отправился...

Но оказалось, что Санчо Панса ныне не тот пошёл. То ли наслышан он хорошо о кубинском опыте, то ли слухи о российской коллективизации в виде страшной сказки до него дошли, то ли просто он своим мужицким умом сам допёр, что дело тут нечисто, но только высадка на боливийской земле Че Гевары со товарищи запланированного пожара революции не вызвала.

В ответ на зажигательные речи молодых энтузиастов Санчо Пансы только помалкивали, покачивали таинственно головами, иногда даже произносили на местном диалекте своё интернациональное — одинаково непонятное на всех языках — «оно конечно», но от участия в партизанской борьбе эластично уклонялись. Видно, думали: «Много их что-то нынче стало, Дон-Кихотов. Говорят непонятно и ходят сворами, как разбойники — лучше мужику подальше от них держаться». Впрочем, точно сказать, что именно думали Санчо Пансы, я не могу, не знаю — не я же собирался вести их на борьбу — но факт остаётся фактом: гениальные и — что самое главное — утвержденные Кастро планы разжигания гражданской войны проваливались. И проваливались настолько явно, что даже такой высокоидейный человек, как Че Гевара, не мог этого не заметить. Санчо Панса на этот раз определенно не рвался в оруженосцы Дон-Кихота.

Но настоящий революционер никогда не теряет присутствия духа и веры в победу. Препятствия только мобилизуют его, а не обескураживают. И вот какую фразу об отношении к крестьянам, за счастье которых он, как известно, был готов в любой момент отдать жизнь, записал в эти дни Че Гевара в свой знаменитый Дневник: «Разумным террором (в сочетании еще с чем-то, но это в данном случае неважно: сама по себе

тактика революционной борьбы не должна нас сейчас интересовать) можно было бы придать движению настоящий размах». Так и записал — «разумным террором». За точность всей цитаты не ручаюсь, но за эти слова, общий смысл и эмоциональную окраску — головой.

Какой левый интеллигент не вздохнёт, выслушав эту печальную повесть. Дескать, до чего трагическая личность, до чего тяжело было человеку из-за неосознанности и неодоушворенности масс. Дескать, на что мы только не идём, чтобы загнать их в рай и избавить от эксплуатации... Вздыхаю и я. Только о другом — представляю, как это выглядит на деле...

Живёт, допустим, в каком-нибудь глухом боливийском селе некий мужичок. Бедный, но еще не осознавший классовых интересов. (Да и то сказать — не у всех же есть возможность книжки про эти интересы тайком на университетских лекциях читать.) Ну, жена у него, конечно, детей пять штук, мал мала меньше. Перебивается он со всей семьёй с ихнего боливийского хлеба на ихний боливийский квас, а в общем — плохо. Жена опять на сносях, дети голодны, и корова в стойле мычит (или там буйволица какая) — жрать просит. А молока с неё и не спрашивай... Тоска!

«Эх! — думает мужичок, — была не была! Нечего делать!.. Пойду-ка я сена накошу украдкой (или там тростника — кто их, боливийцев, знает, чем они скотину кормят)». Тем более, ему известно стало, что латифундист как раз вчера отбыл куда-то надолго — то ли развлекаться, то ли тоже бунтовать (и такое бывает), а объездчик второй день с приятелями выпивает. Чем чёрт не шутит!

Сказано — сделано. Пошёл. Косит. Доволен, что всё с рук сходит. «Деток, — думает, — обрадую, жена будет счастлива, совсем умаялась, бедная». Кончил. Только собрался домой — глядь, из тёмного леса навстречу ему борцы за его счастье выходят. Злые-пре-

злые: от всеобщей темноты и несознательности. И у каждого за спиной — автомат.

Увидали мужичка, и к нему. «Ты из этой деревни?» — спрашивают. «Из этой», — отвечает. Почему не ответить? «Тебя-то нам и надо!» — говорят. Мужик молчит. Удивляется, наверно. «И зачем это, — думает, — я им понадобился?» А они ни с того ни с сего на крик переходят, на горло брать начинают: «Так чего ж это ты, такой-сякой, за свою свободу не борешься? На других надеешься?». Мужик никак в толк не возьмёт, чего от него хотят (сроду ни на кого не надеялся), но видит: дело плохо. На всякий случай канючить начинает: «Да мы, да вы, да дети малые, да жена на сносях. Поле опять-таки не убрано...» Ну, и о прочих своих, несущественных для настоящего революционера, мелочах. Но революционеров не так-то просто разжалобить, они диалектикой закалены, в корень смотреть отродясь привыкли, существенное от несущественного вмиг отличат. Тем более, своей жизни не жалеют для дела: а уж чужой — да еще и не захваченной революционной страстью — и говорить нечего. «Ты это брось! — отвечают. — Нашёл оправдание! У всех жена, у всех дети. Да и вообще, если хочешь знать, всё это пережиток. У нас теперь свободная любовь и сексуальная революция. Понял?!» — «Как не понять? — тянет время мужик. — Оно конечно. Но ведь пить-есть тоже надо». — «В хрустальном дворце поешь! При всеобщем счастье! — говорит самый идейный. — Там всё будет. Только разве с такой контрой, как ты, построишь этот дворец? У... Гнида... Только развитие тормозит! Отвечай прямо — идёшь с нами или нет?» — «Да я что, — оправдывается мужик, — я хоть сейчас, с нашим полным удовольствием. Да ведь дети, господа хорошие...» — «Ах, ты опять!.. Ну так получай за саботаж!» — и с этими словами самый идейный снимает со спины автомат и короткой очередью кончает несколько удивленного таким оборотом

дела представителя несознательного трудового крестьянства. А потом населению всех окрестных деревень через верных людей торжественно объявляется: «Такой-то, имярек, расстрелян нами за отказ от выполнения своего революционного долга. Так будет с каждым, кто последует его примеру». Ну и, конечно, старинное: «Тот, кто не с нами, тот против нас».

Тут, конечно, все деревни со страху вливаются в партизанские отряды, создаётся повстанческая Армия, начинается любезная сердцу Че Гевары гражданская война, а потом — победа, а потом... опять проза жизни и следующая страна для души. Как известно, страна на планете пока еще много. Правда, дети у мужика сиротами остались, жена стала вдовой и вообще вся семья с тех пор побирается. Но это уже мелочи для человека, живущего исключительно мировым развитием.

Так, наверно, представлялся разумный террор Че Геваре. И так бы оно случилось. (И вьетнамские, и многие другие крестьяне многое могли бы об этом рассказать, если бы не боялись мести и если б, само собой, прогрессистам их слушать было интересно.) Но на этот раз так не случилось. Помешала темнота, а также грубый материализм без всяких примесей диалектики. И случилось это так. Один из Санчо Панс, который за недостатком времени отдалённым будущим интересовался мало, прочитал где-то по складам правительственное объявление о немедленной денежной награде тому, кто укажет местопребывание великого революционера. А оно случайно было ему известно. Уяснив смысл этого объявления, мужик чрезвычайно обрадовался возможности наконец немного поправить свои дела таким несложным и, как ему тогда* казалось, легальным способом. Он тут же отправил

* Потом какой-то переворот в Боливии всё же произошёл. Так что — кто его знает, — а может, и перестало ему так казаться?

ся в город и сообщил там, как говорится, кому надо что надо, — короче говоря, донёс на своих возможных освободителей.

Признаться, я и теперь не знаю, как к нему относиться? С одной стороны — доносчиков не терплю, с другой — скольких людей этот человек, сам того не зная, от вышеописанного разумного террора уберёг. Одно только могу сказать прямо — дурак! Синицу в руки поскорей схватил, а журавля в небе упустил. Ему бы только дождаться, пока Че Гевара победит, он бы с такими данными далеко пошёл! Особенно на последующих этапах. (Конечно, если б он дожил до них.)

Но с другой стороны, откуда ему было знать про этапы? Или про журавля? Темнота!

Вот и вся «Сага». За подробности не ручаюсь, но смысл передан точно.

ПЛОДЫ НЕУДАЧНОЙ ЛЮБВИ, ИЛИ О ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ

Так мы заодно и больного для многих революционеров вопроса коснулись — о последующих этапах. Как-то не любит на них акцентировать внимание левая интеллигенция. Неохота ей помнить, что за любезными её сердцу двадцатыми годами наступают неожиданно и неотвратимо тридцатые... Конечно, левая интеллигенция восхищена и ими (да еще как!), но... что-то всё-таки не так. Всё-таки примирение с действительностью (точней, восхищение ею) даётся этой интеллигенции на последующих этапах дороже, чем на предыдущих. Как-то революционная романтика становится не та. Т. е. вовсе даже становится на себя непохожа, не говоря уже о том, что она отстраняется от своих самых горячих выразителей...

Нет, конечно, эта интеллигенция и теперь не сомневается, что «всё продолжается», они понимают, ко-

нечно, что просто «новые условия требуют новых форм», но... радости той всё равно уже нет. Как-то неприятно замечать, что если раньше в неизбежные жертвы прогресса попадал всё больше чуждый элемент: какие-то дворяне, какие-то мещане, а также крестьяне-собственники и рабочие из отсталых, т. е. всё больше люд не романтический, — то теперь уже и с самой левой интеллигенцией ошибаться начинают: с её пристрастиями и её представителями. Как-то уж очень настойчиво ошибаться, я бы сказал — целеустремленно. Протестов, конечно, нет. Какие могут быть протесты — с абстрактным гуманизмом давно покончено, и все лишние жертвы наперёд списаны уже давно. Нельзя же из-за такой чепухи, как жизнь и честь твоих близких и друзей, против исторической необходимости переть. Начинаются даже, как бы это точнее выразиться, успокаивающие укоры извращённой совести: дескать, что же это получается? — пока жертвовали посторонними тебе людьми (и тогда не обходилось без «ошибок», и ты знал про это), ты это переносил, а как тебя и твоих друзей коснулось — ты и взвился! (И то сказать: когда беспартийных мужичков без порток оставляли или всяких «бывших» расстреливали — таких сложных переживаний не было.) Это только доказывает, что ты еще не преодолел своей родовой мелкобуржуазности...

А уж этого обвинения никакой левый интеллигент не вынесет (несмотря на то, что вся «левая» идеология выдумана мелкобуржуазными интеллигентами — да и не нужна она больше никому). Нечто совсем не романтическое, мелкое, стыдное, эгоистическое, низменное чудится ему за этим обвинением. Он родную маму продаст, чтоб только доказать, что это не так. Один московский литератор говорил мне о начале тридцатых в России: «Ведь это же надо было убедить людей, что торговать стыдно, а расстреливать — не стыдно!»

Такие люди и убедили. (Теперь оказалось, что люди эти — явление глобальное.)

Только если внутри страны это насилие над собой не только поддерживается, но отчасти даже и объясняется тотальным насилием государства (пусть даже — правда, для других случаев — одобренным самой этой интеллигенцией), то у левых интеллигентов за границей нет и этого оправдания. Но в массе своей она нисколько не вступает за друзей и единомышленников, а наоборот, мучительно доказывает себе и другим реальность (или необходимость) бессмысленных обвинений, возводимых на них. Творение (а на самом деле — собственный покой, основанный на тщательно сберегаемом «ясном историческом взгляде») им дороже жизни и чести его творцов. Правда, и творение теперь выглядит так, что его и не узнать. Но при некоторой внутренней работе и с помощью диалектики можно всё же увидеть (пусть в намётке, пусть в чертеже) знакомые дорогие черты. Это, собственно, и называется «ангажированность», т. е. завербованность, которой, как я слышал, многие даже гордятся. Никак нельзя это путать с убежденностью, ибо настоящая убежденность никакой завербованности не требует. Завербованность — это отказ от истины, справедливости, доверия к своим впечатлениям и мыслям ради того, что однажды решено и выбрано. Звучит это романтически, это как будто некое растворение в чём-то высоком, а на самом деле — культ безответственности. Эта завербованность и приводит к преступлениям против Духа и Совесть. А всё начинается с вдохновенной мелочи — к каким-то людям начинаешь относиться не как к себе подобным, а как к какому-то историческому материалу. Конечно, во имя святого дела, в отдельных случаях, на узком участке. Но если вы вступили в сговор с дьяволом, масштабы Вашего сотрудничества с ним от Вас не зависят. Коготок увяз — всей птичке пропасть. Любая завербованность — это прежде всего

завербованность против самих себя, против лучшего, что в нас есть. Страшен человек, совестью которого управляют извне. Не сотвори себе кумира.

В этом неиндивидуальном подходе к людям и явлениям очень мало остаётся от западной гуманитарной культуры. Фактически, и коммунисты, и «новые левые» — проводники восточно-феодального мироощущения в безрелигиозное западное сознание. Характерный для Востока отказ от личности, строгая регламентация её поведения воспринимаются как некая цельность и общность, как спасение от одиночества и новое отношение к жизни. Даже обезличивающее сексопоклонство — явление восточное. Правда, на Востоке такое отношение, признаваемое нормальным и естественным, тем не менее введено в рамки, здесь — прорвалось на свободу. Современная эмансипированная девушка (если она не просто следует моде) ведёт себя так, словно она только что сбежала из гарема, а юноша — как человек, который тайно проник в этот гарем и не обнаружил там стражи. Эти рассуждения только внешне не относятся к делу. Речь здесь идёт о том же — о человеческих ценностях, которые все взаимосвязаны. И о словах, смысл которых нельзя подменять, — иначе люди перестанут понимать не только друг друга, но и самих себя.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРОРА

Недавно у коммунистов и у всех прочих передовых людей Запада была новая любовь — Чили. Считалось, что там теперь у власти «наш» парень — убеждённый социалист, знаток искусств и собиратель статуэток товарищ Альенде. Причём, он пришёл к власти вполне законно — сами чилийцы его выбрали. Так что теперь

всё будет замечательно: социализм, наконец, обручился со свободой и законностью.

Теперь, когда эта эпопея закончена, видно, что больше всех в это верил сам Альенде. Как его уважение к демократии сочеталось в нём с его революционным социализмом, я понять не могу и на этом не останавливаюсь. Привело это его упорство, однако, к тому, что, когда он всё-таки понял, что без нарушения демократии всеобщего счастья не построишь, было уже поздно. Его свергли, и он погиб. Но перед смертью он уже собирался несколько нарушить некоторые конституционные права, т. к. его к этому вынудила обстановка: иными путями защитить социалистические завоевания оказалось невозможно. Собственно, — об этом уже шла речь — и другие революционные социалисты оказывались диктаторами большей частью именно поэтому: жизнь им не подчинялась, и приходилось стрелять. Это всегда воспринималось, как частный случай и нетипичное отклонение, но вся беда в том, что того, что считается типичным, еще никто никогда не видел.

Но, как известно, Альенде по-настоящему нарушить конституции не пришлось. Первым — и это до сих пор возмущает многих — её нарушил противник. Он не стал дожидаться уже обещанных действий Альенде и «перешёл в наступление» сам, что бывает достаточно редко. Настолько редко, что, предсказывая в первом варианте этой работы (в 1970-м году), как будут развиваться события в Чили, такого — сравнительно благополучного — их конца я не предвидел.

Понимаю, что с таким определением этого конца согласятся немногие, а многих (на Западе, конечно) оно даже возмутит. Отчасти они будут правы, ибо слово «благополучный» ни к событиям в Чили, ни к сегодняшнему миру вообще полностью отнести нельзя. Кроме того, у этого конца есть одна явно отрицательная сторона — он позволяет желающим продол-

жать думать или хотя бы говорить, что, если бы не «злобные силы реакции», всё получилось бы хорошо. Между тем, эти «злобные силы» выступили только когда (и вследствие того, что) всё — уже! — получилось из рук вон плохо. Когда хозяйство разваливалось, а в стране всё больше брали верх международные банды романтиков, смело экспериментировавшие на чужой собственности и жизни и рвавшиеся к власти. Альенде или не хотел, или не был в силах их обуздать. Стране грозила левая (т. е. перманентная и абсолютная, в отличие от консервативной) диктатура. И это — то, что в стране будет именно так и что ей будет грозить такая диктатура, я предсказывал в 1970 году, еще до окончательной победы Альенде. Мудрости в этом никакой не было — насильственная национализация промышленности к этому приводит неизбежно.

Вот почему я считаю то, что случилось, концом благополучным. Как он ни плох, он уберёт народ и от романтической диктатуры, и от перманентного разумного террора. А я думал, что от этого уже не спастись. Ведь создавшийся хаос коммунистам ничего не стоило объяснить «половинчатостью» Альенде («половинчатость» — любимое слово коммунистов до штурма власти). И совсем не исключено, что поглупевшая от заблуждений и разочарований уличная толпа — материальная сила революции — поверила бы им и бросилась за ними, раскрыв рот. И спихнули б они тогда этого Альенде со всеми его статуэтками (и во всяком случае, с его демократическими предрассудками) к чертовой матери, как последнюю преграду на пути к новой жизни и — уж во всяком случае — к исчезнувшему хлебу. И установили б они тогда под шумок свою «народную» власть.

А уж после этого — спрашивать было бы не с кого. Ни за голод, ни за сытость, ни за цельность, ни за половинчатость, ни за хаос, ни за целесообразность. Всё это мгновенно приобрело бы третьестепенное зна-

чение: во всяком случае, самое для себя ценное — власть — коммунисты из-за такой чепухи под угрозу не поставили бы. Уж слишком она была бы им дорога. Одним — как инструмент для добывания всеобщего счастья (а это очень увлекательное занятие — добывать счастье всему человечеству), другим же — сама по себе, ибо к этому времени она (т. е. власть) вознесла бы их высоко. Но и те и другие скорей полнарода перестреляли бы, чем ушли. Тем более, что мера эта действительна. Не утверждаю, что расстрелами можно разрешить какую-либо проблему, но устранить её — можно вполне. Поскольку люди, настаивающие на решении этих проблем, — вполне устранимы. Это не одно и то же, но разница, к сожалению, интересуется не всех.

И совсем не важно, что в данном случае действовала бы не просоветская, а прокитайская компартия. Это мог бы быть и сам Альенде, начавший, как он собирался, применять коммунистические методы — результат тот же. Террор есть террор.

Между прочим, представлять себе эпоху террора — как нечто грустное и печальное — значит упрощать. При терроре всегда гораздо больше довольных, чем недовольных, бывает. Ибо ценность жизни — от сознания, что ты её в любой момент можешь лишиться — только возрастает. Как и благодарность судьбе за то, что ты всё-таки жив. А поскольку человеку нужна устойчивость, то он превращает факт своего существования на земле в метафизическую ценность — в наглядное доказательство, что «всё преувеличение» и что «зря не сажают». Так что радостные лица, которые видели западные журналисты в России 30-х годов и в Китае 70-х — не выдумка. Там действительно много искренне довольных. Кстати говоря, кроме этой основной радости — ярко чувствовать остроту бытия — житель терроризованного общества имеет еще много более мелких, абсолютно пока незнакомых жителям

свободного мира (из-за чего многие из них чувствуют себя обделёнными). Например, радость по поводу того, что достал яйца к завтраку, мясо к обеду, пуговицу к брюкам. Мир маленьких радостей...

Попытка расширить этот мир только поддерживает и оправдывает террор, как средство ограничения человеческой низменности. Романтическое презрение облегчает творческим натурам его применение. Презрение после победы усиливается тем, что теперь эти творческие натуры хорошо видят, что управлять государством трудно (как будто раньше, когда они занимались одной критикой, это было легко), и просто-таки ненавидят обывателя за то, что он не понимает их высоких устремлений и всё-таки слишком — в такое великое время! — озабочен кормушкой. И им его действительно не жалко — как насекомое.

А между прочим, именно насчёт кормушки «в трудное время» дела у творческих натур обстоят совсем неплохо. Нечто таинственное вдруг появляется: «спецпайки», «спецснабжение». Высокое революционное доверие слышится в этих словах. Как в России, например, кожанка — довольно комфортабельная одежда в эпоху всеобщей разрухи — все это воспринималось как некоторый бастион революционности, веры и осмысленности жизни. Впрочем, все же относительная комфортабельность тоже допускалась исключительно для всеобщего блага, чтоб творческие натуры не отвлекались на низменные заботы от своего высокого служения. Конечно, по сравнению с тем, что бывает на дальнейших этапах, эти прегрешения и соблазны выглядят почти невинными, но основа всего, что будет потом, закладывается именно здесь. И всё это вместе объясняется и отсутствием свободы.

БАНАЛЬНОЕ СЛОВО

Рискуя вызвать улыбки всего радикального мира, должен сказать, что понимаю слово свобода только банально. Я требую только «свободы вообще», только «абстрактной свободы», а не какой-то там социальной или классовой. Разумеется, можно говорить и о внутренней свободе, но это не имеет отношения к теме. Внутренней свободы может не быть и среди разливанного моря всякой иной свободы, но если нет этой внешней, банальной свободы, защитить внутреннюю могут немногие.

В наше время есть много людей (все коммунисты и фашисты), стремящихся во что бы то ни стало подменить или лишить смысла это великое слово. Намекается на то, что и философы не выяснили еще его значения и что вообще оно бессмысленно, ибо все равно нельзя быть свободным от законов биологии или, допустим, всемирного тяготения. Рассуждений — много, задача — одна: доказать, что человек одинаково несвободен в парижском кафе и в лубянской камере.

Я мог бы, пожалуй, ответить, что как человек, сидевший и там, и здесь, разницу между этими положениями ощущаю весьма остро. Но это бы значило, что я принимаю эти рассуждения всерьёз. Я же их воспринимаю просто как удобный способ уйти от неприятных тем и неприятных размышлений. Возможно, вопрос о свободе надо рассматривать и более широко, чем это делаю я, но это только тогда, когда он хоть в какой-то степени разрешен в узком, т. е. в простом, грубом и неинтеллектуальном смысле.

Короче, говоря о свободе, я говорю о самом простом: о том самом, что имели в виду следователи на допросах или уголовники в лагерях, когда говорили очередной жертве: «Я научу тебя, сука, свободу любить!». О том самом, что позволяет рабочим бастовать, не рискуя угодить под пули, как в Новочеркасске,

а Вам написать и напечатать письмо, в котором Вы ни за что, ни про что, единственно из верности ускользающим убеждениям, поносите главу правительства и военного министра своей страны. Такого использования свободы я не одобряю, но это — свобода. Свобода — это то, что позволяет Вашему другу Ж.-П. Сартру издавать свой странный журнал (если он еще не прогорел, но и это не зависит от свободы), который вряд ли был когда-то любимым чтением де Голля или Помпиду и вряд ли и сегодня стал любимым чтением Жискара д'Эстена. Свобода это то, что даёт возможность Вашему знакомому Мейеру Вильнеру, а до этого другому Вашему знакомому Самуилу Микунису безопасно совершать свои вояжи в Москву и обратно (хотя это я считаю злоупотреблением свободой: Москва — столица вражеского государства). И, наконец, свобода — это то, что позволило бы мне — хотя бы за свой счёт, — опубликовать эту свою работу в советской прессе, не ожидая для себя от этого неприятных последствий, материальных или даже физических.

В этой связи мне вспоминается один американский интеллигент, не то физик, не то математик, который метался в кулуарах одного из московских научных симпозиумов и собирал подписи под протестом против участия Америки во вьетнамской войне. Но важно не это, важно то, что при этом он еще горько жаловался на отсутствие в Америке свободы печати. Доказывал он это тем, что один из таких его протестов (видимо, протесты были его хобби*) «Нью-Йорк-таймс» напечатала только в виде объявления за большую плату (кажется, 250 дол.). А я подумал тогда о том, сколько бы денег, из самых последних, согласились бы мы заплатить в августе 1968 года, чтобы на-

* Теперь, когда террористическая диктатура Севера победила, он может быть вполне доволен делом рук своих. (Сегодняшнее замечание автора.)

печатать в «Правде» или хотя бы в «Медицинском работнике» свой протест против оккупации Чехословакии. За то, что один только лозунг, содержащий такой протест, в течение минуты был развернут на Красной площади, те, кто это сделал, поплатились годами ссылки, и, по общему признанию, это было мягким наказанием...

Видимо, настоящей свободой этому интеллектуалу казалось бы такое положение, когда любая газета, даже если бы она с его взглядами была совсем несогласна, обязана бы была печатать его протесты и статьи в виде передовой. Но такой свободой пользовался один Сталин. И называется она тиранией — т. е. навязыванием своей воли всем другим.

Говорят еще, что свобода печати при отсутствии денег — пустой звук. Мне всегда хочется ответить на это: «А вы Самиздатом пробовали?». Самиздат — не лучший выход, но отсутствие свободы печати — это когда сажают за Самиздат, а не тогда, когда нет денег на издание книги или газеты. Не говоря уже о том, что можно пробовать и собирать деньги. Если люди будут очень заинтересованы в Вашем издании — соберёте. Конечно, люди не всегда вовремя понимают, в чём они заинтересованы, но это уже естественная трудность существования и развития культуры, а не отсутствие свободы печати.

В 1968 году в Париже некоторые писатели создали комитет по защите свободы печати. В него, в частности, вошли Луи Арагон и Эльза Триоле. Я, наверно, никогда не узнаю, какую свободу должен был защищать этот комитет. Думаю, что и сами члены комитета сознавали это весьма смутно. И что это за свобода, которой Томасу Манну хватало, а Арагону не хватает? Не хотят ли они добиться полной, в том числе и материальной, независимости от читателя, от того, покупает или не покупает он наши книги? Согласен, что это далеко не всегда критерий, но тут уж ничего

не подделаешь. Это естественный риск, неотделимый от творчества. В СССР, например, писатели материально от читательского произвола защищены полностью: важно издаваться, а не читаться. Вряд ли стоит к этому стремиться. Мне иногда кажется, что в этом комитете, в том недовольстве, которое он выразил — разгадка многих побудительных причин интеллигентского энтузиазма. И тогда неудивительно, что всё это направлено против свободы.

Впрочем, создается ощущение, что все подрывающие свободу считают, что свобода всё равно будет жить, сколько её ни подрывай. Видимо, живя всю жизнь в условиях свободы, эти люди представить себе не могут, что может быть и иначе. Они забывают, что в человечестве всегда есть люди, которые неспособны выдвинуться иначе (а выдвинуться жаждут), как через абсолютную и бесконтрольную власть, ибо способны только властвовать. Когда общество функционирует нормально, они подавлены (и даже не подозревают, что они — это они), но если представляется случай, они тут же берут реванш. Они есть во всех лагерях и на всех уровнях, и их надо беречься, как вообще следует беречься лиц с преступными наклонностями. Правда, сегодня в свободном мире наблюдается обратная тенденция. Этот мир (в лице своей псевдоэлиты) больше склоняется к тому, чтоб беречь подлинных преступников, чем беречься таких — потенциальных.

Пусть меня простят передовые люди, но я полон глубокого уважения и бережного отношения к традиционной «буржуазной» — другой не бывает, — свободе и к обыкновенным принципам законности, на которых она покоится. И то, и другое — высокие и важные достижения человечества, социальные и духовные. И то, и другое бывало и есть не всегда и не везде, и того, и другого может и не быть нигде.

И никакого уважения не вызывают у меня те за-

падные студенты, которые в пароксизме внезапного свободолюбия избивали полицию и отвечали бабьим визгом: «Убивают!», когда полиция прибегала к ответным действиям. Как никакого уважения не вызвал даже у русских народовольцев (террористов) человек, застреливший американского президента во второй половине девятнадцатого века. Они справедливо считали, что у американцев тогда были вполне законные способы выразить своё отношение к вещам. Это очень непривычно для русского интеллигента, но я считаю, что в 1968 году американская полиция имела гораздо больше отношения к демократии, чем многие американские студенты. И даже их профессора.

Мне вообще кажется, что противопоставление: «свобода — власть» (чем сильнее власть, тем меньше свободы) — вообще не выдерживает критики. Мне кажется, что свобода вообще немыслима без власти и государства, что наибольшая свобода бывает не без государства, а под защитой государства, если это государство — свободное. Только оно может пресекать различные поползновения частных лиц против свободы и достоинства других людей. Только оно может следить за соблюдением закона, без которого свобода вообще немыслима. Свобода вообще существует до тех пор, пока существует уважение к закону. В противном случае общество начинает поддерживать правопорядок иными средствами. И оно находит эти средства (или разваливается), ибо интересы большинства людей, интересы обывателя требуют прежде всего правопорядка. Политика — не искусство, в ней невозможно игнорировать эти интересы. За свободу безопасно сидеть в своем доме и ходить по своим улицам обыватель отдаст любую свободу. И призовет на помощь кого угодно, включая штурмовиков. Не надо доводить его до этого... Ох, не надо... Виноват в этом будет не он.

(Продолжение следует)

Восточноевропейский диалог

Збигнев Стыпулковский

«ПРИГЛАШЕНИЕ» В МОСКВУ

Вторая мировая война приближалась к концу. Перед польским подпольным движением встала ответственной задачей: возглавить народ. Вражеские армии, насчитывающие миллионы солдат, двигались через страну: отступающие немцы жгли и разрушали все на своем пути; Красная армия беспощадно грабила все, что попадалось под руку. В глубокую зиму гражданское население беспорядочными толпами бродило по шоссе и полевым дорогам, в отчаянных поисках — как в наши дни вьетнамцы — безопасности и средств к существованию. Красные солдаты вели себя как в завоеванной стране, грабя и насилуя.

Польская Армия Крайова, подчиненная законному правительству страны, находившемуся в Лондоне, оказала советским войскам тактическую помощь в борьбе с немцами. Когда бои закончились, соединения АК были окружены, разоружены, солдаты высланы в глубь СССР. Решения Ялтинской конференции, опубликованные в феврале 1945 г., разрушили последние иллюзии относительно политической помощи Запада Польше.

И в этот момент советские власти совершили одно из коварнейших преступлений в мировой истории. Автором хитроумного плана был генерал Серов, сменивший позднее Берия на посту шефа НКВД. 6 марта 1945 года гвардии полковник Пименов направил представителю польского лондонского правительства в Польше письмо, предлагая организовать встречу между руководителями подполья и генерал-полковником Ива-

новым, представителем советского командования на польском фронте. Пименов предлагал «в атмосфере взаимного понимания и доверия принять решения, касающиеся некоторых важных проблем, прежде чем они примут острый характер». Полковник гарантировал честью офицера гвардии личную безопасность польских представителей.

Встреча такого рода между командованием иностранной армии и представителями правительства страны, в которой армия находится, соответствовала нормам, регулирующим поведение оккупационных войск, санкционированным международными договорами и обычаями, хотя польские руководители и должны были учесть скрытый смысл приглашения.

Польское правительство в Лондоне предупреждало руководителей подполья о необходимости величайшей осторожности, напоминало об опасности излишнего доверия советским властям, но в то же время сообщило, что правительства Великобритании и США выражают надежду на принятие приглашения. Западным правительствам казалось, что речь идет не только о сохранении независимости Польши, но также о сохранении нации от биологического истребления.

В основном под нажимом Запада польские руководители подполья приняли советское приглашение. Если бы они отказались, то нет сомнения, как представляли бы это десятки лет историки и политологи, вроде небезызвестного профессора Тойнби: Сталин, мол, предложил переговоры, а «безрассудные» поляки отказались. Пусть же они сами на себя и пеняют.

Неофициальные предварительные переговоры велись между 17 и 27 марта. Польских представителей встретил в лесу советский офицер и проводил в штаб. После переговоров они должны были быть отведены на место встречи и снова скрыться. Представители советских властей объяснили, что в ходе переговоров они хотели бы добиться помощи в деле обеспечения

порядка и безопасности в тылах советской армии, готовящейся к решительному наступлению на Германию. Люблинское правительство — марионеточный режим, сформированный Москвой, чтобы занять место законного правительства, — было, по словам советских представителей, неспособно обеспечить безопасность в тылах и не имело достаточной опоры в народе. Поэтому-де советские власти решили связаться с руководителями подполья и просить их использовать свой авторитет для наведения порядка на «освобожденной» польской территории.

В результате предварительных переговоров было достигнуто соглашение относительно того, что до начала официальных переговоров делегация подпольных руководителей отправится в Лондон для консультации с польским правительством и его союзниками. Консультация продлится не более недели. Советское командование предоставит самолет для перелета в Лондон через линию фронта. Прежде чем расстаться, офицеры, ведущие переговоры с советской стороны, пригласили польских представителей на завтрак, устроенный в их честь маршалом Жуковым. Это, объяснили советские дипломаты, успокоит польское общественное мнение, продемонстрирует, что отношения между Польшей и СССР являются предметом переговоров.

16 польских руководителей, представлявших демократические силы страны, приняли это приглашение на веру, но вместо завтрака у маршала Жукова все они оказались в печально знаменитой внутренней тюрьме НКВД на Лубянке и подверглись «промыванию мозгов» в ходе двухсот с лишним допросов. Подготовленные таким образом, они предстали в июне 1945 года перед Военной коллегией Верховного суда СССР, обвиненные в диверсионной деятельности в тылах Красной армии во время ее победоносного продвижения к границам фашистской Германии. Во время

допросов и в ходе процесса они были обвинены в том, что получали помощь для своей диверсионной деятельности от англичан и американцев. Представители польского подполья, люди, которые пять с половиной лет руководили неутомимой борьбой польского народа против нацистских захватчиков, были обвинены в шпионаже в пользу Германии и в совместных с ней действиях против СССР.

Арест и суд в Москве над польскими руководителями Сопротивления, согласившимися на переговоры с советскими властями по совету правительств Великобритании и США, считая себя в каком-то смысле под защитой этих правительств, был событием, имевшим большое международное значение. Оно — это событие — ясно показывало, в каком направлении будет складываться послевоенное положение и разоблачало бессмысленность надежд на сохранение мира путем лояльного сотрудничества с СССР. На Западе прокатилась волна возмущения: парламенты принимали резолюции протеста, правительства направляли в Москву ноты с требованием ответить, что случилось с польскими делегатами. Министр иностранных дел Великобритании Иден даже прервал переговоры в Сан-Франциско, посвященные созданию ООН, когда Молотов, 4 мая, впервые признал, что польские «диверсанты», как он выразился, арестованы.

Несколько недель спустя, после вынесения приговора, западное общественное мнение изменило тон: никто из поляков не был осужден на смерть, трое были даже оправданы, а остальные могли всегда надеяться на амнистию. Все обвиняемые — за единственным исключением* — признали себя виновными в саботаже «в какой-то степени». Это признание, — писала 22 июня газета «Таймс», — «не удивило тех, кто с

* Не признал себя виновным автор статьи Збигнев Стыпулковский. — Прим. пер.

беспокойством следил за антисоветской деятельностью польских агентов в последние двенадцать месяцев».

Запад снова начал обольщать себя иллюзией о предстоящей демократизации СССР. Особые надежды возлагались на подписанное Сталиным во время процесса 16 соглашение о создании «Временного польского правительства национального единства». По мнению лондонской «Дейли ньюс», соглашение предвещало решение после войны всех проблем Восточной Европы.

Тем не менее, похищение лидеров союзной страны было слишком сильным шоком, чтобы он не оставил прочного следа в международных отношениях. О советском преступлении вспоминали, когда проходили процессы в Болгарии, Чехословакии, Венгрии. В 1950 году я принял участие в большой передаче, которую Би-Би-Си посвятила процессу шестнадцати. Присутствовали также эксперты-психиатры, врачи, юристы, специалисты по международному праву. Эта программа, а также моя книга «Приглашение в Москву», вышедшая на нескольких языках, устранила все сомнения относительно методов, с помощью которых в Советском Союзе добиваются признаний от невинных жертв.

Идут годы. Обилие международных событий, быстрота, с какой они сменяются, погрузили в забвение судьбу жертв советского предательства. Рядовой человек на Западе полагает, что если кого-либо признали во время открытого процесса виновным, он отбывает свой срок и возвращается домой. Но когда пришел март 1955 года, генерал Окулицкий, осужденный на 10 лет, в Польшу не вернулся. Не вернулся и заместитель премьер-министра Янковский, закончивший свой срок двумя годами раньше. Не вернулись Ясюкевич, Пайдак и Бень, срок которых истек в марте 1950 года. Отчаянные старания семей узнать что-либо об их судьбе остались бесплодными. В первый год после процесса пришло два-три письма — и это было все.

В 1955 году был организован Комитет действия в защиту заключенных польских лидеров под моим председательством. В его состав вошли бывший командующий польскими вооруженными силами на Западе генерал Андерс, бывший глава польского правительства в Лондоне Томаш Арцишевский, бывший польский посол в Лондоне граф Рачинский, бывший командующий АК генерал Бур-Комаровский. Деятельность Комитета, поддержанная польскими эмигрантами, рассеянными по всему миру, привлекла живейшее внимание западных парламентов, представителей мировой интеллигенции. В защиту заключенных выступил премьер Канады, лауреат Нобелевской премии мира Лестер Пирсон. 21 апреля 1955 года правительство США обратилось с нотой к советскому и варшавскому правительствам, напомнив о своем интересе и озабоченности судьбой польских лидеров, проявляемом начиная с конференции в Сан-Франциско, и настаивая на предоставлении информации о судьбе тех заключенных, которые еще не были освобождены. Иден, отвечая на запрос английских парламентариев, заявил, что правительство Великобритании озабочено этой проблемой и представит свои взгляды Москве и Варшаве в такое время и таким образом, когда это будет иметь наибольшие шансы на успех.

Москва не отвечала. Варшавское правительство ограничилось радиокomentarием 6 мая 1955 года. В комментарии сообщалось, что Государственный департамент выкопал дело десятилетней давности из архивов в надежде использовать опыт генерала Окулицкого для создания особых частей, финансируемых США, которые в составе будущего вермахта могли бы вести диверсионную деятельность на польской территории. Нота США, — заключило варшавское радио, — имеет целью ослабление международного эффекта, произведенного недавними советскими предложениями по австрийскому вопросу...

Год спустя, 8 июня 1956 года, шведский Красный Крест получил по почте письмо от московского Красного Креста. В письме сообщалось, что Леопольд Окулицкий, отбывая срок, умер от сердечного паралича 24 декабря 1946 года. Его тело было кремировано. В письме добавлялось, что Ян-Станислав Янковский, отбывая срок, умер 13 марта 1953 года.

Из всех польских заключенных Окулицкий был в самом лучшем физическом состоянии. В 1946 г. ему было 48 лет. Сегодня мы знаем, что в 1946 году Сталин приказал ликвидировать в лагерях десятки тысяч заключенных. Что касается Янковского, то он, если верить письму, умер через две недели после конца срока.

Как было в действительности? Никто не знает. Письмо московского Красного Креста было единственным ответом на протесты мирового общественного мнения, требовавшего информации о судьбе двух выдающихся польских деятелей, осужденных советским судом и находившихся в руках советских властей.

В письме Красного Креста говорилось, что о судьбе других заключенных информации нет. Среди этих «других» был Станислав Ясюкевич, приговоренный к пяти годам, но никогда не возвратившийся в Польшу. В октябре 1955 года британский Красный Крест вторично запросил Москву. Через два года был получен ответ: в Советском Союзе следов Ясюкевича не обнаружено. 31 декабря 1956 года варшавская радиостанция «Край» передала наглуемую ложь о том, что Ясюкевич якобы вернулся в Польшу в 1945 г. и умер несколько лет спустя. Таким образом, судьба бывшего узника гитлеровских лагерей, одного из руководителей польского подполья останется, видимо, навсегда советским секретом.

Судьба вернувшихся на родину была не менее трагичной. Дело Антони Пайдака было выделено из процесса. Он был приговорен Особым совещанием

НКВД к пяти годам заключения. В лагере срок был удвоен, но и после окончания десятилетнего срока он не был освобожден. Лишь в августе 1955 года, через десять с половиной лет, под натиском Запада, ему было разрешено вернуться в Польшу. Пока Пайдак сидел в советских лагерях, польское НКВД — УБ — в ноябре 1947 года арестовало его жену. В феврале 1948 года на Западе стало известно, что она выпала из окна третьего этажа краковской тюрьмы и разбилась насмерть. Официальная версия гласила — самоубийство.

Казимеж Кобыляньский, представитель Национальной партии, был оправдан московским судом. Вернувшись в Польшу, он был арестован и осужден на долголетнее заключение. Освобождение пришло только в период «оттепели» — в 1956 году. Станислав Межва (Крестьянская партия) был осужден на 10 лет во время так называемого Краковского процесса. Другой крестьянский деятель — Казимеж Багиньский — был арестован, по возвращении в Польшу, 11 ноября 1946 года и осужден на восемь лет. Юзеф Штемлер, узник гитлеровцев, был оправдан в Москве, по возвращении в Польшу работал представителем Совета поляков Америки в Красном Кресте. Арестованный УБ, был освобожден только в 1956 году. Казимеж Пузьяк, лидер социалистической партии, впервые познакомился с русской тюрьмой в 1911 году: приговоренный к 8 годам каторги, он 6 лет провел в Шлиссельбургской крепости. В Москве в 1945 году он был осужден на полтора года. Арестованный в Польше в 1947 г., осужденный на 10 лет, умер в тюрьме в 1950 году.

Остальные — из числа похищенных польских деятелей — умерли по возвращении на родину от прямых или косвенных последствий пребывания в советских, а нередко (до этого) в гитлеровских — тюрьмах, умерли до того, как их успели арестовать органы безопасности «народной Польши».

Польский поэт Циприан Норвид сказал однажды:

«Прошлое — это настоящее, только чуть отдаленное». Судьба шестнадцати польских руководителей Сопротивления приближает нас к тому, что может казаться далеким прошлым, но что позволяет нам понять происходящее сегодня и — быть может — окутанное мглой будущее.

СТЫПУЛКОВСКИЙ Збигнев — родился в 1904 году. По образованию — юрист. Был депутатом польского парламента, членом национал-демократической партии. В 1944 году принимал участие в Варшавском восстании. Вместе с другими руководителями Польского Сопротивления, приглашенный на переговоры с советскими властями, был арестован и приговорен к длительному тюремному заключению. В настоящее время живет в Лондоне.

«ИНДЕКС»

(на английском языке)

Журнал по вопросам цензуры

№. 2, 1976 г.

В номере:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Андрей Сахаров: | Мир, Прогресс и Права Человека
(Текст Нобелевской лекции) |
| Артур Миллер: | После Хельсинки... |
| Фредерик Хант: | Русские абсурдистские поэты |
| Вера Хытилова
(Чехословакия): | Хочу работать |
| Джеймс Айвори: | Голливуд против Голливуда |
| Д-р Шила Кэссиди: | Как меня пытали в Чили |
| Надин Гордимер
(Южная Африка): | Свобода писателя |
| Паул Гома: | Обращение в защиту румынского
писателя Танасе |
| Джин Ситон и
Бэн Пимлотт: | «Увольнение цензора» — радио-
и телевещание в Португалии с
апреля 1974 г. |
| М. С. Джонсон и
А. С. Виноград: | Генрих Бёлль под цензорским
карандашом |

Адрес редакции: 21 Russell St., London, WC2B 5HP

Годовая подписка: 5 ф. ст. (14 долл. США) за 4 номера

Заказы на подписку направлять:

Oxford University Press, Journals Dept.
Press Rd., London NW 10 Odd., England

В США и Канаде журнал распространяется по книжным
магазинам издательства Рэндом Хаус Инк., Нью-Йорк.
Random House Inc., New York.

Запад — Восток

Карл-Густав Штрём

ДВА ПОРТРЕТА ИЗ ЮГОСЛАВИИ

*Любая война проклята —
и освободительная тоже.*

Э. Коцбек

ЭДВАРД КОЦБЕК

Между словенским философом, писателем, католиком Эдвардом Коцбеком и югославскими коммунистами возникли крупные разногласия. Они вышли за



пределы Югославии, и в них, среди прочих, принял участие и немецкий лауреат Нобелевской премии по литературе Генрих Бёлль, уже долгие годы поддерживающий с Коцбеком дружеские отношения.

Конфликт с Коцбеком возник из-за особого положения, которое занимает в мире нынешняя коммунистическая Югославия, и необычных условий, в которых живет в этой стране словенский народ.

Когда 24 сентября 1974 года Коцбеку исполнилось 70 лет, то об этом ни журналы, ни другие средства массовой информации Югославии и Республики Словении даже не упомянули, несмотря на то, что юбиляр — не только один из наиболее выдающихся поэтов и мыслителей нынешней Словении, но во время второй мировой войны играл также немаловажную роль в словенском Освободительном фронте (Osvobodilna

fronta) и в партизанском движении, возглавлявшемся Тито. Вскоре после окончания второй мировой войны Коцбек — католик и «христианский социалист», бывший союзником коммунистов в партизанской борьбе — был назначен министром культуры Югославской федерации. А в начале пятидесятых годов — после опубликования книги своих военных дневников «Товарищество» («Tovarišija») и сборника рассказов «Страх и мужество» («Strah in rogun»), Коцбек был снят со всех занимаемых им должностей и на публикацию его произведений был наложен запрет, продолжавшийся до середины шестидесятых годов, когда во время наступившей «оттепели» он смог напечатать кое-что из своего литературного творчества; область политики осталась для него под запретом.

Однако и в период относительной либерализации положение Коцбека в коммунистической Югославии было нелегким. Журнал «Пространство и время» («Prostor in čas»), который он начал издавать, вскоре закрыли. Номер словенского журнала «Проблемы» («Problemi»), где было напечатано стихотворение молодого словенского поэта Томажа Шаламуна, посвященное семидесятилетию Коцбека, был конфискован, а всю редакционную коллегию сменили. В своем стихотворении Шаламун писал, что сегодня он понял, «кто в большей мере, чем остальные, творец нашей свободы». Этой фразой он определил Коцбеку в истории Словении совсем не то место, которое ему назначили коммунисты.

Если одним из слагаемых «дела», созданного вокруг Коцбека, была принята в официальной коммунистической печати «фигура умолчания» по политическим причинам, то второе слагаемое носило, так сказать, объективный характер. Дело в том, что часть словенцев проживает за границами Югославии — как национальные меньшинства в Италии (Словенское приморье в районе Триест — Горица) и в Австрии (Каринтия).

Таким образом словенцы — единственный из всех славянских народов, по чьей территории проходит граница между однопартийной коммунистической и многопартийной демократической системами.

И вот — выходящий в Триесте словенский журнал «Залив» сказал то, о чем умолчали в Любляне. Под заголовком «Эдвард Коцбек, свидетель нашего времени»* два словенских публициста, Борис Пахор и Алойз Ребула, опубликовали юбилейный сборник о поэте, философе и «католическом партизане» Коцбеке. Тут же было опубликовано интервью, данное Эдвардом Коцбеком Борису Пахору во время их совместного пребывания в югославском приморском городе Опатия. На вопрос, почему югославский режим начал его снова преследовать, словенский философ ответил:

«Причины возобновления преследований мне неизвестны. Скорее всего, они связаны с новыми внешними и внутренними трудностями режима».

В этом интервью Коцбек рассказал, как словенский Освободительный фронт, вначале представлявший собою коалицию из коммунистов, христианских социалистов и Соколов**, был во время войны узурпирован коммунистами. Коцбек, шедший на тесное сотрудничество с коммунистами и требовавший в будущей Югославии для христианских социалистов только лишь «культурной автономии», во время войны на горьком опыте познал, что такое коммунистическое стремление к власти. Всего лишь несколько месяцев

* «Edvard Kocbek, pričevalec našega časa». Zaliv. Kosovelova Knjižnica. Trst 1975.

** Сокол — физкультурно-национальная всеславянская организация, основанная в 1863 году в Праге Мирославом Тыршем (1832 — 1884 гг.), представляла собой до первой мировой войны славянское оппозиционное движение против национальной политики Австро-Венгрии. Между первой и второй мировыми войнами существовала как спортивное и патриотическое объединение. В Югославии сокольским Старостой был король.

тому назад Эдвард Кардель*, нынешний заместитель Тито, бросил Коцбеку обвинение, что тот уже во время войны стремился к «плюралистическому» порядку в Словении, являющемуся, с коммунистической точки зрения, смертным грехом. По этому поводу Коцбек сказал в своем интервью:

«От наших вооруженных сил и от населения мы слышали жалобы, что партийцы изо всех сил рвутся занять место фактических руководителей... Применяя давление, партия предложила нам и Соколам сделать общее заявление, которое — если бы мы на это пошли — означало бы формальное и фактическое предоставление компартии руководящей роли в Освободительном фронте. Этим актом Освободительный фронт превращался из стихийного народного движения в политическую акцию одной партии. Свободой действия обладала после этого только одна компартия».

Коцбек, бывший одним из руководителей словенских «христианских социалистов», был готов признать марксизм-ленинизм как «социально-политический метод для стратегии и тактики освободительной борьбы» против национал-социалистической гитлеровской Германии, которая угрожала малому словенскому народу геноцидом (к 1941 году словенцев было примерно полтора миллиона). Словенский католик Коцбек еще до второй мировой войны высказал свои симпатии к республиканской Испании. Освободительный фронт, одним из создателей которого он стал, был организацией, в которой, по его свидетельству, не существовало политической дискриминации. До тех пор, пока комму-

* Эдвард Кардель, род. 1910 г., ведущий руководитель компартии Словении, в настоящее время член Президиума Союза Коммунистов Югославии, непосредственный сотрудник, личный друг Тито и один из возможных его наследников. Кардель — словенец по национальности — в 1941 году был одним из создателей Освободительного фронта, затем — член Верховного штаба партизанского и народно-освободительного движения Югославии. В настоящее время — один из ведущих идеологов югославского коммунизма.

нистическая партия силой не навязала там свою власть. После этого «начал царствовать безгласный террор», свидетельствует сегодня Коцбек.

В начале интервью Коцбек рассказал, чего ожидали он и его единомышленники от Освободительного фронта: прежде всего — объединения словенцев для «организованного и вооруженного сопротивления» и подготовки их для освобождения — как политического, так и духовного.

Надежды, возлагавшиеся на Освободительный фронт некоммунистами и Коцбеком, — не осуществились. «Левый» католик Коцбек вошел в конфликт с коммунистической партией, о которой он в своем интервью говорит следующее:

«Словенская компартия не была независимой — ни в формальном, организационном смысле, ни по своему самосознанию. Ее руководство отчитывалось перед центром, который находился вне рядов словенской партии и вне границ независимой Словении, которую тогда представлял Освободительный фронт. Необъяснимым образом партия одно время подчинялась двум высшим инстанциям, Освободительному фронту и Верховному штабу, то есть ЦК югославской компартии. Развитие событий показало, что словенская компартия не была в первую очередь занята защитой словенских интересов».

Словенский Освободительный фронт был во время второй мировой войны как бы «чужеродным телом» в общегосударственном движении, говорит Коцбек. В других частях Югославии, вне границ Словении, главную роль играло «неполитическое повстанческое движение». Коцбек утверждает, что коммунистическая партия состояла из «незрелых, воспитанных в сталинистском духе кадров», а потому была неспособна обращаться непосредственно к народу и приобрести симпатии широких масс. Коцбек сегодня рассказывает о том все ухудшавшемся положении по отношению к

его коммунистическим соратникам, в котором он оказался во время войны:

«С того момента, как Кардель понял, что не сможет манипулировать мною по своему желанию, он начал в угрожающем тоне пророчествовать мне, что я с моим гуманистическим пониманием революции должен буду непременно стать центром, вокруг которого сгруппируются силы реакции, как бы я ни старался избежать этой судьбы. «Хотя парень ты и хороший, но с объективной точки зрения, ты опасен». Эта фраза стала неотъемлемой частью партизанского юмора...»

Не для того он порвал с одним клерикализмом, католическим, — добавляет Коцбек, — чтобы попасть в зависимость от другого клерикализма, коммунистического.

Верующий словенский философ и поэт рассказывает далее, что некоммунистические силы Словении бросили призыв к борьбе против немецких и итальянских оккупантов задолго до коммунистов. Вот как он описывает положение в Словении после нападения немцев на Югославию (6 апреля 1941 г.):

«Консервативная часть католиков решила идти на сотрудничество с оккупантами или прозябать, ожидая помощи извне. Коммунисты тоже вели себя смиренно... Они пребывали в состоянии глубокого шока. Все свои надежды они возлагали на Советский Союз, а тот вдруг заключил пакт о ненападении с Гитлером в 1939 году, а потом, в 1940 году, напал без объявления войны на маленькую Финляндию, да еще вдобавок потерпел неудачу. Общества друзей Советского Союза были тоже парализованы. Только после 22 июня 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз, словенские коммунисты снова начали проявлять активность».

В своем интервью Коцбек поднял также проблему, которую в современной Югославии предпочитают обходить молчанием, — он напомнил, что коммунистические партизанские действия вызвали противодействие

народа и повлекли за собой создание антикоммунистических словенских вооруженных сил, так называемых домобранцев (Домобранци). Коммунисты окрестили их «белогвардейцами» по ассоциации с гражданской войной в России. Хотя Коцбек и был на стороне красных, хотя лично для себя он от словенских «белогвардейцев» не мог бы ожидать ничего хорошего, он был потрясен, узнав после окончания войны, что около 12 000 этих антикоммунистов-католиков были расстреляны партизанами без суда и следствия*. На вопрос, когда именно он узнал о кровавой бане, устроенной над домобранцами, Коцбек отвечает:

«Довольно поздно, летом 1946 года, когда я со своей семьей вернулся в Белград. Я в эти слухи сначала просто не мог поверить. Я стал проверять источники. В то время все пути к правде были наглухо перекрыты, даже большинство коммунистов об этом ничего не знали, не говоря уже об остальных гражданах».

Кто-то опустил в почтовый ящик Коцбека запись рассказа одного человека, чудом уцелевшего во время массового расстрела. После этого Коцбек потребовал встречи с представителями ЦК компартии Словении. Он заявил коммунистам, что вынужден будет подать в отставку и сложит с себя все звания, если сведения о расстрелах подтвердятся.

Об этом Коцбек рассказывает следующее:

«Встреча с представителями ЦК состоялась 4 октября 1946 года и продолжалась два дня; в первый день разговор шел о невыносимом положении крестьян, о давлении на Церковь и духовенство, и только на

* Домобранцы вместе с югославскими добровольцами-антикоммунистами и военнослужащими хорватских подразделений были выданы англичанами одновременно и из тех же районов Австрии, откуда были выданы Советскому Союзу казаки Домановской дивизии. Расстрелами распорядился командир титовской Первой пролетарской дивизии Коча Попович, впоследствии — министр иностранных дел Югославии. Расстреливали вблизи городка Кочевье.

второй день заговорили о домобранцах. Я сказал им, что хочу получить четкий и откровенный ответ о судьбе домобранцев, которых им выдали англичане как военнопленных, и от этого ответа зависит мое дальнейшее сотрудничество с ними... Все участники встречи упорно и многословно заверяли меня, что у меня неверная информация, что домобранцы находятся в лагерях для перевоспитания и лишь их руководители будут подвергнуты заслуженной каре. После того, как они все это высказали и заметили мое облегчение, они затеяли со мной изощренную игру — начали свысока подтрунивать надо мной, говоря, что, очевидно, я был бы обрадован больше всех, если бы домобранцев на самом деле расстреляли: по всему видно, что тебе этого очень хочется... И действительно, я начал испытывать стыд, слушая их ответы — ответы без запинки и без тени противоречий — и благодарил Бога за то, что Он избавил меня от такой моральной тяжести».

Однако вскоре после этого слухи о расстреле домобранцев начали все более усиливаться, — «теперь у меня были даже личные отчеты тех, кто спасся из этого ада». Коцбек снова намеревается уйти — но наступает 1948 год, а с ним «неожиданное заявление Коминформа, которое поставило под удар само существование Югославии и помешало тогда моей отставке; уходить в таких условиях было бы нечестно и я решил дожидаться более подходящего момента». Однако теперь его опередили коммунисты: «Они понимали, что долго скрывать от меня правду не смогут и решили не ждать моей отставки, а просто заранее избавиться от меня».

Против Коцбека организовали «демонстрации» и травлю. После того, как он опубликовал упомянутые уже книги «Товарищество» и «Страх и мужество», два наиболее выдающихся словенских коммуниста, Кар-

дель и Кидрич* атаковали его за «слишком большую свободу высказываний». Коцбек согрешил против действовавших тогда еще в Югославии «законов социалистического реализма». Затем последовало десятилетие «одиначества» в собственной стране — время, когда Коцбеку было запрещено печататься.

Чего он сегодня добивается и почему в своем интервью упомянул именно темные стороны словенского прошлого, — эти вопросы Коцбек также затронул в своем разговоре с Борисом Пахором. Он сказал, что ужасную судьбу домобранцев нужно перенести из подавленных, запуганных слоев сознания в «сознание ясное и бесстрашное».

«Люди, несущие за это ответственность, — сказал он, — должны разъяснить нам, почему Освободительное движение испытывало такой позорный страх перед внутренним врагом? Они должны разъяснить нам, как возможно отделять ответственность перед историей от ответственности перед людьми?».

Коцбек говорит о необходимости «открыто признать вину, которая лежит на всех нас». Без признания «нашего греха, нашего великого греха» у словенцев не может быть «чистого и ясного будущего».

Это моральное требование Коцбека в 1975 году натолкнулось на возмущение коммунистов. Утверждали, что он вовсе не основатель Освободительного фронта (хотя на одной из фотографий тех лет он стоит непосредственно рядом с Тито). Одновременно говорили, что Коцбек хотел бы реабилитировать «белогвар-

* *Борис Кидрич* (1912—1953 гг.), ведущий руководитель компартии Югославии, словенец. Перед второй мировой войной — секретарь КПЮ Словении. С 1940 г. — член ЦК КПЮ. Один из основателей и политсекретарь Освободительного фронта в 1941 г. Делегат словенской делегации на Антифашистском Вече народно-освободительного движения Югославии в Яйце (Босния) в 1943 г. С 1945 г. — председатель правительства Республики Словении. С 1946 г. — министр промышленности Югославии, председатель экономического совета и председатель плановой комиссии. С 1948 г. — член Политбюро КПЮ.

дейцев» и «реакционеров». Однако никто не оспаривал главного, о чем говорил Коцбек, — страшной судьбы домобранцев; это было просто обойдено молчанием.

Тут-то и выявилось основное непонимание — или сознательная лживая интерпретация. Ведь Коцбек поднимал вопрос о расстреле коммунистами после окончания мировой и гражданской войны тысяч антикоммунистов вовсе не для того, чтобы доказать политическую правоту последних, а во имя морального долга. Потому что если бы даже из этих двенадцати тысяч расстрелянных были виновны все, кроме одного, то и тогда этот единственный человек был бы излишней и неоправданной жертвой.

Коцбек сумел сохранить способность мыслить не массовыми категориями и выносить суждения дифференцированно, не забывая о главном. Уже 15 сентября 1943 года, то есть в разгаре войны, он сделал в своем дневнике запись о «белогвардейцах», чью судьбу тогда еще нельзя было предугадать:

«Какая трагедия! Какую пользу может принести жесткая дисциплина, напряженная воля, сильные руководящие личности, если основные идеи движения ложны? Я говорю о трагедии, потому что и у нас и у них есть порядочные здравомыслящие словенцы, но их моральная ценность не может проявиться, поскольку они ориентированы в ложном направлении. Можно просто плакать над грехом этих белогвардейских вождей. Сколько трагедий произошло в наших крестьянских дворах по их вине, и сколько еще произойдет...»

Христианин и словенский патриот оплакивает судьбу своих политических противников, потому что они словенцы, потому что гражданская война, которая разгорелась в то время в Словении между белыми и красными, параллельно с партизанской борьбой против итальянцев и немцев, была для самого существования словенского народа не менее опасной, чем политика геноцида Третьего Рейха.

В другом месте своих военных дневников Коцбек говорит о трагическом положении молодых словенцев во время второй мировой войны: одни из них вынуждены сражаться как солдаты вермахта, другие — в итальянской армии, третьи — в армиях союзников, четвертые — в партизанах, а пятые — в рядах антикоммунистических домобранцев.

Уже в то время, когда он был в партизанах, Коцбек понимал, что для христианина в этом мире нет ничего абсолютно совершенного. В одном из своих разговоров с коммунистическим лидером Борисом Кидричем он сказал тогда:

«Суть христианства в любви, а не в справедливости. Жаль, что вы, коммунисты, не занимались более интенсивно вопросами справедливости, которая гораздо прагматичнее правды. Потому что невозможно добиться относительной справедливости при помощи абсолютной правды».

Земляк Коцбека, живущий на Западе публицист Лев Детела, охарактеризовал Коцбека, вероятно, наиболее точно, утверждая, что этот человек — не непреклонный борец, порожденный марксистскими идеями XIX века, что его дух не замкнулся от мира и он, в отличие от своих бывших левых товарищей — и нынешних врагов — коммунистов, «воздерживается от каких бы то ни было обобщений и стрижки всех под одну гребенку».

В произведениях Коцбека мы напрасно искали бы взрывы ненависти или ложный пафос. Коцбек избегает также пламенных обвинительных речей — он скорее ставит озабоченные вопросы; во всяком случае, он человек, знающий, что жизнь состоит не только из белого и черного или белого и красного. Уже упомянутому коммунистическому другу по оружию и противнику по духу Борису Кидричу католический партизан Коцбек сказал:

«Чувство своей вины — вот где для верующего христианина источник желания улучшить и изменить мир, потому что несовершенство можно на какое-то время сделать более сносным, но устранить его окончательно невозможно. Разве ты уверен, что наша словенская революция окончательно освободит наших людей? Нет, и наша революция когда-нибудь дегенерирует...»

Несмотря на то, что он долгое время вращался в политике, Коцбек на самом деле не политик, а поэт и философ. Но, вероятно, именно в этом и есть его главное значение — для его народа и для Европы. В другом интервью, которое он дал по поводу своего 65-летия в 1969 году загребскому хорватскому культурно-политическому журналу «Телеграм» — во время волны либерализации в Югославии, — он сказал:

«Мы должны будем отказаться от представления о мире как арене великих противоречий, о мире, в котором царствует фальшивый технократический оптимизм. Мы должны распрощаться с одряхлевшим марксизмом и несовершенным социализмом, мы должны отказаться от все усиливающегося институционализма и от все расширяющегося манипулирования. Мы должны распрощаться с миром уродливых человеческих взаимоотношений и обнаженной духовной жизни, выбраться из бездонной пропасти, образовавшейся между общественными кастами и осиротевшим народом. Мы должны отказаться от конформизма массовых средств информации, от сексуальной тотальности, разрушить незаконный брак между партийным и церковным клерикализмом, покинуть безжизненный заповедник культуры, отбросить бессильное соглашательство и скудость национального самосознания».

О своей собственной позиции Коцбек сказал тогда: «Тот, кто постигает границы своих собственных возможностей, познает, что единственный подлинный

источник гуманности — внутреннее беспокойство. Это беспокойство не может быть вытеснено ничем другим, ни ненавистью, ни любовью. По интенсивности нашего внутреннего беспокойства можно определять нашу человечность. Беспокойство пронизывает все искусство, все переживаемое, всю мысль. Кто не ощущает в себе этого беспокойства, тот не человек, тот мертв».

Это внутреннее беспокойство, которое и есть отличительная черта христианства — вспомним о «беспокойном сердце» блаженного Августина, — помогло Коцбеку сохранить «диалектическое» отношение к коммунизму, вместе с которым он когда-то был по одну и ту же сторону баррикад, но отождествить с которым себя, однако, никогда не мог. В своих военных дневниках* он писал:

«И снова я вынужден сам себе признаться, что я так и не могу до конца присоединиться к партизанам... Для того, чтобы разрешить общественные проблемы, человечество нуждается в открытом методе, а не в закрытой, законченной, единственно допускаемой системе. Сегодня нам необходим диалектический метод, с помощью которого возможно установить равновесие между жизненными противоречиями. Нам не нужны образцовые абстракции, потому что они слишком легко превращаются в абсолюты и насилуют природу, историю и людей. С помощью абстрактных категорий нельзя ни охватить жизнь, ни овладеть ею...»

Коммунисты и немалое число иных левых радикалов придерживаются другого мнения. Но и здесь в левом католике Коцбеке, восставшем против традиционализма своей церкви, втянутом в орбиту социальных проблем, побеждает сила христианства: он не поддается соблазну рассматривать человека только как «автомат социологического детерминизма».

* Том II «Listina» («Грамота»), Любляна, 1967 г.

Эдварда Коцбека в последнее время неоднократно сравнивали с Солженицыным и русскими инакомыслящими. Это сравнение — несмотря на то, что обстановка в Югославии иная, чем в СССР, — во многом оправдано. Во всяком случае там, где это касается смелости суждений, моральной непреклонности и христианских основ жизни. С другой стороны, Коцбек — сын небольшого словенского народа — в отличие от русских и даже от своего земляка по Югославии черногорца Джиласа — человек Запада, сформировавшийся под влиянием католицизма и западных идей. Он родился в Нижней Штирии, то есть в области, которая, как и вся Словения, до 1918 года входила в состав Австро-Венгрии, и вырос на порубежье между славянами и германцами. Его суждения четки, однако лишены жесткого ригоризма. Он часто проявляет сочувствие даже к своим противникам.

Ярче всего это заметно при изучении позиции Коцбека по отношению к германцам — той силе, которая неоднократно угрожала самому существованию словенского народа, но с которой словенцы находились в непосредственной связи и в тесном соседстве.

«С одной стороны, баварцы, франки, зальцбургцы, бабенберги и габсбурги отняли у нас внешнюю свободу, — писал Коцбек в 1967 году в своих путевых заметках о Германии, — но с другой стороны, духовные течения в Германии помогли нам создать первые свидетельства о нашем народе, начиная с Фрейзингских памятников*, установления герцогства на Госпо-

* *Фрейзингские (Брижинские) фрагменты* (Brižinski odlomki) — записанные монахами молитвы на словенском языке (между 972 и 1039 гг.). Найдены во Фрейзингском монастыре, хранятся в Баварской государственной библиотеке.

светском поле (Цолльфельде)* и до катехизиса При-
можа Трубара** и начала словенской письменности.
Через них мы постигли культуру барокко и радость
жизни, романтику как основу национальной культуры,
общее образование как предпосылку включения сло-
венцев в жизнь культурного мира. Оба процесса отра-
жают кипение страстей и демонических сил, от кото-
рых страдает и сам немецкий народ и которые то ос-
вещают, то омрачают его собственный путь, вызывая
такие конфликты, которых не знал еще ни один ев-
ропейский народ. Без этой бурной немецкой судьбы не
было бы и судьбы словенской, без беспокойного гер-
манского гения не существовало бы, вероятно, и гения
словенского. Германские демоны и катастрофы были
и нашими удачами и неудачами, вспышки германского
духа освещали и наше небо, позволили нашему духу
познать собственные истоки, помогли ему восстать
против чуждых ему сил и против бесчеловечности.
Двадцать лет тому назад пангерманизм в опасном
экстазе произнес нам смертный приговор, но одновре-
менно побудил нас к самому упорному сопротивлению,
которое закончилось успешным освобождением. Меж-
ду немецким Голиафом и словенским Давидом созда-
лось самое опасное и одновременно освобождающе-
интимное диалектическое напряжение истории, духа,
ненависти и любви. Оно навсегда определило наши

* *Госпосветско поле* (Цолльфельд) в Каринтии между Целов-
цем (Клагенфурт) и Шентвидом на Глине (Ст. Файт ан дер Глан).
Там до сих пор находится каменный трон («Херцогштул»), где в
короткий период полусамостоятельности (750—820 гг.) вручалась
власть словенскому князю, находившемуся в вассальной зависимо-
сти у короля франков.

** *Примож Трубар* (Примус Трубер) (1508—1586 гг.), словен-
ский духовный писатель; будучи каноником в Любляне, примкнул
к протестантскому движению, сослан в Ротенбург об дер Таубер,
умер в Вестфалии. В 1550 г. написал катехизис на словенском языке,
переводил на словенский язык Новый Завет. Основатель словенской
письменности.

соседские отношения, и сегодня я ощущаю его всем сердцем».

Эти слова берут за живое. В них нет намерения что-то смягчить. Мы видим, что выдающийся словенец дает беспристрастную и справедливую оценку германскому духу. Но перенеся словенско-германский спор и, естественно, спор югославско-немецкий из области злободневной политики в область столетий исторического видения, Коцбек подсказывает способ разрешения проблемы тем, кто хочет его слушать. Заниматься не только самим собой, но видеть также и других — на христианском языке их называют ближними — вот в чем заключено подлинное величие. И у Коцбека есть это величие.

«Моя мысль, — сказал Эдвард Коцбек, которому 24 сентября 1975 года исполнился 71 год, — направлена не на знания, а на познание, не на уже известное, а на возможное, не на властвование, а на трагедию. Я спокоен и подготовлен, потому что дарованное существование и есть жизнь в ее чистейшем виде. На этом основано мое отношение к ближнему и надежда при мысли о смерти».

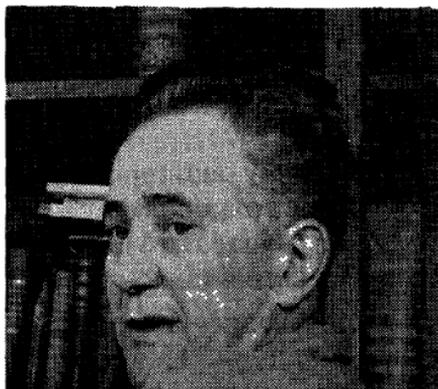
По окончании последних нападок и полемики вокруг имени Коцбека снова наступила тишина. Он живет, не занимая государственных постов и без официальных почестей, но среди своего народа, в главном городе Словении Любляне — великий словенец, югослав и европеец. Человек необычной судьбы и христианин.

МИЛОВАН ДЖИЛАС

«Приходите завтра в одиннадцать», — сказал мне Джилас, когда я позвонил ему и сообщил, что я в Белграде.

На следующий день утром я входил в его квартиру,

находящуюся в самом центре югославской столицы. Мне показалось, что в ней ничего не изменилось за эти два года, что я здесь не был. Изменился хозяин — за это время он совсем поседел. Но худошавая фигура его по-прежнему по юношески подвижна. И прежней осталась речь — молодая, порывистая. Согласны вы с ним или нет — вас не может не увлечь свежесть, непосредственность его речи... Джилас был революционером, политическим деятелем, достигшим самой вершины власти, потом — в течение многих, вероятно, лучших лет своей жизни — эком. И эта жизнь не перетерла в нем энергию и отзывчивость своему времени. Он знает, что жизнь куда сложнее, чем многие представления наших современников о ней.



«Если вы на Западе будете бороться, поймете всю серьезность вашего положения — вы спасены, — говорит Джилас. — Европа должна укрепить свою оборонную способность. А разве ее укрепляют такие диспуты между солдатами и офицерами в ФРГ на тему: «Кто лучше — Штраус или русские?»»

С председателем СПГ Вилли Брандтом Джилас согласен, что можно вести дискуссии с западноевропейскими коммунистами. Но действовать при этом следует разумно, четко и, естественно, не поступаться собственным мнением.

«Я писал в своей книге «Воспоминания революционера», что коммунисты — тоже люди, они так же, как и мы, подчиняются законам человеческого общества. Не нужно их ни производить в демоны, ни возвеличивать в существа какого-то высшего порядка».

Однако Джилас им дает очень различные оценки. Так, например, он относится с явным недоверием, почти с открытой антипатией к Марше и французским коммунистам.

«Они — ленинцы. Даже когда они ссорятся с Москвой, они сохраняют свою сталинскую сущность». В лучшем случае от Марше можно ожидать «румынскую форму» независимости.

Я замечаю: а югославские коммунисты? Они ведь тоже ленинцы. Нельзя ли в таком случае его отрицательную оценку французской компартии перенести и на югославскую?

Джилас возражает: «Нет, тут большая разница. У югославских коммунистов в руках — власть. Поэтому для них имеют большое значение тактические вопросы. Отсюда — обилие компромиссов. А французская компартия знает одну тактику — очень жесткую и довольно отрицательную для своей страны. Вот, хотя бы, ее тенденция к централизму!»

У итальянских коммунистов — все иначе, но и здесь надо ухо держать востро. «Сравните-ка двух покойных партийных вождей: Торез был сталинистом до кончиков ногтей. Пальмиро Тольятти был, если можно так выразиться, более эластичным, мягким, и даже в некотором смысле более здравым. Различные национальные особенности — и различные коммунистические партии».

А испанские коммунисты?

«Испанская компартия пережила жуткие времена, — говорит Джилас. — И до сих пор еще не может избыть их. Сначала гражданская война, победа Франко, встреча с Советским Союзом, истребление испанских коммунистов в Москве...

Валить вину на легион «Кондор»* за исход испанской гражданской войны — большая ошибка. Нужно

отказаться от этого устарелого мифа. Главными виновниками поражения были советские инструкторы».

Джилас добавляет, что в те времена, когда Франко наступал, сталинские эмиссары и работники ГПУ проводили кровавую чистку в рядах испанских троцкистов, анархистов, синдикалистов и других антифашистских сил. Эти политические убийства, организованные Советским Союзом, парализовали силы сопротивления республиканцев.

«Я знаю, что испанская республика все равно бы погибла. Франко был куда сильнее. Но если бы не роковая советская политика, Гитлеру пришлось бы оказывать режиму Франко еще большую помощь. Испанская гражданская война могла бы обернуться второй мировой войной. И тогда после войны не было бы режима Франко и сегодняшняя Испания была бы демократией западного типа».

По мнению Джиласа, Западная Германия — самое устойчивое государство Запада. Между социал-демократами и христианскими демократами он не видит принципиальных противоречий, во всяком случае там, где речь идет о государственных и общественных формах страны. Правда, одни стремятся к социальной политике, другие хотят частной инициативы.

«Но как мне видится отсюда, из Белграда, здесь нет принципиальных или неразрешимых противоречий... Но вообще, вся Западная Европа входит в период кризиса и этот кризис не достиг еще своего толка. Открытое демократическое западное общество, — поясняет Джилас, — вообще открыто кризисам

* Легион «Кондор» — немецкие подразделения под командой ген. Шперрле, посланные осенью 1936 года национал-социалистическим правительством в помощь ген. Франко, состояли из военно-воздушных, танковых, транспортных, связных, военно-учебных частей.

самого различного характера: демократия всегда бывала легко ранимой».

Вот как раз поэтому Запад должен усилить внутриполитическую борьбу за сохранение существующего порядка и быть сильным вовне. На вопрос, разделяет ли он мнение Киссинджера, что через десять лет вся Европа будет марксистской, Джилас отвечает: «Европа никогда не станет марксистской, об этом не может быть и речи. И что происходит нынче в романских странах, при всех трудностях, тоже никогда не приведет к марксизму».

Внешней политике Соединенных Штатов Джилас дает не слишком лестную оценку. «Все, чем занимаются сегодня в Вашингтоне — не политика, а что-то вроде игры в покер... Можно раз-другой блефовать, но нельзя же все строить на блефе. Американская политика в Анголе — глупость. Американцы вечно помогают не тем, кому надо. Во Вьетнаме они сначала укрепляли своего союзника Нго Динь Дьема, а затем способствовали его убийству. А потом они демократизировали страну, в которой для демократии нет никаких предпосылок. В США сейчас — основательный кризис политических верхов. У американцев мощная армия, но дух у этой армии отсутствует».

Сегодня надо исходить из факта, что Советский Союз сильнее, чем США. И дело не в военном потенциале сил — американцы во всех отношениях обладают несравненно большими резервами.

«Я не верю, что США сегодня способны к твердому курсу мировой политики, — продолжает Джилас. — Для этого им недостает внутренних импульсов. Чтобы вести динамическую политику, нужно внутреннее единство народа, порыв, крупные цели. А кому охота воевать за «Юнайтед Фрут» или за «ИТТ»*?

А Советский Союз? В ближайшие годы Западу

* Два известных американских концерна-миллиардера. — К.-Г. Ш.

будет противостоять более стабилизировавшийся — и стало быть, более экспансивный Советский Союз. Он будет развиваться в направлении «общества потребления». Конечно, это не означает, что из-за этого он станет более миролюбивым. Объектом советской экспансии и советско-китайского конфликта в первую очередь станет третий мир.

Какова при этом будет роль Запада? По мнению Джиласа, Запад и в дальнейшем будет удаляться от третьего мира и в политическом отношении предоставит третий мир самому себе. У большинства западных стран уже сегодня все государственные интересы сосредоточены на себе. Обеспечить свою промышленность необходимым сырьем всегда возможно, как показывает опыт, путем переговоров. И вот каково будет, по мысли Джиласа, ближайшее будущее Запада: «Демократия западного типа будет существовать в Западной Европе, в США, Канаде и еще в нескольких небольших оазисах. Все остальные страны будут жить под диктатурой».

Будет ли это диктатура советского типа? Джилас в это не верит. Мировой коммунизм как единое явление кончился и путей назад к нему нет. Советский успех в Анголе — явление временное. «Ангола со временем отделается от советских, — говорит Джилас. — Еще Робеспьер говорил, что никому не хочется видеть у себя дома вооруженных миссионеров, а советские знают только эту роль».

«Но решишь Советский Союз на военную авантюру, — уточняет Джилас, — у него сразу же начнутся большие трудности внутри собственного блока. Вы думаете, найдется хотя бы один чех, поляк, румын, венгр, которого бы обрадовала советская победа на Западе? И советское руководство хорошо это знает».

Что думает Джилас о внутренней оппозиции в Советском Союзе?

«Эта оппозиция — не столько политическая, сколько духовная и моральная», — считает Джилас. Ему кажется, что для Советского Союза характерно отсутствие политического движения. А. Д. Сахарова Джилас оценивает чрезвычайно высоко. А. И. Солженицына он считает «великим человеком», очень крупным писателем и свидетелем советского прошлого и настоящего. Книги «Архипелага ГУЛаг» — громадное литературное, политическое и моральное событие. Однако, говорит Джилас, мне чужд мистицизм и религиозно-православное мировоззрение писателя. Но тут же добавляет, что никак не собирается полемизировать с Солженицыным или критиковать его: «Для этого я его слишком высоко ценю».

На письменном столе Джиласа лежит шестой номер «Континента». Он рад публикации в этом номере своего рассказа «Сестра». Он говорит, что в «Континенте» ему больше всего понравились статьи Синявского о русской литературе и некоторые статьи публицистического характера. Видно, что он внимательно следит за русскими оппозиционными писателями: Максимовым («великолепный писатель»), Войновичем, которого Джилас считает своим отдаленным родичем: «Моя семья принадлежит к роду Войновичей, а я слышал, что Войнович — сербского происхождения».

Русские оппозиционеры, думает Джилас, должны тщательно изучать Запад, узнавать все его слабости и преимущества перед Россией. И они не должны «абсолютизировать» свое мировоззрение, иначе получится что-то близкое к советской идеологии, лишь с обратным знаком.

Мы заговариваем о другом. Как он относится к югославскому правительству, которое лишило его паспорта и держит в изоляции?

«Меня критиковали за положительный отзыв о Тито, — говорит Джилас. — но я на этом стою. Я не согласен с Тито в актуальных политических вопросах.

Но я должен сказать: если бы не Тито, вся Югославия утонула бы в море догматизма и сталинщины. Тито этого не допустил. В этом его историческая заслуга».

Насколько сильна просоветская фракция в Югославии? Джилас считает, что такой фракции вообще нет. Есть отдельные, не обладающие достаточным общественным весом, люди. Но может возникнуть опасная обстановка в определенный критический момент, когда ряд политических лидеров, настроенных отнюдь не просоветски, будут поставлены перед выбором: «Коммунизм с советскими и под советскими, или — демократизация без коммунизма».

В непосредственную опасность советской интервенции Джилас не верит, во всяком случае, в настоящий момент. Югославия обладает крепкой армией и у нее есть опора в третьем мире. Конечно, все знают, что Запад не вмешался бы и ничего не стал бы делать, чтобы предотвратить советскую интервенцию в Югославии.

«Но в целом, — говорит Джилас, — и сегодня еще действует политика «промежуточного положения», на принципе которой было достигнуто соглашение по поводу Югославии между Советским Союзом и западными державами. Я в то время был активным политиком, и мы — тогдашние руководители компартии Югославии — понимали, что смысл этого «промежуточного положения» в том, что Югославия не будет принадлежать ни Западу, ни Востоку, и что она будет такой, как этого хотят югославы».

Кажется, Джилас верит в будущее этого положения. Оно, впрочем, в какой-то мере соответствует и географическому положению, культурным и политическим традициям Югославии, страны, находившейся между католичеством и православием, Западом и Османской империей.

По поводу будущего Югославии Джилас не делает никаких прогнозов: — «Положение пока неясное».

Возвращаясь к себе, по улицам Белграда, к которому уже приблизилась весна семьдесят шестого года, я вспоминаю этого человека — улыбающегося, невозмутимого, мудрого, которому многое выпало познать в жизни.

Религия в нашей жизни

Лев Шестов

ДНЕВНИК МЫСЛЕЙ

Шестов (Шварцман) Лев Исаакович (1866-1938) — один из наиболее ярких представителей русской религиозной мысли, оказавший большое влияние на ряд русских и западных мыслителей. Приобрел широкую известность еще в России работами «Шекспир и его критик Брандес», «Достоевский и Ницше», но наиболее значительны и прославлены его труды, написанные уже в эмиграции (Шестов уехал из России в 1920 году). Впервые публикуемый «Дневник мыслей» — одна из последних написанных в России вещей философа.

Сделать такой опыт: записывать все мысли. Трудно? Конечно, трудно. Всего не запишешь! Есть такое, что не хочет идти из души. Заставить себя? Посмотрим.

Бог не слышит нас! Значит, Его нет? А мы ведь существуем — и не слышим все-таки, когда к нам взывают, даже когда взывают близкие люди, которым бы мы хотели и могли помочь. Пусть каждый вспомнит свое прошлое. Недаром и святые считали себя самыми ужасными из людей. И мы еще обижаемся, что Бог нас не слышит!

* * *

Никогда так упорно, напряженно и непрерывно не работала мысль, как в эти ужасные, кровавые дни. И никогда — так бесплодно. Отчего? Так надо? Так быть должно!

Senilia. Вспоминать прошлое и вечно им терзаться — таков удел старости. Учитываются где-нибудь в мировой экономике эти терзания? Ни один атом материи не исчезает и энергия — физическая — так заботливо оберегается. А человеческие терзания, хотя бы их накопились целые горы, обречены на бесследное исчезновение. Одинокий человек одиноко живет, одиноко умирает и даже, если он доверяет бумаге свои мысли, все равно не имеет способа оберечь самое существовавшее.

5/18. X

Нет ничего нового под луной. Относительно мира физического — это бесспорно — пока, по крайней мере: материи и энергии не убавляется и не прибавляется. Миллион, миллиард, биллион лет тому назад и сейчас все столько же материи. И через биллион и триллион лет все будет по-прежнему. А среди живых существ? О них ведь говорил умирающий царь. Выходит, что и тут нет ничего нового. Посмотрите кругом себя. Ласточки щебечут, вьют гнезда, купаются в воздухе теперь так же, как купались двадцать лет тому назад, и хотя из тех ласточек, что летали двадцать лет тому назад, сейчас нет в живых ни одной, — это совсем и не видно и совсем, будто, не важно. Миллионы отдельных ласточек исчезли, но ласточки остались и, стало быть, все — по-старому. То же и с другими существами — те же кузнечики, те же муравьи хлопотливо выполняют какое-то непонятное нам назначение — разве мы замечаем хоть какую-нибудь разницу между муравьями, бывшими пятьдесят лет тому назад и теперешними. И лошади, и коровы, и собаки, и волки пасутся, грызутся, болеют, бегают — если бы кто-либо, уснув в прошлом столетии, проснулся те-

перь, он бы в этом отношении не заметил бы никакой перемены.

А люди? И люди те же. И они пасутся и грызутся, то есть выполняют свои функции так же покорно, как и остальные существа. Правда, живым мы даем десятилетия, столетия, много тысячелетия. Какие были кузнечики и лошади миллион лет тому назад и были ли они вообще, на этот вопрос мы отвечаем не совсем уверенно. Неделимый атом мы уверенно а priori оберегаем, а индивидуума живого ни а priori, ни а posteriori не можем защитить от исчезновения и гибели.

Пробовали придумывать *universalia* и считать их вечными. Но, какие же они вечные? Еще если их поместить в мир умопостигаемый, куда ни шло. Но в нашем мире, где пространство и время, универсалии, поскольку они относятся не к атомам, а к живым неделимым — плохое предохранительное средство. Не только «эта» лошадь, «этот» кузнечик или «эта» ласточка когда-то появилась и скоро исчезнет — несомненно, что было время, когда ни кузнечика, ни лошади, ни ласточки совсем и не было и снова будет время, когда их не будет. Так что, если общим понятиям и приписать бытие, то никак вы уже им не припишете вечности.

Материя и энергия в этом смысле несравненно выше не только психического, но и идеального бытия, и если считать вечное существование предикатом бытия *par excellence*, то неизбежно мы приходим к материализму. Последовательность получится такая: на первом месте вечное, то есть энергия и материя, на втором — очень продолжительное, идеальное, на третьем — психическое, т.е. внутренняя жизнь одушевленных существ, продолжительность которой исчисляется днями, месяцами и, в лучшем случае, годами и десятилетиями.

Вечное — точно всегда одинаково: материя всегда

материя, энергия всегда энергия. Очень продолжительное тоже всегда почти одинаково: ласточка есть ласточка, лошадь — лошадь, даже человек есть человек.

И все это в своей одинаковости так однообразно, скучно, так мучительно постыло. Кому оно нужно? Человеку, Богу? А отдельные, живые существа обладают странным даром. Вот этот щенок или котенок, сейчас резвящийся предо мною, — им не скучно и не постыло, и этому ребенку Коле или Пете жизнь представляется такой заманчивой. Сколько бы вы им ни объясняли, что уже тысячи, миллионы, биллионы щенков и котят так же играли и что вовсе не важно, сверх этих биллионов, даже триллионов еще одно существо. Как бы красноречив и убедителен ни был царь Соломон, котенок твердо знает, что он впервые появился на свете и что все ново под луной. Вы можете убить его, но не сбить и, если убьете, то, умирая, он будет твердить все свое, что мир прекрасен и что его жизнь не есть и не была только повторением того, что уже бесчисленное множество раз повторялось и всем потому приелось...

И вот спор между бессмысленным котенком и мудрым царем: кто его разрешит? Точно ли суета сует и всяческая суета? Или и царь был неискренен? Он ведь тоже сказал: лучше быть живым псом, чем мертвым львом. А знал ли он, что жизнь преходяща и мимолетна? Отчего же не предпочел он быть вечным камнем или вечной горою? О вечных «понятиях» он ничего не знал... Опять вопросы, опять не то.

Нет — то: нужно спрашивать до последнего мгновения. Смерть есть и должна быть вопросом и для остающихся в живых и для умирающих.

* * *

Смерть есть и должна быть вопросом и для остающихся в живых и для умирающих. Греческая фило-

софия иначе смотрела на это. А за греческой — и христианская философия. И эллинские ученые и средневековые философы полагали, что нужны не вопросы, а ответы. Но таковых нет. Значит? Можно сделать вывод, что если нет, то, стало быть, и не нужно? Или этот вывод незаконен? У кого спросить, законен или не законен? У разума? Но у него запас а priori уже давно истощился, а кроме разума и спрашивать некого. Инстинкт? Но инстинкт не разговаривает, а безмолвно ведет, куда полагается вести. Так, конечно, и будет — что-нибудь нас куда-нибудь доведет; а когда придем, будем, может быть, удивляться, как это мы меж трех сосен в бору заблудились: *et post facto*, ведь все кажется простым, ясным и понятным.

7. X. 19

Прошло два дня. Все то же. Все те же, никуда не приводящие «мысли».

* * *

Духовные блага! Вот задача: изобразить жизнь человека, пренебрегшего всем, кроме духовных благ. Или хотя бы приблизительно перечислить если не все, то главные, наиболее соблазнительные блага. Вот жили столпники и другие затворники — какая была их жизнь, чем они держались. Конечно, нельзя принимать в расчет их надежды на будущую жизнь. Нужно иметь в виду только настоящие духовные блага, так сказать, имманентные. Холодно, голодно, больно, жестко, сыро, грязно, — все это ничего. Это души не касается. Даже чем хуже телу, тем лучше. Тело — оковы, — темница души. Его нужно разбивать, раздроблять, уничтожать. В этом, вероятно, и смысл Антисфеновского утверждения — лучше мне сойти с ума, чем испытать удовольствие. Удовольствие, если человек его принимает, свидетельствует о том, что

темница души крепка и прочна. Отвращение ко всему, *taedium vitae* есть начало высшей духовной свободы. Это постиг Сократ, это проповедывал Платон, но только у циников это сказалось с той силой и неприкрытостью, которая обнажает истину. Может быть потому, впрочем, циников не слышали. Слишком высокие, как и слишком низкие звуки не достигают человеческого слуха. Нет иного пути к высшим благам, как разрыв с телом. Нужно не только отвернуться, нужно возненавидеть все, что от тела.

Но что от тела и что останется, если душа порвет с телом? Элементарные удовлетворения отойдут: не будет сытости, пьяности, приятной теплоты, мягкой подстилки, свежего ветра, благоухания цветов, синевы неба и зелени полей, белизны снеговых гор, быстрого бега и т.д. Все это нужно отместить — но голод, холод, грязь, вонь, уродство, боль, пот, и т.д., это — останется или тоже нужно отместить? Ведь и это от тела. Для души, по-видимому, телесные тягости не менее посторонний элемент, чем телесные удовольствия. Но ни Сократ, ни Платон, ни циники с этим, видно, не соглашались. Удовольствия человеку не нужны, тягости нужны. Циники даже считали, что такая жизнь, которая, не признавая удовольствия, сводится к постоянному преодолению добровольно принимаемых на себя тягостей — есть единственная достойная человека жизнь. Это, они говорили, значит жить сообразно с природой, руководствуясь только одним разумом. Это, по их учению, и есть естественная жизнь. И правда — если разум у кого-либо пользовался совершенной автономией и был ни чем не ограниченным самодержцем, то только у циников. Платон, в этом отношении, куда менее решителен и выдержан. Он все доказывает призрачность реального мира, но порвать с ним не хочет и не умеет. Под тем или иным предлогом — он все же возвращается к этому миру, из которого, по его собственным словам,

надо было бы скорее бежать, чем возвращаться. Сам, в притче о пещере, говорит, что даже знание о мире реальном не интересно, и все-таки оказывается основателем положительного знания. Аристотель ведь плоть от плоти и кость от кости Платона. Только циники в самом деле презирали все, кроме добродетели. И добродетель соответственно понимали прежде и после всего как презрение к мирским благам. То есть они осуществляли то, о чем так прекрасно говорил и мечтал Платон. И их возненавидели, отвергли, называли собаками. Почему? Ответ один: *est modus in rebus* или, по-русски, воздержанность и последовательность не должны быть уделом человека. Сократ родил и Платона и Антисфена. Но дети одного отца стали врагами — не на жизнь, а на смерть.

* * *

8. X

Толстой в старости

Не надо иронии — надоела. Не надо пафоса — в нем искусственность, он ничего не дает. Не надо спокойствия — оно симуляция. Что же надо? И вопросы надоели, и ответы — фальшивые. Стало быть, не писать. Это возможно. Но не думать — нельзя. Особенно теперь, в старости, когда «делать» нечего. Вольтер находил возможность возделывать свой сад. Это бы хорошо: физический труд сам себя оправдывает. Но на него спроса нет, то есть, конечно, на тот физический труд, который могут предложить современные маленькие, средние и, в особенности, большие Вольтеры. Даже Толстой, с ранних лет приучивший себя к физическому труду, никогда не был настоящим работником.

* * *

Эволюция, постепенное развитие — слова, имеющие магическую силу над нами. Было время, когда только атомы кружились в пространстве, но постепенно, в течение многих миллионов лет, докрутились и до обезьяны, и до пещерного человека и до всей сложности современной общественной и личной жизни. Такое объяснение кажется нам совершенно понятным. Почему? По-видимому, нарочно не придумаешь ничего нелепее. Любой миф, при всей его неправдоподобности, правдоподобнее эволюционной теории. Но нас заворожило словечко «постепенно» и щедрые миллиарды протекших лет и нам кажется, что будто бы мы получили какое-то объяснение. Самое главное, чтоб не было антропоморфизма. Слово антропоморфизм — это единственный вздор, какой выдумывали человеческие головы, даже еще самый вздорный. На деле-то, кроме антропоморфизма, человеческая фантазия умела выдумывать сколько угодно глупостей. Что до меня, то когда я слышу уверенный тон защитника эволюционной теории, я всегда вспоминаю гоголевского Поприщина. И чем отчетливее и яснее суждения эволюциониста, тем ближе он напоминает несчастного человека, который чинил перья, пока не дочинился до безумия. И мы дочинились и еще, видно, дочинимся. Хотелось бы не своим голосом закричать *caveant consules*, на весь мир закричать. Но и голоса такого нет, да и ушей, готовых такое слушать, тоже нет. «Довлеет дневи злоба его» — и теперь, когда после пятилетней войны люди совсем потеряли человеческий облик, — никто ни о чем, кроме злобы дня, не думает и не говорит. Стало быть, и надрываться нет надобности. Нужно только самому прислушиваться и всматриваться. Эволюция — такой же оптический обман, как и твердое небо. Но обман, пожалуй, в некотором смысле более прочный. Язык, например, вовсе не так создан, что люди сперва мычали, блеяли, гоготали, лаяли — пока не домыча-

лись до членораздельных звуков, слов, понятий, предложений и т.д. Эволюция только начинается в исторический период человеческого существования. В доисторический и послеисторический периоды никакой эволюции не было. Бог сперва создал мир в шесть дней, дал ему устройство и организацию: и светила небесные, и моря, и животных и человека, способного все-таки уже стыдиться своей наготы — а потом предоставил его собственным силам. Человек получил очень многое совсем готовым, много больше того, чем сам впоследствии сделал. Из атомов же ни в миллиарды, ни в триллионы, ни в квадрильоны лет никак бы не вырос не то что человек, но даже червяк или полип. В начале были не атомы, и даже не слово, а что-то, что позначительнее, посильнее, чем всякий атом, всякое слово и всякий разум.

* * *

Современный Прометей

Не удастся дневник. Навык берет свое. Нужно сделать усилие — но сейчас это невозможно. Обет, который не забудется, и гордость. Не в литературе, не в мифах и в сказаниях сохранившаяся, и в действительности не Прометей, не павший ангел, а человек — бывает гордым до конца? Хватает ли у него сил в последнюю минуту, не пред другими, а пред собой для гордости? Вспоминаю исторических героев — но не знаю, что с ними было, знаю только, что они говорили. А говорят ведь тоже по навыку, то, к чему привыкли.

9/X и 10/X

Девятого ничего не написал. Даже показалось, что нужно прекратить дневник — слишком он измучивает и все-таки не извлекает из души того, что раньше не

извлекалось. Может, и в самом деле не такое теперь время, чтоб писать. Еще может быть, что не все можно извлекать из тьмы на свет. Есть такое, что боится света, что должно жить в глубине, где вечная тьма. Ведь не случайно же люди так устроены, что в их внутреннюю жизнь не дано абсолютно никому заглянуть. О внутренней жизни ближнего мы только заключаем по видимым внешним признакам, как известно. Непосредственно же постичь даже самое элементарное переживание другого человека нам не дано. Либо внутренние переживания, даже самые простые — холода, голода, боли — так святы, что природа их так ревниво оберегает, либо они так ничтожны, что их не стоит открывать кому бы то ни было.

12. X

Если мысль, которая вот уже пять лет — с начала войны — неотступно преследует меня, верна, если мы точно присутствуем при новом вавилонском столпотворении — то, что делать? Спорить с людьми явно бесполезно; как вывести из заблуждения тех, кого Бог хочет видеть в безумии? Помешать намерениям Бога — невысказано. Но вот другое: смотреть на безумие и самому не безумствовать, не заражаться общим настроением. Тогда, может быть, откроется новый путь, новые пути. И, может, не столько споры, сколько какие-то иные дела, иные даже внутренние состояния и настроения должны быть ответом на все происходящее.

Ведь если точно смешение языков и если точно смешение языков, посланное Богом, а не «естественно», как думают обыкновенно, развившееся из условий существования, тогда и задачи другие. Тогда главное — вновь устремиться к Богу, Которого мы забыли. Тогда, значит, нужно думать только о Боге и все остальное приложится. По крайней

мере некоторым нужно так направить себя. Остальные будут бороться, спорить, ожесточаться, ненавидеть — до положенного срока...

* * *

Когда забываешь на минуту о происшедшем столпотворении и вдыхаешь свободно, точно бы над тобою и миром не был занесен грозный меч — кажется, что разрешаешь себе преступную роскошь. Еще во сне можно забываться — но, пожалуй, скоро и во сне будешь чувствовать явь и начнешь повторять за Ибсеном: я никогда не сплю, я только притворяюсь, что сплю. Верно, это давно бы случилось — если бы физические силы не ослабевали. Но ведь природа под конец уже не считается с организмом. Обезобразила явь, обезобразит и сон. Все разрушит — только сохранит себя и свою вечную, нетленную, равнодушную красоту.

* * *

Благополучие, устроенность — иногда, непонятным образом, превращается в пресыщение и делает человека глубоко несчастным и жалким. При полной безопасности человек испытывает беспричинные страхи, делающие его жизнь невыносимой. И наоборот, иногда в самых отвратительных материальных условиях, особенно, как у аскетов — в условиях нарочито созданных — при холоде, голоде, тяжелом труде, недосыпании измученный человек открывает в себе какие-то неслыханные силы. И мир кажется ему преображенным, и всему он радуется, ничего не боится. Одни люди расцветают от внешних трудностей, другие подламываются; одним нужно для их дела благополучие, другие от благополучия гибнут.

Месяц не писал: ехал в Крым. Теплушки, валянье на полу в Харькове, потом в Ростове, потом на пароходе, потом в Ялте. Сейчас есть комната, есть кровать. Но по-прежнему — принадлежишь не себе, а мелким заботам о насущном хлебе для сегодняшнего дня. «Мыслей» нет, и пропадает вера в мысль. Ничего угадать нельзя, ничего предсказать нельзя. И все кажется таким нелепым, бессмысленным. Кругом замученные люди, раздавленные, никчемные. Спроса нет ни на что, кроме крова, пищи, тепла. Спекулянты имеют благополучный вид, но только вид. Офицеры, которые получше, в отчаянии; которые похуже — кушают и добывают средства для кутежа спекуляцией. Газета болтливее и бессодержательнее, чем когда бы то ни было. Бедная Россия гниет и разваливается. Все лучшее идет ко дну. На поверхности подлость и бездарность.

А в Европе? Что в Европе — этого никто не знает в России. Год, как окончилась война, но и на Западе жизнь не вошла еще в колею. А меж Европой и Россией — китайская стена... Всегда люди жили в неизвестности, но всегда была обманчивая видимость. Все казалось ясным и понятным. Умели предсказывать, умели объяснять. Когда ученый историк приходит в свою устроенную комнату или аудиторию, уверенный в том, что его дом и его кафедра — его королевство, естественно было ему думать, что та же устроенность царит во всем мироздании. А сейчас — нет ни крова, ни ладу, все и всё предоставлено чистому случаю. Выходит, что нечего делать ни историку, ни философу. Но, пройдут годы — десять, двадцать лет, может больше, взбаламученное море успокоится, живые свидетели разрух, развалов и бессмыслиц отойдут в могилы, и теория снова вернет свои права. Историки и философы осмыслят все происшедшее.

И кто будет прав? Мы или будущие историки? Признанно правыми будут, конечно, историки. Но к правде ближе мы. И, хочется думать, наша правда будет правдой *sub specie aeternitatis*, хотя, конечно, все нас будут упрекать в субъективности.

16/29. XI

Плотин учил, что философ ничего не должен бояться, даже гибели отечества. Если бы он жил не в третьем столетии в Риме, а в наше время в одном из русских городов — повторил бы он свои слова? И, точно, нужно ли философу все всегда принимать и ничего никогда не бояться? Или лучше, точно ли Плотин ничего не боялся? Может быть, слишком боялся и потому так часто говорил о бесстрашии?

18. XI

Идеи. Много есть идей, очень много. И идеи бывают или хотят быть самоцелью. Так учит философия, особенно эллинская. Кант, который утверждал, что человек никогда не должен быть средством, а всегда целью, очевидно, таким утверждением бросил вызов традиционной философии. Если вызова никто не принял и даже не заметил, то лишь потому, что, в общем, мировоззрение Канта все же шло по привычной, старой колее. То есть примат отдавался идее и даже самоутверждение Канта было только идеей и ценилось лишь как идея. На деле же человек все-таки, по Анаксимандру, как отдельное существо, подлежал и заслуживал гибели, а бессмертной оставалась идея. Оттуда и постулаты Канта. Идеям достаточно, если их постулируют, им бытия и не нужно. Даже платоновские идеи в конце концов только постулаты.

Наука, искусство, философия, религия — люди все это создали для того, чтобы как-нибудь справиться с теми мучительными и страшными трудностями, которые встречаются на их жизненном пути. Как преодолеть бессмысленность существования, спрашивает человек. И отвечает: наукой. Как отвечает? Он пытается открыть невидимые глазу законы бытия и затем говорит: эти законы — бог, самое главное, единственно реальное. Они вечны и неизменны. Поклонись им, поставь их над собой и над всеми, кто таков же, как и те — и все трудности исчезнут сами собой. С тех пор как существует наука, она в более или менее скрытой или открытой форме именно так отвечала на такие вопросы. Иначе говоря, она оспаривала самое право задавать их. Кто смущен трудностями жизни, тот еще пребывает в младенчестве или в первобытном состоянии.

Искусство в этом отношении прямая противоположность науке. Даже эпос. Тем более лирическая поэзия и трагедия. Когда, чтоб взять первые попавшиеся примеры, Мюссэ восклицает с ужасом: *o bon Dieu, pourquoi la mort!* или, когда Гейне с таким же ужасом говорит о проклятых вопросах, когда Шекспир называет жизнь сказкой в устах глупца, или Данте рассказывает: *aeterno dolore* и *perduto gente* и т. д. — очевидно, что рассуждения о вечном и неизменном порядке не могут найти отклика в их душах. Сколько бы наука ни открывала законов, проклятые вопросы все же останутся проклятыми. Даже, пожалуй, наоборот — чем прочнее и незыблее законы, тем напряженнее и мучительнее становится чувство проклятости земного существования.

Разве можно поклониться законам? Ведь законы мертвы — человек же прежде и после всего живое существо. И, если кто кому кланяться должен, то не

человек законам, а законы человеку. Оно так и есть отчасти. В общественной жизни законы создаются для человека, даже суббота, как сказано в Писании, для человека. Но наука этого не признает. Идеал ученого человека — свести все качественные различия к количественным. Чтоб не было не только благородства, храбрости, милосердия, надежды, любви, восторгов — чтоб не было даже звука, света, теплоты, а только чтоб было движение, которое может быть выражено алгебраическими формулами и цифрами. И если бы, наконец, науке удалось избавиться от всех остатков, которые до сих пор не вмещались в формулы, она бы праздновала свою окончательную победу. Почему? Зачем? Как случилось, что наука создала себе такой идеал? Откуда ее вечная и непримиримая вражда ко всему одушевленному? Разве это уже такая аксиома, что одушевленное преступно или мешает отысканию истины?

Нет, это не аксиома. Но верно, что наука, постулируя преступность одушевленного, успела многого добиться. Я готов даже признать, что успехи и самая возможность той науки, которая сейчас считается единственно совершенным знанием, теснейшим образом связана с этим постулатом. Все счеты, все расчеты, самая возможность сведений качества к количеству убивается, если допустить автономность одушевленного начала. Пока человек живое существо, он может нарушить всякий закон. И, конечно, тем более может отказаться благоговеть пред ним.

С чего, в самом деле, благоговеть пред законом тяготения? Прямо пропорциональны массам, обратно пропорциональны квадратам расстояния. Может, было бы лучше, если бы в первой половине было «обратно», во второй «прямо». Или не притягиваются, а отталкиваются. И еще лучше, если бы иногда притягивались, иногда отталкивались и не по раз заведенному правилу, а сообразно нуждам и обстоятельствам, как та суббота, которая, признав, что она для человека, ступшевы-

вается сама по себе или по велению Того, Кому дано судить живых и мертвых, раз в ней нет нужды или раз она мешает серьезному делу.

Наука об этом и слышать не хочет. Ей необходимо, чтоб принципы были всеобъемлющи и не допускали ровно никаких исключений. И ведь никогда еще ни одному ученому не удалось доказать, что исключений из всеобъемлющих принципов не бывает и не было. В сущности это только постулат, и мы все время вертимся в заколдованном кругу: чтоб была наука, нужен постулат всеобъемлющих принципов, чтоб был постулат, нужна такая наука, как та, которая сейчас цветет в Европе. И когда Мюссэ, Данте, Шекспир или Гейне начинают свои вопросы, им отвечают, что так спрашивать нельзя, что можно только так спрашивать, чтоб получить ответ в виде математической формулы. *O bon Dieu, pourquoi la mort* — явно нелепый вопрос. Зачем смерть — да не зачем, очевидно. А вот что такое смерть, то есть что делается с организмом, когда он из живого становится мертвым, на это физиологи, патологи, анатомы вам очень обстоятельно ответят. Наука сознательно игнорирует все поставляемые искусством проблемы. Либо наука — либо искусство. Казалось бы, что задача философии поставить и разрешить спор между наукой и искусством. Философия ведь — последнее слово. Она тоже хочет иметь власть судить живых и мертвых. Но, с древнейших времен — все наиболее выдающиеся философы были учеными, людьми науки. И чем старше становилось человечество, тем научнее делалась философия. Так что философия, выступая в роли судьи, являлась судьей в собственном деле. О ней можно сказать то же, что о науке. Она боится живого и одушевленного и потому всегда ищет принципов, начал. И ее идеал — математика, все те же числа, которые своей законченностью и упорядоченностью сейчас соблазняют представителей положительной науки. Наука, всей

силой своего авторитета, стремится подавить и успешно подавляет попытки человеческого духа прорвать созданный нами себе в течение веков идеалистический горизонт: кто не изгонял и не изгоняет из себя и из близких «антропоморфизм». Когда в Гефсиманском саду раздался вопль: Господи, Господи, отчего Ты меня покинул — казалось бы, что люди все должны были бросить, и только думать о том, как ответить на этот «вопрос». Люди поступили обратно: налегли всей своей массой на так спрашивавшего и задушили и Его и Его вопрошания. Ведь если Он так спрашивал, то в какой же мере другим разрешаются такие вопросы. Но наука твердит свое: так спрашивать нельзя. Бог не поддерживает и не оставляет человека. Правда, видимость целесообразности в мире наблюдается. Но это только als ob — как говорят немцы и как думают ученые и опытные люди, то есть это как будто бы Бог вспоминает или забывает о человеке. На самом деле Бог о человеке совсем и не думает, Бог вообще не думает, и еще меньше чем-нибудь озабочен.

12/XII

Другие занятия — дневник заброшен на месяц почти. Есть трудные обстоятельства, которые все же не мешают думать. И болезни, и холод, и голод — все мирится с исканиями. Но внешняя озабоченность — она убивает мысль. А сейчас все люди растрачиваются на такие дела.

13/XII.1919

Вспомнил, что Нитше говорил о себе: «я не умею так овладеть материалом мышления, чтобы привить его в гармонии, устроить лад в голове моего читателя. Все, что я умею — это «ein bißchen singen und ein bißchen seufzen».

* * *

7/20 февраля 20 г.
Женева

Докатился. Думал, что когда докачусь до Жене-вы, можно будет сказать: ныне отпускаеши раба Твоего. Не тут-то было. Опять мелкие заботы, тыся-чи мелких забот, и нет никакой возможности думать о чем-либо. Хотелось бы писать в этой тетради, а нужно писать письма, письма без конца.

11/V. 20 г.

В этом году исполняется двадцатипятилетие как «распалась связь времен» или, вернее, исполнится — ранней осенью, в начале сентября. Записываю, чтобы не забыть: самые крупные события жизни — о них же никто, кроме тебя, ничего не знает — легко за-бываются.

* * *

«Война и мир» — XV гл. IV части IV тома: Пьер, приехав в Москву, убедился, что «все было раз-рушено, кроме чего-то невещественного, но могущест-венного и неразрушимого». Теперь это невещественное сохранилось в России?

ИСТОКИ

Борис Бажанов

ПОБЕГ ИЗ НОЧИ

(Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Мои воспоминания относятся, главным образом, к тому периоду, когда я был помощником Генерального Секретаря ЦК ВКП (Центрального Комитета Все-союзной Коммунистической Партии) Сталина, и секретарем Политбюро ЦК ВКП. Я был назначен на эти должности 9 августа 1923 года. Став антикоммунистом, я бежал из Советской России 1 января 1928 года через персидскую границу. Во Франции в 1929 и 1930 гг. я опубликовал некоторые из моих наблюдений в форме газетных статей и книги. Их главный интерес заключался в описании настоящего механизма коммунистической власти — в то время на Западе очень мало известного, — некоторых носителей этой власти и некоторых исторических событий этой эпохи. В моих описаниях я старался всегда быть скрупулезно точным, описывал только то, что я видел или знал с безусловной точностью. Власти Кремля никогда не сделали ни малейшей попытки оспорить то, что я писал (да и не могли бы это сделать), и предпочли избрать тактику полного замалчивания — мое имя не должно было нигде упоминаться. Самым усердным читателем моих статей был Сталин: позднейшие перебежчики из со-

Журнальный вариант.

ветского полпредства во Франции показали, что Сталин требовал, чтобы всякая моя новая статья ему немедленно посылалась аэропланом.

Между тем, будучи совершенно точным в моих описаниях фактов и событий, я, по соглашению с моими друзьями, оставшимися в России, и в целях их лучшей безопасности, должен был изменить одну деталь, касавшуюся меня лично: дату, когда я стал антикоммунистом. Это не играло никакой роли в моих описаниях — они не менялись от того, стал ли я противником коммунизма на два года раньше или позже. Но, как оказалось, меня лично это поставило в положение, очень для меня неприятное (в одной из последних глав книги, когда я буду описывать подготовку моего бегства за границу, я объясню, как и почему мои друзья просили меня это сделать). Кроме того, о многих фактах и людях я не мог писать — они были живы. Например, я не мог рассказать, что говорила мне личная секретарша Ленина по очень важному вопросу — это ей могло очень дорого стоить. Теперь, когда прошло уж около полувека, и большинства людей той эпохи уже нет в живых, можно писать почти обо всем, не рискуя никого подвести под сталинскую пулю в затылок.

Кроме того, описывая сейчас те исторические события, свидетелем которых я был, я могу рассказать читателю и о тех выводах и заключениях, которые вытекали из их непосредственного наблюдения. Надеюсь, что это поможет читателю лучше разобраться в сути этих событий и во всем этом отрезке эпохи коммунистической революции.

Глава 1

ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ

*Гимназия · Университет · Расстрел демонстрации ·
Вступление в партию · Ямполь и Могилев · Москва ·
Высшее Техническое Училище · Учение.*

Я родился в 1900 году в городе Могилеве-Подольском на Украине. Когда пришла февральская революция 1917 года, я был учеником 7-го класса гимназии. Весну и лето 1917 года город переживал все события революции и прежде всего постепенное разложение старого строя жизни. С октябрьской революцией это разложение ускорилось. Распадался фронт, отделилась Украина. Украинские националисты оспаривали у большевиков власть на Украине. Анархия все больше охватывала наши области. Но в начале 1918 года немецкие войска оккупировали Украину, и при их поддержке восстановился некоторый порядок, и установилась довольно странная власть гетмана Скоропад-

Дела партии всех ступеней хранятся в...

СТРОГО СЕКРЕТНО

РОССИЙСКАЯ КОМУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ). ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

Отдел Бюро Секретариата.

10 АВГ 1923 192

Т. т. Кпорину, Вязанову, Кенофонтову.

Выписка из протокола № 27 заседания Оргбюро ЦКРКП от 3/У111-23 г.

О помощнике Секретаря ЦК т. Сталина.

Зачинать помощником Секретаря ЦК т. Сталина т. Вязанова с освобождением его от обязанностей секретаря Оргбюро.

МОСКВА, Восточный, с. Крестовский ЦК
19027, 40928, 19123, 19120

При приеме, выписке записки в печать и копии

Секретарь ЦК

Президиум ЦК

Президиум ЦК

Президиум ЦК

ского, формально украински-националистическая, на деле — неопределенно консервативная.

Жизнь вернулась в некоторое более нормальное русло, занятия в гимназии снова шли хорошо, и летом 1918 года я закончил гимназию, а в сентябре отправился продолжать учение в Киевский университет на физико-математический факультет. Увы, учение в университете продолжалось недолго. К ноябрю определилось поражение Германии, и германские войска начали оставлять Украину. В университете забурлила революционная деятельность — митинги, речи. Власти закрыли университет. Я в это время никакой политикой не занимался — в мои 18 лет я считал, что я недостаточно разобрался в основных вопросах жизни общества. Но как и большинство студентов, я был очень недоволен перерывом учения — я приехал в Киев из далекой провинции учиться. Поэтому, когда была объявлена студенческая демонстрация на улице против здания университета в знак протеста против его закрытия, я отправился на эту демонстрацию.

Тут я получил очень важный урок. Прибывший на грузовиках отряд «державной варты» (государственной полиции), спешил, выстроился и без малейшего предупреждения открыл по демонстрации стрельбу. Надо сказать, что при виде винтовок толпа бросилась врассыпную. Против винтовок осталось 3-4 десятка человек, которые считали ниже своего достоинства бежать как зайцы при одном виде полиции. Эти оставшиеся были или убиты (человек 20), или ранены (тоже человек 20). Я был в числе раненых. Пуля попала в челюсть, но скользнула по ней, и я отделался двумя-тремя неделями госпиталя.

Учение прекратилось, возобновилась борьба между большевиками и украинскими националистами, а я вернулся в родной город выздоравливать и размышлять о ходе событий, в которых я против воли начал принимать участие. До лета 1919 года я много читал,

старался разобраться в марксизме и революционных учениях и программах.

В 1919 году развернулась гражданская война и наступление на Москву белых армий от окраин к центру. Но наш подольский угол лежал в стороне от этой кампании, и власть у нас оспаривалась только петлюровцами и большевиками. Летом 1919 г. я решил вступить в коммунистическую партию.

Для нас, учащейся молодежи, коммунизм представлялся в это время необычайно интересной попыткой создания нового, социалистического общества. Если я хотел принять участие в политической жизни, то здесь, в моей провинциальной действительности, у меня был только выбор между украинским национализмом и коммунизмом. Украинский национализм меня ничуть не привлекал — он был связан для меня с каким-то уходом назад с высот русской культуры, в которой я был воспитан. Я отнюдь не был восхищен и практикой коммунизма, как она выглядела в окружающей меня жизни, но я себе говорил (и не я один), что нельзя многого требовать от этих малокультурных и примитивных большевиков из неграмотных рабочих и крестьян, которые понимали и претворяли в жизнь лозунги коммунизма по-дикому; и что как раз люди более образованные и разбирающиеся должны исправлять эти ошибки и строить новое общество так, чтобы это гораздо более соответствовало идеям вождей, которые где-то далеко, в далеких центрах, конечно, действуют, желая народу блага.

Пуля, которую я получил в Киеве, не очень подействовала на мое политическое сознание. Но вопрос о войне сыграл для меня немалую роль.

Все последние годы моей юности я был поражен картиной многолетней бессмысленной бойни, которую представляла первая мировая война. Несмотря на мою молодость, я ясно понимал, что никакой из воюющих стран война не могла принести ничего, что могло бы

идти в сравнение с миллионами жертв и колоссальными разрушениями. Я понимал, что истребительная техника достигла такого предела, что старый способ решения войной споров между великими державами теряет всякий смысл. И если руководители этих держав вдохновляются старой политикой национализма, которая была допустима век тому назад, когда от Парижа до Москвы было два месяца пути, и страны могли жить независимо друг от друга, то теперь, когда жизнь всех стран связана (а от Парижа до Москвы два дня езды), эти руководители государств — банкроты, и несут большую долю ответственности за идущие за войнами революции, ломающие старый строй жизни. Я в это время принимал за чистую монету Циммервальдские и Кинтальские протесты интернационалистов против войны — только много потом я понял, в каком восторге были ленины от войны — лишь она могла принести им революцию.

Вступив в местную организацию партии, я скоро был избран секретарем уездной организации. Характерно, что мне сразу же пришлось вступить в борьбу с чекистами, присланными из губернского центра для организации местной чеки. Эта уездная чека реквизировала дом нотариуса Афеньева, богатого и безобидного старика, и расстреляла его. Я потребовал от партийной организации немедленного закрытия чеки и высылки чекистов в Винницу (губернский центр). Организация колебалась. Но я быстро ее убедил. Город был еврейский, большинство членов партии были евреи. Власть менялась каждые 2-3 месяца. Я спросил у организации, понимает ли она, что за бессмысленные расстрелы чекистских садистов отвечать будет еврейское население, которому при очередной смене власти грозит погром. Организация поняла и поддержала меня. Чека была закрыта.

Советская власть продержалась недолго. Пришли петлюровцы. Некоторое время я был в Жмеринке и

Виннице, где в январе 1920 года я неожиданно был назначен заведующим губернским отделом народного образования. Эту мою карьеру прервал возвратный тиф, а затем известие о смерти от сыпного тифа моих родителей. Я поспешил в родной город. Там еще были петлюровцы. Но они меня не тронули — местное население поручилось, что я — «идейный коммунист», никому ничего кроме добра не делавший, и, наоборот, спасший город от чекистского террора.

Скоро власть снова сменилась — пришли большевики. Затем опять большевики отступили. Началась советско-польская война. Но к лету 1920 г. был снова занят уездный город Ямполь, и я был назначен членом и секретарем Ямпольского Ревкома. Едва ли когда-нибудь Ямполь после революции видел власть более мирную и доброжелательную. Председатель Ревкома, Андреев, и оба его члена — Трофимов и я — были люди мирные и добрые. По крайней мере, это должна была думать вдова чиновника, в доме которой мы все трое жили, и обедая за одним с ней столом, питались впроголодь (к большому ее удивлению), несмотря на всю нашу власть.

Через месяц был занят Могилев; я был переведен туда, и снова избран секретарем уездного комитета партии.

В октябре советско-польская война кончилась, в ноябре был занят Крым; гражданская война завершилась победой большевиков. Я решил ехать в Москву продолжать учение.

В ноябре 1920 года я приехал в Москву и был принят в Московское Высшее Техническое Училище. Меня избрали секретарем партийной ячейки. Это мне не очень мешало — партийная жизнь в Высшем Техническом была намеренно мало активна.

Но весь 1921 год в стране царил голод. Никакого рынка не было. Надо было жить исключительно на паек. Он состоял из фунта (400 гр.) хлеба в день (типа

замазки, составленного Бог знает из каких остатков и отбросов) и 4-х фунтов ржавых селедок в месяц. В столовой Училища давали еще раз в день немножко пшенной каши на воде без малейших следов жира и почему-то без соли. На таком режиме очень долго продержаться было нельзя. К счастью, подошло лето, и можно было поехать на летнюю практику на завод. Я с тремя товарищами выбрал практику на сахарном заводе (мы учились на химическом факультете) в моем родном Могилевском уезде. Там мы подкормились: паек выдавался сахаром, а сахар можно было обменять на любую еду.

Осенью я вернулся в Москву и продолжал учение. Увы, на моем голодном режиме к январю я снова чрезвычайно отощал и ослабел. В конце января (1922 г.) я решил снова уехать на Украину.

В лаборатории количественного анализа моим соседом был молодой симпатичный студент Саша Володарский. Он был братом Володарского, питерского комиссара по делам печати, которого убил летом 1918 г. рабочий Сергеев. Саша Володарский был очень милый и скромный юноша. Когда, услышав его фамилию, его спрашивали: «Скажите, вы родственник того известного Володарского?» — он отвечал: «Нет, нет, однофамилец».

Я спросил его мнение, кого бы предложить на мое место в секретари ячейки. Почему? Я объяснил: хочу уехать, не могу дальше голодать. «А почему вы не делаете как я?» — ответил Володарский. «Как?» — «А я полдня учусь, полдня работаю в ЦК партии. Там есть виды работы, которую можно брать на дом. Кстати, аппарат ЦК сейчас сильно расширяется, там нужда в грамотных работниках. Попробуйте».

Я попробовал. То, что я был в прошлом секретарем Укома партии и сейчас секретарем ячейки в Высшем Техническом, оказалось серьезным аргументом, и

Управляющий Делами ЦК Ксенофонтов (кстати, бывший член коллегии ВЧК), производивший первый отбор, направил меня в Орготдел ЦК, где я и был принят.

Глава 2

В ОРГОТДЕЛЕ ЦК. УСТАВ ПАРТИИ

Орготдел ЦК · Учет местного опыта · Статья Кагановича · Съезд партии · Доклад Ленина · Проект нового устава партии · Каганович, Молотов, Сталин · Мой устав принят · Лазарь Каганович · «Мы, товарищи, пятидесятилетние...» · Михайлов · Молотов · Циркулярная комиссия · Справочник партийного работника · Известия ЦК.

В это время происходило чрезвычайное расширение и укрепление аппарата партии. Едва ли не самым важным отделом ЦК был в это время организационно-инструкторский отдел, куда я и попал (скоро он был соединен с учраспредом в орграспред — организационно-распределительный отдел. Наряду с основными подотделами (организационный, информационный), был создан маловажный подотдел — учета местного опыта. Функции у него были самые неясные. Я был назначен рядовым сотрудником этого подотдела. Он состоял из заведующего — старого партийца Растопчина — и пяти рядовых сотрудников. Растопчин и трое из пяти его подчиненных смотрели на свою работу, как на временную синекуру. Сам Растопчин показывался раз в неделю на несколько минут. Когда у него спрашивали, что собственно нужно делать, он улыбался и говорил: «Проявляйте инициативу». Трое из пяти проявляли ее в том смысле, чтобы найти себе работу, которая бы их более устраивала; и в этом они, правда, скоро успели. Райтер

после ряда сложных интриг стал ответственным инструктором ЦК, а затем секретарем какого-то губкома. Кицис терпеливо выжидал назначения Райтера, и когда оно произошло, уехал с ним. Зорге (не тот, не японский) хотел работать за границей по линии Коминтерна. Пытался работать только один Николай Богомолов, орехово-зуевский рабочий, очень симпатичный и толковый человек. В дальнейшем он стал помощником заведующего орграспредом по подбору партийных работников, затем заместителем заведующего орграспредом, а затем почему-то торгпредом в Лондоне. В чистку 1937 года он исчез; вероятно, погиб.

Я первое время почти ничего не делал, присматривался и продолжал учение. После тяжелого 1921 года мои житейские условия резко улучшились. Весь 1921 год в Москве я не только голодал, но и жил в тяжелой жилищной обстановке. По ордеру районного совета нам (мне и моему другу Юрке Акимову) была отведена реквизируемая у «буржуев» комнатка. В ней не было отопления и ни малейшего намека на какую-либо мебель (вся мебель состояла в миске для умывания и в кувшине с водой, стоявших на подоконнике). Зимой температура в комнате падала до 5 градусов ниже нуля и вода в кувшине превращалась в лед. К счастью, пол был деревянный, и мы с Акимовым, завернувшись в тулупы и прижавшись друг к другу для теплоты, спали в углу на полу, положив под голову книги вместо несуществующих подушек.

Теперь положение изменилось. Сотрудники ЦК жили в иных условиях. Мне была отведена комната в 5-м Доме Советов — бывшей Лоскутной Гостинице (Тверская, 5), которую все обычно называли 5-м Домом ЦК, так как жили в ней исключительно служащие ЦК партии. Правда, только рядовые, так как очень ответственные жили или в Кремле, или в 1-м Доме Советов (угол Тверской и Моховой).

Хотя я и работал мало, но скоро мне пришлось столкнуться с заведующим Орготделом Кагановичем.

Под его председательством произошло какое-то полуинструктивное совещание по вопросам «советского строительства». Меня посадили секретарствовать на этом совещании (так просто, попал под руку). Каганович произнес чрезвычайно толковую и умную речь. Я ее, конечно, не записывал, а сделал только протокол совещания.

Через несколько дней редакция журнала «Советское строительство» попросила у Кагановича руководящую статью для журнала. Каганович ответил, что ему некогда. Это была неправда. Дело было в том, что человек чрезвычайно способный и живой, Каганович был крайне малограмотен. Сапожник по профессии, никогда не получив никакого образования, он писал с грубыми грамматическими ошибками, а писать литературно просто не умел. Так как я секретарствовал на совещании, редакция обратилась ко мне. Я сказал, что попробую.

Вспомнив, что говорил Каганович, я изложил это в форме статьи. Но так как было ясно, что все мысли в ней не мои, а Кагановича, я пошел к нему и сказал: «Товарищ Каганович, вот ваша статья о советском строительстве — я записал то, что вы сказали на совещании». Каганович прочел и был в восхищении: «Действительно, это все, что я говорил; но как это хорошо изложено». Я ответил, что изложение — дело совершенно второстепенное, а мысли его, и ему надо только подписать статью и послать в журнал. По неопытности Каганович стеснялся: «Это ведь вы написали, а не я». Я его не без труда уверил, что я просто написал за него, чтобы выиграть ему время. Статья была напечатана. Надо было видеть, как Каганович был горд, — это была «его» первая статья. Он ее всем показывал.

У этого происшествия было последствие. В конце марта — начале апреля происходил очередной съезд партии. На съезде политический отчет ЦК делал (по-

следний раз) Ленин. Встал вопрос: кому из сотрудников поручить эту работу — слушать и править. Каганович сказал: «Товарищу Бажанову; он это сделает превосходно». Так и было решено.

Во время ленинского доклада придворный фотограф (кажется, Оцуп) делает снимки. Ленин терпеть не может, чтобы его снимали для кино во время выступлений — это ему мешает, отвлекает и нарушает нить мыслей. Он едва соглашается на две неизбежных официальных фотографии. Фотограф снимает его слева — тогда в глубине в некотором тумане виден президиум; потом снимает справа — виден только Ленин и за ним угол зала. Но на обоих снимках перед Лениным — я.

Эти фото часто печатались в газетах: «Владимир Ильич выступает последний раз на съезде партии», «Одно из последних публичных выступлений т. Ленина». До 1928 года я фигурировал всегда вместе с Лениным. В 1928 году я бежал за границу. Добравшись до Парижа, я начал читать советские газеты. Скоро я увидел не то в «Правде», не то в «Известиях» знаковую фотографию: Владимир Ильич делает последний политический доклад на съезде партии. Но меня на фотографии не было. Видимо, Сталин распорядился, чтобы я из фотографий исчез.

Этой весной 1922 года я постепенно втягивался в работу, но больше изучал. Наблюдательный пункт был очень хорош, и я быстро ориентировался в основных процессах жизни страны и партии. Некоторые детали иногда говорили больше долгих изучений. Например, я мало что могу вспомнить об этом XI съезде партии (1922 года), на котором я присутствовал, но ясно помню выступление Томского, члена Политбюро и руководителя профсоюзов. Он говорил: «Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а осталь-

ные в тюрьме». Зал ответил бурными аплодисментами.

(Вспомнил ли об этом выступлении Томский 14 лет спустя, когда перед ним открылись двери сталинской тюрьмы? Во всяком случае, он застрелился, не желая переступить ее порог.)

Справедливость требует отметить, что в тот момент я еще питал доверие к своим вождям: остальные партии в тюрьме; значит, так надо и так лучше.

В апреле-мае этого года я отдал себе отчет в том, как происходит эволюция власти. Было очевидно, что власть все больше сосредотачивается в руках партии, и чем дальше, тем больше в аппарате партии. Между тем мне бросилось в глаза одно важное обстоятельство. Организационные формы работы партии и ее аппарата, которые определяли эффективность работы, были сформулированы в виде ее устава. Но устав партии в основном имел тот вид, в каком он был принят в 1903 году. Он был немного изменен на VI съезде партии летом 1917 года. VIII партийная конференция 1919 года внесла тоже некоторые робкие изменения, но в общем устав, годный для подполья дореволюционного времени, совершенно не подходил для партии, находящейся у власти, и чрезвычайно стеснял ее работу, не давая ясных и точных нужных форм.

Я взялся за работу и составил проект нового устава партии. Переделал я его очень сильно. Проверив все, я напечатал на машинке два параллельных текста: налево — старый, направо — новый, подчеркнув все измененные места старого и новые места моего текста.

С этим документом я явился к Кагановичу. Его секретарь Балашов заявил мне, что т. Каганович очень занят и никого не принимает. Я настаивал: «А ты все-таки доложи. Скажи, что я по очень важному делу». — «Ну, какое у тебя может быть важное дело», — урезонивал меня Балашов. «А ты все-таки доложи. Не уйду, пока не доложишь». Балашов доложил. Кагано-

вич меня принял. «Товарищ Бажанов. Я очень занят. Три минуты — в чем дело?» — «Дело в том, товарищ Каганович, что я вам принес проект нового устава партии». Каганович был искренно поражен моей дерзостью. «Сколько вам лет, товарищ Бажанов?» — «Двадцать два». — «А сколько лет вы в партии?» — «Три года». — «А известно ли вам, что в 1903 году наша партия разделилась на большевиков и меньшевиков только по вопросу о редакции первого пункта устава?» — «Известно». — «И все ж таки вы осмеливаетесь предложить новый устав партии?» — «Осмеливаюсь». — «По каким причинам?» — «Очень простым. Устав крайне устарел, годился для партии в условиях подполья, никак не отвечает жизни партии, которая у власти, и не дает ей необходимых форм для ее работы и эволюции». — «Ну, покажите». Каганович прочел первый и второй пункты в старой редакции и новой, подумал. «Это вы сами написали?» — «Сам». Потребовал объяснений. Объяснения я дал. Через несколько минут просунувшаяся в дверь голова Балашова напомнила, что есть люди, которым обещан прием, и пришло время для какого-то важного заседания. Каганович его прогнал: «Очень занят. Никого не принимаю. Заседание перенести на завтра».

Около двух часов читал, смаковал и обдумывал Каганович мой устав, требуя объяснений и оправданий моим формулировкам. Когда все было кончено, Каганович вздохнул и заявил: «Ну, заварили вы кашу, товарищ Бажанов». После чего он взял трубку и спросил у Молотова, может ли он его видеть по важному делу (Молотов был в это время вторым секретарем ЦК). «Если не надолго, приходите». — «Пойдем, товарищ Бажанов».

«Вот, — заявил, входя к Молотову, Каганович. — Вот этот юноша предлагает ни более ни менее, как новый устав партии». Молотов тоже был потрясен. «А знает ли он, что в 1903 году...» — «Да, знает». —

«И тем не менее?..» — «И тем не менее». — «И вы этот проект читали, товарищ Каганович?» — «Читал». — «И как вы его находите?» — «Нахожу превосходным». — «Ну, покажите».

С Молотовым произошло то же самое. В течение двух часов проект устава разбирался по пунктам, я давал объяснения, Молотов любопытствовал: «Это вы сами написали?» — «Сам».

«Ничего не поделаешь, — сказал Молотов, когда дошли до конца проекта. — Пойдем к Сталину».

Сталину я тоже был представлен как юный безумец, который осмеливается тронуть достопочтимую и неприкосновенную святыню. После тех же ритуальных вопросов — сколько мне лет, и знаю ли я, что в 1903 году, и после формулировки причин, по которым я полагаю, что устав надо переделать, было опять приступлено к чтению и обсуждению проекта. Рано или поздно пришел вопрос Сталина: «И это вы сами написали?» Но в этот раз за ним последовал и другой: «Представляете ли вы себе, какую эволюцию работы партии и ее жизни определяет ваш текст?» — и мой ответ, что очень хорошо представляю и формулирую эту эволюцию так-то и так-то. Сталин долго и внимательно на меня смотрел. Дело было в том, что мой устав был важным орудием для партийного аппарата в деле завоевания им власти. Сталин это понимал. Я тоже.

Конец был своеобразным. Сталин подошел к вертушке. «Владимир Ильич? Сталин. Владимир Ильич, *мы здесь в ЦК* пришли к убеждению, что устав партии устарел и не отвечает новым условиям работы партии. Старый — партия в подполье, теперь партия у власти и т. д.». Владимир Ильич, видимо, по телефону соглашается. «Так вот, — говорит Сталин, — думая об этом, *мы* разработали проект нового устава партии, который и хотим предложить». Ленин соглашается и

говорит, что надо внести этот вопрос на ближайшее заседание Политбюро.

Политбюро в принципе согласилось и передало вопрос на предварительную разработку в Оргбюро. 19 мая 1922 года Оргбюро выделило «Комиссию по пересмотру устава». Молотов был председателем, в нее входили и Каганович, и его заместители Лисицын и Охлопков, и я в качестве секретаря.

С этого времени на год я вошел в орбиту Молотова.

С уставом пришлось возиться месяца два. Проект был разослан в местные организации с запросом их мнений, а в начале августа была созвана Всероссийская Партийная Конференция (12-я) для принятия нового устава. Конференция длилась 3-4 дня. Молотов докладывал проект, делегаты высказывались. В конце концов была избрана окончательная редакционная комиссия под председательством того же Молотова, в которую вошли и Каганович, и некоторые руководители местных организаций, как Микоян (он был в это время секретарем Юго-Восточного Бюро ЦК), и я, как член и секретарь комиссии. Отредактировали, и конференция новый устав окончательно утвердила (впрочем, формально его еще после этого утвердил и ЦК).

После истории с уставом ко мне присматриваются. До конца года я работаю еще с Кагановичем и Молотовым.

Лазарь Моисеевич Каганович замечателен тем, что был одним из двух-трех евреев, продолжавших оставаться у власти во все время сталинщины. При сталинском антисемитизме это было возможно только благодаря полному отречению Кагановича от всех своих родных, друзей и приятелей. Известен, например, факт, что когда сталинские чекисты подняли перед Сталиным дело о брате Кагановича, Михаиле Моисеевиче, министре авиационной промышленности, и Сталин спросил Лазаря Кагановича, что он об этом

думает, то Лазарь Каганович, прекрасно знавший, что готовится чистое убийство без малейшего основания, ответил, что это дело «следственных органов» и его не касается. Перед арестом Михаил Каганович застрелился.

Лазарь Каганович, бросившись в революцию, по нуждам революционной работы с 1917 г. переезжал с места на место. В Нижнем Новгороде он встретился с Молотовым, который выдвинул его на пост председателя Нижегородского Губисполкома, и эта встреча определила его карьеру. Правда, он еще кочевал, побывал в Воронеже, Средней Азии, наконец в ВЦСПС на профсоюзной работе. Отсюда Молотов в 1922 году берет его в заведующие Орготделом ЦК, и здесь начинается его быстрое восхождение.

Одно обстоятельство сыграло в этом подъеме немалую роль. В 1922 году Ленин на заседании Политбюро говорит, обращаясь к членам Политбюро: «Мы, товарищи, пятидесятилетние (он имеет в виду себя и Троцкого), вы, товарищи, сорокалетние (все остальные), нам надо готовить смену, тридцатилетних и двадцатилетних: выбрать и постепенно готовить к руководящей работе».

Пока в этот момент ограничились тридцатилетними. Наметили двух: Михайлова и Кагановича.

Михайлову было в это время 28 лет, он был кандидатом в члены ЦК и секретарем Московского Комитета партии; в 1923 г. его избрали членом ЦК и сделали даже секретарем ЦК. Увы, это продолжалось недолго. Очень скоро выяснилось, что большие государственные дела Михайлову совершенно не под силу. Его постепенно оттеснили на меньшую работу. Потом он был руководителем строительства Днепрогэса. В 1937 году был расстрелян вместе с другими (он имел неосторожность в 1929 году быть за Бухарина). В общем, этот выбор для «смены» не удался.

Каганович был много способнее. Держась сначала

при Молотове, он постепенно становится, наряду с Молотовым, одним из основных сталинцев. Сталин перебрасывает его из одного важнейшего места парт-аппарата в другое. Секретарь ЦК Украины, секретарь ЦК ВКП, член Политбюро, первый секретарь МК, снова секретарь ЦК партии, если нужно, Наркомпусть, он выполняет все сталинские поручения. Если у него была вначале совесть и другие человеческие качества, то потом в порядке приспособления к сталинским требованиям все эти качества исчезли, и он стал, как и Молотов, стопроцентным сталинцем. Дальше он привык ко всему, и миллионы жертв его не трогали. Но характерно, что когда после смерти Сталина Хрущев, который при жизни Сталина тоже ко всему приспособлялся, вдруг встрепенулся и выступил с осуждением сталинщины, Каганович, Молотов и Маленков уже никакого другого режима, кроме сталинского (чтобы гайка была завинчена твердо, до отказа), не желали, справедливо полагая, что при режиме сталинского типа можно спать спокойно, и никакая опасность такому режиму не грозит; в то время как чем может кончиться хрущевская некоторая либерализация для их спокойных руководительских мест, да и для режима, еще неизвестно.

Во второй половине 1922 года я еще продолжал работать в ведомстве Кагановича. Молотов и Каганович начинают назначать меня секретарем разных комиссий ЦК. Как секретарь комиссий, я — находка и для того, и для другого. У меня способность быстро и точно формулировать. Каганович, живой и умный, все быстро схватывает, но литературным языком не владеет. Я для него очень ценен. Но еще более ценен в комиссиях я для Молотова.

Молотов — человек не блестящий; это чрезвычайно работоспособный бюрократ, работающий без перерыва с утра до ночи. Много времени ему приходится проводить на заседаниях комиссий. В комиссиях по су-

ти дела к соглашениям приходят скоро, но затем начинается бесконечная возня с редактированием решений. Пробуют сформулировать пункт решения так — сыпятся поправки, возражения; споры разгораются, в них теряют начало формулировок и совсем запутываются. На беду, Молотов, хорошо разбираясь в сути дел, с большим трудом ищет нужные формулы.

К счастью, я формулирую с большой легкостью. Я быстро нахожу нужную линию. Как только я вижу, что решение найдено, я поднимаю руку. Молотов сразу останавливает прения. «Слушаем». Я произношу нужную формулировку. Молотов хватается за нее: «Вот, вот, это как раз то, что нужно; сейчас же запишите, а не то забудете». Я его успокаиваю — не забуду. «Повторите еще раз». Повторяю. Вот — заседание кончено, и сколько времени выиграно. «Вы мне сберегаете массу времени, товарищ Бажанов», — говорит Молотов. Теперь он будет меня сажать секретарем во все бесчисленные комиссии, где он председательствует (ЦК работает комиссиями — по всякому важному вопросу после предварительного обсуждения создается комиссия, которая и разрабатывает вопрос, и вырабатывает окончательный текст решения, которое и представляется на утверждение Оргбюро или Политбюро).

Одна из самых важных комиссий ЦК — циркулярная. По всяким крупнейшим вопросам ЦК принимает директиву и рассылает ее местным организациям — это циркуляр ЦК. Циркулярная комиссия ЦК и создает текст этих циркуляров. Председательствует иногда Молотов, иногда Каганович. Я уже прочно утвержден секретарем этой (постоянной) комиссии. Должны ли местные партийные организации произвести кампанию по севу в деревне, или перерегистрацию партии и введение нового партийного билета, или кампанию по подписке на новый заем — директива пойдет в форме циркуляра.

Скоро я заинтересовываюсь. Каждый день идут новые циркуляры. Какие из них сохраняют силу, какие устарели, какие изменены ходом событий или новыми решениями, никому неизвестно. И как местные организации разбираются в этой накопившейся массе циркуляров? И как среди этих тысяч циркуляров найти то, что нужно? Я не питаю иллюзий насчет организационных талантов местных партийных бюрократов. Я кончаю тем, что беру всю массу циркуляров, выбрасываю то, что устарело, изменено или отменено; а все, что представляет годную директиву, собираю в книгу, сортирую по вопросам, темам, разделам, времени и по алфавиту. Так, чтобы можно было мгновенно по индексам найти то, что нужно. И прихожу к Кагановичу. Теперь он уже ждет от меня только серьезных вещей. Не без некоторого озорства я нахожу термин, который его пленит. «Товарищ Каганович, я предлагаю произвести кодификацию партийного законодательства». Это звучит торжественно. Каганович термином упоен. Пускается в ход вся машина. Молотов тоже чрезвычайно доволен. Это дает книгу на 400-500 страниц. Книга получает название «Справочник партийного работника». Типография ЦК ее печатает. Она будет переиздаваться каждый год.

Молотов назначает меня еще секретарем редакции «*Известий ЦК*». Это — периодический журнал, несмотря на созвучие названия не имеющий ничего общего с ежедневной газетой «*Известия ВЦИК*». «*Известия ЦК*» — орган внутренней жизни партии. Редактор — Молотов, и так как редактор — Молотов, то журнал представляет собой необычайно сухое и скучное бюрократическое изделие. Никакая жизнь партии в нем не отражается. Журнал заполнен директивами и указаниями ЦК. Моя секретарская работа тоже совершенно бюрократическая. Я начинаю раздумывать, как мне от этой скучной канцелярщины отделаться, когда вдруг (вдруг — для меня, Молотов же и

другие к этому готовятся давно) я получаю новое важное назначение. В конце 1922 года я назначен секретарем Оргбюро.

Глава 3

СЕКРЕТАРЬ ОРГБЮРО

*Секретарь Оргбюро · Секретариат ЦК · Оргбюро · Бюджетная комиссия ЦК · Партколлегия ЦКК и «согласование с ЦК» · Канцелярия Оргбюро, реорганизация · Секретариат Молотова · Суть идущей борьбы за власть · Ленин, Троцкий · Болезнь Ленина · «Завещание Ленина» · Начало Тройки · XII съезд партии · Секретариат Ленина · Фотиева и Гляссер · Сталин ставит своих секретарей Политбюро · Провал ·
Мое назначение.*

Я начинаю становиться несколько более важным винтиком партийной государственной машины. Я тону в своей аппаратной работе, от живой жизни я совершенно оторван, о том, что происходит в стране, я узнаю лишь сквозь партийно-аппаратную призму. Только через полгода я начну выходить из этого бумажного моря; тогда у меня, кстати, будет вся информация и я смогу сопоставлять факты, данные, смогу судить, делать заключения, приходить к выводам; видеть, что происходит на самом деле, и куда это на самом деле идет.

Пока же я принимаю все большее участие в работе центрального партийного аппарата. Он имеет от меня все меньше секретов.

Каковы функции секретаря Оргбюро? Я секретарствую на заседаниях Оргбюро и на заседаниях Секретариата ЦК; кроме того, на заседаниях Совещания Заведующих Отделами ЦК, которое подготавливает ма-

териалы для заседания Секретариата ЦК; кроме того, на заседаниях разных комиссий ЦК. Наконец, я команду секретариатом (с маленькой буквы) Оргбюро, то есть канцелярией.

По уставу, важность выборных центральных органов партии идет так: Секретариат (из 3-х секретарей ЦК), над ним — Оргбюро, над ним Политбюро. Секретариат ЦК — орган, находящийся в состоянии быстрой эволюции и, может быть, идущий гигантскими шагами к абсолютной власти в стране, но не столько сам по себе, как в лице своего генерального секретаря. В 1917—1918—1919 годах секретарем ЦК, чисто техническим, была Стасова, а довольно рудиментарным аппаратом ЦК командовал Свердлов. После его смерти (в марте 1919 г.) и до марта 1921 г. секретарями ЦК (полутехническими, полуответственными) были Серебряков и Крестинский. С марта 1911 г. секретарем ЦК (уже имеющим название «ответственного») становится Молотов. Но в апреле 1922 года на пленуме ЦК избираются три секретаря ЦК: «генеральный секретарь» Сталин, 2-й секретарь Молотов и 3-й секретарь Михайлов (вскоре замененный Куйбышевым). С этого времени начинает заседать Секретариат.

Функции его плохо определены уставом. В то время как по уставу известно, что Политбюро создано для решения самых важных (политических) вопросов, а Оргбюро — для решения вопросов организационных, подразумевается, что Секретариат должен решать менее важные вопросы или готовить более важные для Оргбюро и Политбюро. Но, с одной стороны, это нигде не написано, а с другой стороны, в уставе хитро сказано, что «всякое решение Секретариата, если оно не опротестовано никем из членов Оргбюро, становится автоматически решением Оргбюро, а всякое решение Оргбюро, не опротестованное никем из членов Политбюро, становится решением Политбюро, т. е. решением Центрального Комитета; всякий член

ЦК может опротестовать решение Политбюро перед Пленумом ЦК, но это не приостанавливает его исполнения».

Другими словами, представим себе, что Секретариат берет на себя решение каких-нибудь чрезвычайно важных политических вопросов. С точки зрения внутрипартийной демократии и устава, ничего возразить по этому поводу нельзя, Секретариат не узурпирует прав вышестоящей инстанции — она может всегда это решение изменить или отменить. Но если генеральный секретарь ЦК, как это произошло с 1926 года, уже держит всю власть в своих руках, он уже может не стесняясь, командовать через Секретариат.

На самом деле это не произошло. До 1927-1928 гг. Политбюро и его члены еще имели достаточно веса, чтобы Секретариат это не пробовал делать, вступая в ненужный конфликт, а с 1928 г. Политбюро было настолько в подчинении у Сталина, что ему не было никакой надобности пробовать править иначе, чем через Политбюро. А еще через несколько лет и Политбюро, и Секретариат превратились в простых исполнителей его приказов, и у власти был не тот, кто занимал крупнейший пост в иерархии, а тот, кто стоял ближе к Сталину: его секретарь весил больше в аппарате, чем председатель Совета министров или любой член Политбюро.

Но сейчас мы в начале 1923 года. На заседаниях Секретариата председательствует 3-й секретарь ЦК Рудзутак, который уже успел заменить Куйбышева, перешедшего на должность Председателя ЦКК. На заседании присутствуют Сталин и Молотов — только секретари ЦК имеют право решающего голоса. С правом совещательного голоса присутствуют все заведующие отделами ЦК — Каганович, Сырцов, Смидович (женотдел) и другие (их немало: Управляющий Делами ЦК Ксенофонтов, зав. Финансовым Отделом Раскин, зав. Статистическим Отделом Смиттен, затем

новые зав. отделами — Информационным, Печати и т. д.), а также главные помощники секретарей ЦК. Рудзутак председательствует хорошо и толково. Со мной он очень мил и кормит меня конфетами — он бросил курить, и взамен курения все время сосет конфеты.

На заседаниях Оргбюро председательствует Молотов. В Оргбюро входят три секретаря ЦК, заведующие главнейшими отделами ЦК Каганович и Сырцов, начальник ПУР (Политического Управления Реввоенсовета; ПУР имеет права Отдела ЦК), а кроме того, один-два члена ЦК, избираемых в Оргбюро персонально, чаще всего — секретарь ВЦСПС и первый секретарь МК.

Сталин и Молотов заинтересованы в том, чтобы состав Оргбюро был как можно более узок — только свои люди из партаппарата. Дело в том, что Оргбюро выполняет работу колоссальной важности для Сталина — оно подбирает и распределяет партийных работников: во-первых, вообще, для всех ведомств, что сравнительно не важно, и во-вторых, всех работников партаппарата — секретарей и главных работников губернских, областных и краевых партийных организаций, что чрезвычайно важно, так как завтра обеспечит Сталину большинство на съезде партии, а это основное условие для завоевания власти. Работа эта идет самым энергичным темпом; удивительным образом Троцкий, Зиновьев и Каменев, плавающие в облаках высшей политики, не обращают на это особенного внимания. Важность сего они поймут тогда, когда уж будет поздно.

Первое Оргбюро создано в марте 1919 года после VIII съезда партии. В него входили Сталин, Белобородов, Серебряков, Стасова, Крестинский. Как видно по его составу, оно должно было заниматься некоторой организацией технического аппарата партии и некоторым распределением ее сил. С тех пор все изменилось.

С назначением Сталина генеральным секретарем Оргбюро становится его главным орудием для подбора своих людей и захвата таким образом всех партийных организаций на местах.

С Молотовым мы уже старые знакомые. Он мною очень доволен. По-прежнему он меня сажает секретарем во все комиссии ЦК. Это обеспечивает мое быстрое аппаратное просвещение.

Например, существует Бюджетная Комиссия ЦК. Это — комиссия постоянная. Председатель — Молотов, я — секретарь. Состоит она из двух секретарей ЦК Сталина и Молотова (никогда ни одного раза Сталин ни на одном заседании комиссии не был) и заведующего Финансовым Отделом ЦК Раскина. Я быстро убеждаюсь, что и Раскин и я, мы присутствуем на заседаниях комиссии только, чтобы записывать решения Молотова. Хорошо, что Раскину не приходится много разговаривать. Он — русский еврей, эмигрировавший из России в детстве и побывавший в очень многих странах. Он говорит на таком русском языке, что понять его очень трудно. Кажется, то же и на других языках. Сотрудники его отдела говорят: «Товарищ Раскин владеет всеми языками, кроме своего собственного».

С одной стороны, Бюджетная Комиссия обсуждает и утверждает смету отделов ЦК. Тут присутствуют заведующие отделами, стараются отстоять свои интересы, и Молотов с ними спорит (но решает, конечно, он). С другой стороны, и здесь дело идет об огромных суммах, — Бюджетная Комиссия утверждает бюджеты всех братских иностранных компартий. На заседания ни один представитель братской компартии никогда не допускается. Докладывает только генеральный секретарь Коминтерна Пятницкий. Молотов распределяет манну беспрекословно и безапелляционно — соображения, которыми он руководствуется, не всегда для меня ясны. Финансовую технику содержания братских

компартий мне любезно разъясняет Раскин — скрытый перевод средств обеспечивается монополией внешней торговли.

Быстро просвещаюсь я и насчет работы органа «партийной совести» — Партколлегии ЦКК.

В стране существует порядок — все население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой момент может быть арестован, сослан, приговорен ко многим годам заключения или расстрелян, просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Но члена партии в 1923 году ГПУ арестовать еще не может (это придёт только через лет 8-10). Если член партии проворовался, совершил убийство или совершил какое-то нарушение партийных законов, его сначала должна судить местная КК (Контрольная Комиссия), а для более видных членов партии — ЦКК, вернее, Партийная Коллегия ЦКК, т. е. несколько членов ЦКК, выделенных для этой задачи. В руки суда или в лапы ГПУ попадает только коммунист, исключенный из партии Партколлекгией. Перед Партколлекгией коммунисты трепещут. Одна из наибольших угроз: «передать о вас дело в ЦКК».

На заседаниях партколлекгии ряд старых комедиантов, вроде Сольца, творят суд и расправу, гремя фразами о высокой морали членов партии, и изображают из себя «совесть партии». На самом деле существует два порядка: один, когда дело идет о мелкой сошке и делах чисто уголовных (например, член партии просто и грубо проворовался), и тогда Сольцу нет надобности даже особенно играть комедию. Другой порядок — когда речь идет о членах партии покрупнее. Здесь существует уже никому не известный информационный аппарат ГПУ; действует он осторожно, при помощи к участию членов коллекгии ГПУ Петерса, Лациса и Манцева, которые для нужды дела введены в число членов ЦКК. Если дело идет о члене партии — оппо-

зиционере, или каком-либо противнике сталинской группы, невидно и подпольно информация ГПУ — верная или специально придуманная для компрометации человека — доходит через Управляющего Делами ЦК Ксенофонтова (старого чекиста и бывшего члена коллегии ВЧК) и его заместителя Бризановского (тоже чекиста) в секретариат Сталина, к его помощникам Каннеру и Товстухе. Затем так же тайно идет указание в Партколлегию, что делать, «исключить из партии», или «снять с ответственной работы», или «дать строгий выговор с предупреждением» и т. д. Уж дело Партколлегии придумать и обосновать правдоподобное обвинение. Это совсем не трудно, и греметь фразами о партийной морали, и придраться к любому пустяку — написал, например, партиец статью в журнал, получил 30 рублей гонорара сверх партийного максимума — Сольц такую истерику разыграет по этому поводу, что твой Художественный Театр. Одним словом, получив от Каннера директиву, Сольц или Ярославский будут валять дурака, возмущаться, как смел данный коммунист нарушить чистоту партийных риз, и вынесут приговор, который они получили от Каннера (о Каннере и секретариате Сталина мы еще поговорим).

Но в уставе есть пункт: решения контрольных комиссий должны быть согласованы с соответствующими партийными комитетами; решения ЦКК — с ЦК партии. Этому соответствует такая техника.

Когда заседание Оргбюро кончено, и члены его расходятся, мы с Молотовым остаемся. Молотов просматривает протоколы ЦКК. Там идет длинный ряд решений о делах. Скажем, пункт: «Дело т. Иванова по таким-то обвинениям». Постановили: «Т. Иванова из партии исключить», или «Запретить т. Иванову в течение 3 лет вести ответственную работу». Молотов, который в курсе всех директив, которые даются партколлегии, ставит птичку. Я записываю в протокол Оргбюро: «Согласиться с решениями ЦКК по делу т.т.

Иванова (протокол ЦКК от такого-то числа, пункт такой-то), Сидорова... и т. д.». Но по иному пункту Молотов не согласен: ЦКК решило — «объявить строгий выговор». Молотов вычеркивает и пишет: «Исключить из партии». Я пишу в протоколе Оргбюро: «По делу т. Иванова предложить ЦКК пересмотреть ее решение от такого-то числа за таким-то пунктом». Сольц, получив протокол, позвонит мне и спросит: «А какое решение?» Я ему скажу по телефону, что написал Молотов на их протоколе. И в ближайшем протоколе ЦКК будет сказано: «Пересмотрев свое решение от такого-то числа и учтя важность предъявленных обвинений, партколлегия ЦКК постановляет: т. Иванова из партии исключить». Понятно, Оргбюро (т. е. Молотов) с этим решением согласится.

Моя канцелярия Оргбюро состоит из десятка сотрудников, чрезвычайно проверенных и преданных. Вся работа Оргбюро считается секретной (Политбюро — чрезвычайно секретной). Поэтому, чтобы секреты были известны как можно меньшему числу лиц, штаты минимальны. Этому соответствует сильная перегруженность сотрудников работой — практически они личной жизни не имеют: начинают работать в 8 часов утра, едят наскоро тут же и кое-как, заканчивают работу в час ночи. При этом все равно с работой не справляются — в бумажном море, в котором тонет Оргбюро, полная неразбериха, ничего найти нельзя, бумаги регистрируются по каким-то допотопным методам входящих и исходящих; когда секретарю ЦК нужна какая-либо справка или документ из архива, начинаются многочасовые поиски в архивном океане.

Я вижу, что эта организация ничего не стоит. Я ее всю ломаю, завожу несколько картотек с записью каждого документа по трем разным алфавитным индексам. Постепенно все приходит на свое место. Через 2-3 месяца бумага или справка, которую требует Секретарь ЦК, доставляется ему не позже, чем через одну

минуту, Отделы ЦК, считавшие раньше безнадежным обращаться в секретариат Оргбюро, не надвигаются быстро, с которой все сразу происходит. Молотов чрезвычайно доволен и не нахвалится мной. Но, сам того не подозревая, он подготавливает мою потерю: в секретариате Политбюро царит еще худшая неразбериха, и Сталин начинает подумывать, что было бы неплохо, если бы я там навел порядок; но это дело не такое простое — мы это увидим дальше.

Последствия для персонала моей канцелярии совершенно неожиданные. Сначала они все энергично протестуют против моих реформ и жалуются секретарям ЦК, что работать со мной невозможно. Когда все же твердой рукой я все реформы провожу, и результаты налицо, протесты по сути дела умолкают. Но раньше весь день их работы терялся впустую — по долгим и бесплодным поискам. Теперь вся работа происходит быстро и точно. И ее оказывается гораздо меньше. Теперь сотрудники приходят в 9 часов, а в 5-6 часов все кончено. Теперь они располагают свободным временем и могут иметь личную жизнь. Довольны они? Наоборот. Раньше у них был в собственных глазах ореол мучеников, идейных людей, приносящих себя в жертву для партии. Теперь они — канцелярские служащие в хорошо работающем аппарате, и только. Я чувствую, что все они полны разочарования.

Я работаю в постоянном контакте с секретарями Молотова, и уже также в некотором контакте с секретарями Сталина.

Во главе секретариата Молотова стоит его первый секретарь Васильевский. Это — быстрый и энергичный человек, умный и деловой. Худой, худощавое умное лицо. Он организует всю работу Молотова, быстро и толково разбирается во всех делах. С Молотовым он на ты и пользуется его полным доверием. Не могу выяснить его прошлого. Кажется, он бывший офицер царского времени (примерно, поручик). Сейчас же

после октябрьской революции был (большевистским) начальником штаба Московского военного округа. Когда я ухожу в 1926 году из ЦК, я теряю его следы, потом я никогда ничего о нем не слышал.

Второй помощник Молотова — Герман Тихомирнов. Он, собственно, является личным секретарем. Пороху он не выдумает, и я не раз удивляюсь, как Молотов управляется с таким личным секретарем. Но третий и четвертый помощники Молотова — Бородавский и Белов — не лучше. Герман с Молотовым тоже на ты. Молотов не в восторге от его работы, но его терпит. Года через 2-3 он назначит Тихомирнова заведывать Центральным Партийным Архивом при ЦК партии, но по части бумаг безобидных, так как все важнейшие документы находятся за сталинским секретариатом и сталинским секретарем Товстухой.

Работая с секретариатом Молотова, я все более в курсе дел партийной верхушки. Я начинаю понимать скрытую суть идущей борьбы за власть.

После революции и во время гражданской войны сотрудничество Ленина и Троцкого было превосходным. К концу гражданской войны (конец 1920 г.) страна и партия считают вождями революции Ленина и Троцкого, далеко впереди всех остальных партийных лидеров. Собственно говоря, войной руководил все время Ленин. Страна и партия это знают плохо, и склонны приписывать победу главным образом Троцкому, организатору и главе Красной армии. Этот ореол Троцкого мало устраивает Ленина — он предвидит важный и опасный поворот при переходе к мирному строительству. Чтобы сохранить при этом руководство, ему нужно сохранить большинство в центральных руководящих органах партии, в ЦК. Между тем и до революции, и в 1917 году Ленину в его партии, созданной им, много раз приходилось оказываться в меньшинстве и снова завоевывать большинство с большим трудом. И после революции это повторя-

лось — вспомнить, например, как он терпел поражение в ЦК и оставался в меньшинстве по такому первой важности вопросу, как вопрос о Брест-Литовском мире с Германией.

Ленин хочет обезопасить себя, гарантировать себе большинство. Он видит возможную угрозу своему лидерству только со стороны Троцкого. В конце 1920 года он, в дискуссии о профсоюзах, старается ослабить позиции Троцкого и уменьшить его влияние. Ленин еще усиливает свою игру, ставя Троцкого в глупое положение в истории с транспортом. Надо спешно поднять развалившиеся железные дороги. Ленин прекрасно знает, что Троцкий совсем не годится для этой работы, да не имеет и объективных возможностей ее сделать. Троцкий назначается наркомом путей сообщения. Он вносит в это дело энтузиазм, пафос, красноречие, свои навыки трибуна. Это ничего не дает, кроме конфуза. И Троцкий уходит с ощущением провала.

В ЦК Ленин организует группу своих ближайших помощников из противников Троцкого. Наиболее ярые враги Троцкого — Зиновьев и Сталин. Зиновьев стал врагом Троцкого после осени 1919 года, когда происходило успешное наступление Юденича на Петроград. Зиновьев был в полной панике и совершенно утерять возможности чем-либо руководить; прибыл Троцкий, выправил положение, третировал Зиновьева с презрением — тут они стали врагами. Не менее ненавидит Троцкого Сталин. Во все время гражданской войны Сталин был членом Реввоенсоветов разных армий и фронтов и был подчинен Троцкому. Троцкий требовал дисциплины, выполнения приказов, использования военных специалистов. Сталин опирался на местную недисциплинированную вольницу, все время не выполнял приказов военного центра, не терпел Троцкого, как еврея. Ленину все время приходилось быть арбитром, и Троцкий резко нападал на Сталина.

Каменев, не имевший личных поводов неприязни

к Троцкому, менее честолюбивый и менее склонный к интригам, примкнул к Зиновьеву и следовал за ним. Ленин высоко поднял всю группу. Не говоря уже о том, что Зиновьев был поставлен во главе Коминтерна (тогда Троцкий это принял спокойно, он был на важнейшем посту, во главе армии во время гражданской войны), а Каменева Ленин сделал своим первым и главным помощником по Совнаркому и фактически поручил ему верховное руководство хозяйством страны (Совет Труда и Оборона), но, когда на апрельском Пленуме ЦК 1922 года, по идее Зиновьева, Каменев предложил назначить Сталина Генеральным Секретарем ЦК, то Ленин не возражал, хотя хорошо знал Сталина. Так что в марте-апреле 1922 года эта группа, не выходя из повиновения Ленину, обеспечивала ему большинство, а Троцкий перестал быть опасен.

Но 25 мая 1922 года произошло неожиданное событие, все изменившее — первый удар Ленина. Ленин бывал не раз болен последние годы — в августе 1918 г. он был ранен (покушение Фанни Каплан), в марте 1920 г. был очень болен, с конца 1921 г. и до конца марта 1922 г. был болен и отошел от дел. Но затем поправился, 27 марта 1922 г. сделал на съезде политический отчет ЦК, и все держал в руках. Удар 25 мая спутал все карты. И до октября 1922 г. Ленин практически был не у дел, и заключение врачей (конечно, секретное, для членов Политбюро, а не для страны) было, что это начало конца. Уже после удара Зиновьев, Каменев и Сталин организуют «тройку». Главного соперника они видят в Троцком. Но они еще не предпринимают борьбы против него, потому что против ожидания в июне Ленин начал поправляться, поправлялся все больше, и с начала октября вернулся к работе. Он еще выступил 20 октября на Пленуме Московского Совета, еще сделал 3 ноября доклад на 4-м Конгрессе Коминтерна. Во время этого возвращения он снова взял все в руки, разнес Сталина по поводу национальной полити-

ки (Сталин, проводя политику более централистскую, чем русификаторскую, в проекте подготавливавшейся конституции намечал создание РОССИЙСКОЙ Социалистической Советской Республики; Ленин потребовал, чтобы это был СОЮЗ Сов. Соц. Республик, предвидя возможность присоединения и других стран по мере успехов революции на Востоке и Западе). Также Ленин собирался разнести Сталина по поводу его конфликта (и его соратников Орджоникидзе и Дзержинского) с ЦК Грузии, но не успел. В октябре 1922 г. Пленум ЦК без Ленина принял решения, ослабившие монополию внешней торговли. В декабре вернувшийся Ленин на новом Пленуме эти октябрьские решения отменил. Казалось, Ленин снова все держал в руках, и «тройка» снова вернулась на роль его приближенных помощников и исполнителей.

Но врачи были правы: улучшение было кратковременным. Не леченный в свое время сифилис был в последней стадии. Приближался конец. 16 декабря положение Ленина снова сильно ухудшилось, и еще более — 23 декабря.

Уже в начале декабря Ленин знал, что ему жить осталось недолго. От этого испарились заботы о большинстве в ЦК и о соперничестве с Троцким. К тому же Ленина поразило, как за несколько месяцев его болезни быстро увеличилась власть партийного аппарата, и следовательно — Сталина. Ленин сделал шаги к сближению с Троцким и начал серьезно раздумывать, как ограничить растущую власть Сталина. Размышляя над этим, Ленин придумал ряд мер, прежде всего организационных. Статьи он уже не мог писать, а должен был их диктовать своим секретаршам. Прежде всего Ленин пришел к двойной мере — с одной стороны, значительно расширить состав ЦК, разбавив, так сказать, власть аппарата; с другой стороны, реорганизовать и значительно расширить ЦКК, сделав из нее противовес бюрократическому аппарату партии.

23 и 26 декабря он продиктовал первое «письмо съезду» (он имел в виду XII съезд партии, который должен был произойти в марте-апреле 1923 г.), в котором речь шла о расширении состава ЦК. Это письмо было переслано в ЦК Сталину. Сталин его скрыл, и на съезде, происшедшем в апреле, пользуясь тем, что в это время Ленин уже полностью вышел из строя, выдал это предложение за свое (но будто бы согласное с ленинскими мыслями); предложенное увеличение было принято, число членов ЦК было увеличено с 27 до 40. Но сделал это Сталин с целью, противоположной мысли Ленина, а именно — чтобы увеличить число СВОИХ подобранных членов ЦК, и этим увеличить свое большинство в ЦК.

24 и 25 декабря Ленин продиктовал второе «письмо съезду». Это и есть то, что обычно называют «завещание Ленина». В нем он давал характеристики видным лидерам партии, ставя вопрос о руководстве партией в случае своей смерти, и в общем склонялся к руководству коллегиальному, но выдвигал все же на первое место Троцкого. Это письмо было адресовано в сущности к тому же ближайшему съезду (им должен был быть XII съезд, в апреле 1923 года), но Ленин приказал его запечатать и указать, что оно должно быть вскрыто только после его смерти. Дежурная секретарша, правда, слов о его смерти на конверте не поместила, но сказала обо всем этом и Крупской и другим секретаршам. И Крупская, связанная этим приказом, к XII съезду конверт не вскрыла — Ленин был еще жив.

Между тем Ленин, продолжая думать над этими вопросами, через несколько дней пришел к убеждению, что Сталина необходимо с поста генерального секретаря снять. 4 или 5 января 1923 г. он сделал об этом известную приписку к «завещанию», в которой, говоря о грубости и других недостатках Сталина, советовал партии его с поста генерального секретаря удалить.

Эта приписка была присоединена к «письму съезду», запечатана, и также Крупской перед XII съездом вскрыта не была. Но содержание «завещания» секретарши Ленина знали и Крупской рассказали.

Наконец, вторую часть своего плана Ленин изложил в продиктованной им статье «Как нам реорганизовать Рабкрин». Диктовал он ее до начала марта. Эта статья пошла в ЦК нормально; Рабкрин был реорганизован в июне формально по проекту Ленина, но на самом деле опять-таки в целях Сталина.

В феврале-марте состояние Ленина было стационарно. В это время Ленин пришел к окончательному решению о борьбе и со Сталиным, и с бюрократическим аппаратом, который он возглавлял. По настоянию Ленина в конце февраля создается комиссия ЦК против бюрократизма (Ленин имеет в виду прежде всего бюрократизм Оргбюро; Ленин надеется, что на приближающемся съезде он будет руководить борьбой против Сталина, хотя и из своей комнаты больного).

Между тем Сталин после второго ухудшения здоровья Ленина в середине декабря (врачи считали, что это в сущности второй удар) решил, что с Лениным можно уже не особенно считаться. Он стал груб с Крупской, которая обращалась к нему от имени Ленина. В январе 1923 г. секретарша Ленина Фотиева запросила у него интересовавшие Ленина материалы по грузинскому вопросу. Сталин их дать отказался («не могу дать без Политбюро»). В начале марта он так обругал Крупскую, что она прибежала к Ленину в слезах, и возмущенный Ленин продиктовал письмо Сталину, что он порывает с ним всякие личные отношения. Но при этом Ленин сильно переволновался, и 6 марта с ним произошел третий удар, после которого он потерял и дар речи, был парализован, и сознание его почти угасло. Больше его на политической сцене уже не было, и следующие 10 месяцев были постепенным умиранием.

(Все, что написано выше, я знаю в начале 1923 г. из вторых рук — от секретарей Молотова; через несколько месяцев я получу проверку и подтверждение всего этого уже из первых рук — от секретарей Сталина и секретарш Ленина.)

С января 1923 года тройка начинает осуществлять власть. Первые два месяца с боязнью блока Троцкого с умирающим Лениным, но после мартовского удара Ленина больше не было, и тройка могла начать подготовку борьбы за удаление Троцкого. Но до лета тройка старалась только укрепить свои позиции.

Съезд партии состоялся 17-25 апреля 1923 года. Капитальным вопросом был, кто будет делать на съезде политический отчет ЦК — самый важный политический документ года. Его делал всегда Ленин. Тот, кто его сделает, будет рассматриваться партией как наследник Ленина.

На Политбюро Сталин предложил его прочесть Троцкому. Это было в манере Сталина. Он вел энергичную подспудную работу расстановки своих людей, но это даст ему большинство на съезде только года через два. Пока надо выиграть время и усыпить внимание Троцкого.

Троцкий с удивительной наивностью и благородством отказывается: он не хочет, чтобы партия думала, что он узурпирует место больного Ленина. Он в свою очередь предлагает, чтобы отчет читал генеральный секретарь ЦК Сталин. Представляю себе душевное состояние Зиновьева в этот момент. Но Сталин тоже отказывается — он прекрасно учитывает, что партия этого не поймет и не примет — Сталина вождем партии никто не считает. В конце концов не без добрых услуг Каменева читать политический доклад поручено Зиновьеву — он председатель Коминтерна, и если нужно кому-либо временно заменить Ленина по случаю его болезни, то удобнее всего ему. В апреле на съезде Зиновьев делает политический отчет.

В мае и июне тройка продолжает укреплять свои позиции. Зиновьева партия считает не так вождем, как номером первым. Каменев — номер второй, и фактически заменяет Ленина, как председателя Совнаркома и председателя СТО. Он же председательствует на заседаниях Политбюро. Сталин — номер третий, но его главная работа — подпольная, подготовка завтрашнего большинства. Каменев и Зиновьев об этой работе не думают — их первая забота, как политически дискредитировать и удалить от власти Троцкого.

Ленин вышел из строя, но секретариат его продолжает по инерции работать. Собственно, у Ленина две секретарши — Гляссер и Фотиева. Из остальных близких сотрудниц в последнее время болезни Володичева и Сара Флаксерман выполняли вместе с ними обязанности «дежурных секретарш», т. е. дежурили, чтобы в любой момент быть в распоряжении Ленина, если он захочет продиктовать какое-нибудь письмо, распоряжение или статью. Сара Флаксерман переходит в Малый Совнарком (это своего рода комиссия, придающая нужную юридическую форму проектам декретов Совнаркома), становясь его секретарем. Фотиева, занимающая официальную должность секретаря Совнаркома СССР, продолжает работать с Каменевым. Она рассказывает Каменеву достаточно мелких секретов ленинского секретариата, чтобы продолжать сохранять свой пост. Впрочем, Каменев не Сталин, и мелочами ленинского быта не очень интересуется.

Но из двух секретарш Ленина главная и основная — Мария Игнатьевна Гляссер. Она секретарша Ленина по Политбюро, Лидия Фотиева — секретарша по Совнаркому. Вся Россия знает имя Фотиевой — она много лет подписывает с Лениным все декреты правительства. Никто не знает имени Гляссер — работа Политбюро совершенно секретна. Между тем всё основное и самое важное происходит на Политбюро, и все важ-

нейшие решения и постановления записывает на заседаниях Политбюро Гляссер; Совнарком затем только «оформляет в советском порядке», и Фотиева должна только следить за тем, чтобы декреты Совнаркома точно повторяли решения Политбюро, но не принимает того участия в их подготовке и формулировке, как Гляссер.

Гляссер секретарствует на всех заседаниях Политбюро, Пленумов ЦК и важнейших комиссий Политбюро. Это — маленькая горбунья с умным и недобрым лицом. Секретарша она хорошая, женщина очень умная; сама, конечно, ничего не формулирует, но хорошо понимает все, что происходит в прениях на Политбюро, то, что диктует Ленин, и записывает точно и быстро. Она хранит ленинский дух и, зная ленинскую вражду последних месяцев его жизни к бюрократическому сталинскому аппарату, не делает никаких попыток перейти к нему на службу. Сталин решает, что пора ее удалить и заменить своим человеком — пост секретаря Политбюро слишком важен — в нем сходятся все секреты партии и власти.

В конце июня 1923 года Сталин получает согласие Зиновьева и Каменева и снимает Гляссер с поста секретаря Политбюро. Но не так легко найти замену. Сталин пробует заменить ее двумя своими секретарями — Назаретяном и Товстухой, надеясь, что вдвоем, разделяя работу, они смогут ее выполнить.

Увы, дело кончается полным провалом. Назаретян и Товстуха не могут сосредоточить свое внимание на всех задачах, не успевают, путаются, не схватывают, не понимают; работа Политбюро явно расстраивается. Члены Политбюро видят, что это — провал, но еще молчат.

Наконец, взрывается Троцкий. Поводом служит обсуждение ноты Наркоминдела английскому правительству. Проект ноты составил Троцкий, при обсуждении на Политбюро вносятся некоторые поправки.

Секретари, не схватывая их сути, не вносят нужных изменений. После заседания приходится объезжать членов Политбюро, поправлять, согласовывать текст и так далее.

Троцкий пишет на следующем заседании Политбюро (эта бумажка у меня сохранилась — мне ее передал Назаретян):

«Только членам Политбюро. Т. Литвинов говорит, что секретари заседания ничего не записывали по вопросу о ноте. Это не годится. Надо обеспечить в дальнейшем более правильный порядок. Секретари должны были иметь перед глазами текст ноты (я послал) и отмечать. Иначе могут возникнуть недоразумения. Троцкий.»

Зиновьев пишет на бумажке: «Нужно обзат. стенографа ГЗ».

Бухарин: «Присоединяюсь Н. Бух.»

Сталин, чрезвычайно недовольный неудачей, с обычной своей грубостью и недобросовестностью, пишет:

«Пустяки. Секретари записали бы, если бы Троцкий и Чичерин не записывали сами. Наоборот, целесообразно, чтобы в видах конспирации по таким вопросам отдельных записей секретарей не было И Ст».

Томский: «Стенограф не нужен М Том».

Каменев: «Стенограф (коммунист, проверенный в помощь секретарям заседания) — нужен Л Кам».

(То, что подчеркнуто в текстах, подчеркнуто самими Троцким и Сталиным.)

Почему я пишу, что Сталин явно недобросовестен? Он подчеркивает «по таким вопросам», как будто обсуждавшийся вопрос о ноте необычайно секретен. Между тем это — обычная практика Политбюро, огромное большинство вопросов так же или еще более секретно; выделять вопросы, по которым нельзя доверять секретарям Политбюро, в их записях, просто глупо и невозможно. Кстати: Троцкий пишет: «Только

членам Политбюро»; чтобы показать, что он с мнением члена Политбюро совершенно не считается, Сталин передает эту бумажку Назаретяну, которому она как раз не должна быть показана.

Сталину приходится все же отступить. Как было бы для него хорошо иметь секретарями Политбюро своих людей — Назаретяна и Товстуху. Увы, не выходит. Есть Бажанов, который превосходно справляется с обязанностями секретаря Оргбюро, и вероятно, хорошо справится с обязанностями секретаря Политбюро, но будет ли он своим человеком? Вот вопрос. Надо рискнуть.

9 августа 1923 года Оргбюро ЦК постановляет: «Назначить помощником секретаря ЦК т. Сталина т. Бажанова с освобождением его от обязанностей секретаря Оргбюро». В постановлении Сталин ничего не говорит о моей работе секретарем Политбюро. Это обдуманно. Я назначаюсь его помощником. А назначение секретаря Политбюро — это его прерогатива — он будет назначать на этот пост своего помощника или кого найдет нужным (впоследствии Маленкова, который и не скоро еще будет его помощником).

Глава 4

ПОМОЩНИК СТАЛИНА — СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТБЮРО

*Утверждение повестки Политбюро · Механизм власти тройки · 1-й Дом Советов · 5-й этаж дома ЦК партии · Начало работы со Сталиным · «Вертушка».
Т. Сталин «слушает».*

Назаретян, сдавая мне дела секретариата Политбюро, говорит мне: «Товарищ Бажанов, вы и не пред-

ставляете себе, какой важности пост вы сейчас занимаете». Действительно, это я увижу только через два дня, когда в первый раз буду докладывать проект повестки очередного заседания Политбюро.

Политбюро — центральный орган власти. Оно решает все важнейшие вопросы управления страной (да и мировой революцией). Оно заседает 2-3 раза в неделю. На повестке его регулярных заседаний фигурирует добрая сотня вопросов, иногда до 150 (бывают и экстраординарные заседания по отдельным срочным вопросам). Все ведомства и центральные учреждения, ставящие свои вопросы на решение Политбюро, посылают их мне, в секретариат Политбюро. Я их изучаю и составляю проект повестки очередного заседания Политбюро. Но порядок дня заседания Политбюро утверждаю не я. Его утверждает тройка. Тут я неожиданно раскрываю подлинный механизм власти тройки.

Накануне заседания Политбюро Зиновьев, Каменев и Сталин собираются, сначала чаще на квартире Зиновьева, потом обычно в кабинете Сталина в ЦК. Официально — для утверждения повестки Политбюро. Никаким уставом или регламентом вопрос об утверждении повестки не предусмотрен. Ее могу утверждать я, может утверждать Сталин. Но утверждает ее тройка, и это заседание тройки и есть настоящее заседание секретного правительства, решающее, вернее, предпрещающее все главные вопросы. На заседании только 4 человека — тройка и я. Я докладываю вкратце всякий вопрос, который предлагается на повестку Политбюро, докладываю суть и особенности. Формально тройка только решает, ставить ли вопрос на заседании Политбюро, или дать ему другое направление. На самом деле члены тройки сговариваются, как этот вопрос должен быть решен на завтрашнем заседании Политбюро, обдумывают решение, распределяют даже между собой роли при обсуждении вопроса на завт-

рашнем заседании. Я не записываю никаких решений, но все по существу предрешено здесь. Завтра на заседании Политбюро будет обсуждение, будут приняты решения, но все главное обсуждено здесь в тесном кругу; обсуждено откровенно, между собой (друг друга нечего стесняться) и между подлинными держателями власти. Собственно, это и есть настоящее правительство, и моя роль первого докладчика по всем вопросам и неизбежного конфиденанта во всех секретах и закулисных решениях гораздо больше, чем простого секретаря Политбюро. Теперь я схватываю значение замечания Назаретяна.

Правда, ничто не вечно под луной, не вечна и тройка; но еще два года этот механизм власти будет действовать отлично.

Мой доклад на тройке по каждому вопросу должен быть быстр, ясен, краток и точен. Я вижу, что тройка мной очень довольна.

Как только я назначен секретарем Политбюро, Гриша Каннер (один из помощников Сталина) и Ксенофонтов заявляют, что мне необходимо переехать в Кремль, или по крайней мере в 1-й Дом Советов. «Лоскутка» (Лоскутная Гостиница), в которой я живу — настоящий проходной двор. Туда входит, кто хочет. Теперь на «органах безопасности» лежит задача охранять мою драгоценную персону. Это легко сделать в Кремле, куда люди входят только по выполнении ряда формальностей и под строгим контролем. В 1-м Доме Советов тоже есть комендатура, и тот, кто хочет к вам пройти, должен позвонить к вам из комендатуры и получить пропуск, а при выходе предъявить его в комендатуру с вашей отметкой. Довольно серьезно звучит еще аргумент, что я могу брать на дом иную срочную работу, а это все — чрезвычайно секретные документы Политбюро. «Лоскутка» для этого никак не подходит. Я соглашаюсь, но в Кремль я не хочу — там каждый ваш шаг на учете, там вы чихнуть

не можете так, чтобы ГПУ этого не знало. В 1-м Доме Советов все же немного свободнее. Я переселяюсь в 1-й Дом Советов. Там же живут и Каганович, и Каннер, и Мехлис, и Товстуха.

ЦК партии, бывший в 1922 году и первую половину 1923 года на Воздвиженке, переезжает теперь в огромный дом на Старой Площади. 5-й этаж дома отведен для секретарей ЦК и наших секретных служб. Поднявшись на 5-й этаж, можно пойти по коридору направо — здесь Сталин, его помощники и секретариат Политбюро; пойти по коридору налево — здесь Молотов и Рудзутак, их помощники и секретариат Оргбюро. Если пойти по первому правому коридору, первая дверь налево ведет в бюро Каннера и Мехлиса. Только через него можно попасть в кабинет Сталина, и то не прямо, а пройдя сквозь комнату, где дежурит курьер (это крупная женщина, чекистка, Нина Фоменко). Дальше идет кабинет Сталина. Пройдя его насквозь, попадаешь в обширную комнату, служащую для совещаний Сталина и Молотова. Сейчас же за ней кабинет Молотова. Сталин и Молотов много раз в течение дня встречаются и совещаются в этой средней комнате.

В кабинет Сталина можно войти только по докладу Мехлиса. Курьерша входит только если Сталин ее вызывает звонком. Каннер или Товстуха, если им нужно видеть Сталина, спрашивают его предварительно по телефону, можно ли к нему. Только два человека имеют право входа к Сталину без доклада: я и Мехлис. Мехлис, как личный секретарь. Я — потому что мне все время надо видеть Сталина по делам Политбюро, а дела Политбюро считаются самыми важными и срочными. Я захожу к Сталину, кто бы у него ни был, что бы он ни делал, и прямо обращаюсь к нему. Он прерывает свои разговоры или свое заседание и занимается тем, что я ему приношу, — дела Политбюро срочнее всех других. Но это мое право и по от-

ношению ко всем секретарям ЦК, и всем советским вельможам. Когда нужно, я вхожу на любое заседание (скажем, например, официального правительства, Совнаркома) или в кабинет любого министра, не ожидая и не докладываясь, и прямо обращаюсь к нему, что бы он ни делал, прерывая его. Это моя прерогатива, как секретаря Политбюро — я прихожу только по делам Политбюро, а более важных и срочных нет.

В первые дни моей работы я десятки раз в день хожу к Сталину докладывать ему полученные для Политбюро бумаги. Я очень быстро замечаю, что ни содержание, ни судьба этих бумаг его совершенно не интересуют. Когда я его спрашиваю, что надо делать по этому вопросу, он отвечает: «А что, по-вашему, надо делать?» Я отвечаю — по-моему, то-то: внести на обсуждение Политбюро, или передать в такую-то комиссию ЦК, или считать вопрос недостаточно проработанным и согласованным и предложить ведомству его согласовать сначала с другими заинтересованными ведомствами и т. д. Сталин сейчас же соглашается: «Хорошо, так и сделайте». Очень скоро я прихожу к убеждению, что я хожу к нему зря и что мне надо проявлять больше инициативы. Так я и делаю. В секретариате Сталина мне разъясняют, что Сталин никаких бумаг не читает и никакими делами не интересуется. Меня начинает занимать вопрос, чем же он интересуется.

В ближайшие дни я получаю неожиданный ответ на этот вопрос. Я вхожу к Сталину с каким-то срочным делом, как всегда без доклада. Я застаю Сталина говорящим по телефону. То есть, не говорящим, а слушающим — он держит телефонную трубку и слушает. Не хочу его прервать, дело у меня срочное, вежливо жду, когда он кончит. Это длится некоторое время. Сталин слушает и ничего не говорит. Я стою и жду. Наконец я с удивлением замечаю, что на всех четырех телефонных аппаратах, которые стоят на столе Ста-

лина, трубка лежит, и он держит у уха трубку от какого-то непонятного и мне неизвестного телефона; шнур от которого идет почему-то в ящик сталинского стола. Я еще раз смотрю: вот четыре сталинских телефона: этот — внутренний цекистский для разговоров внутри ЦК, здесь вас соединяет телефонистка ЦК; вот Верхний Кремль — это телефон для разговоров через коммутатор «Верхнего Кремля»; вот «Нижний Кремль» — тоже для разговоров через коммутатор «Нижнего Кремля»; по обоим этим телефонам вы можете разговаривать с очень ответственными работниками или с их семьями; Верхний соединяет больше служебные кабинеты, Нижний — больше квартиры; соединение происходит через коммутаторы, обслуживаемые телефонистками, которые все подобраны ГПУ и служат в ГПУ.

Наконец, четвертый телефон — «вертушка». Это телефон автоматический с очень ограниченным числом абонентов (60, потом 80, потом больше). Его завели по требованию Ленина, который находил опасным, что секретные и очень важные разговоры ведутся по телефону, который всегда может подслушивать соединяющая телефонная барышня. Для разговоров исключительно между членами правительства была установлена специальная автоматическая станция без всякого обслуживания телефонистками. Таким образом секретность важных разговоров была обеспечена. Эта «вертушка» стала, между прочим, и самым важным признаком вашей принадлежности к высшей власти. Ее ставят только у членов ЦК, наркомов, их заместителей, понятно, у всех членов и кандидатов Политбюро; у всех этих лиц в их кабинетах. Но у членов Политбюро также и на их квартирах.

Итак, ни по одному из этих телефонов Сталин не говорит. Мне нужно всего несколько секунд, чтобы это заметить и сообразить, что у Сталина в его письменном столе есть какая-то центральная станция, при

помощи которой он может включиться и подслушать любой разговор, конечно, «вертушек». Члены правительства, говорящие по «вертушкам», все твердо уверены, что их подслушать нельзя — телефон автоматический. Говорят они поэтому совершенно откровенно и так можно узнать все их секреты.

Сталин поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза, тяжелым пристальным взглядом. Понимаю ли я, что я открыл? Конечно, понимаю, и Сталин это видит. С другой стороны, так как я вхожу к нему без доклада много раз в день, рано или поздно эту механику я должен открыть, не могу не открыть. Взгляд Сталина спрашивает меня, понимаю ли я, какие последствия вытекают из этого открытия для меня лично. Конечно, понимаю. В деле борьбы Сталина за власть этот секрет — один из самых важных: он дает Сталину возможность, подслушивая разговоры всех Троцких, Зиновьевых и Каменевых между собой, всегда быть в курсе всего, что они затевают, что они думают, а это — оружие колоссальной важности. Сталин среди них один зрячий, а они все слепые. И они не подозревают, и годами не будут подозревать, что он всегда знает все их мысли, все их планы, все их комбинации, и все, что они о нем думают, и все, что они против него затевают. Это для него одно из важнейших условий победы в борьбе за власть. Понятно, что за малейшее лишнее слово по поводу этого секрета Сталин меня уничтожит мгновенно.

Я смотрю тоже Сталину прямо в глаза. Мы ничего не говорим, но все понятно и без слов. Наконец я делаю вид, что не хочу его отвлекать с моей бумагой и ухожу. Наверное, Сталин считает, что секрет я буду хранить.

Обдумав все это дело, я прихожу к выводу, что есть во всяком случае еще один человек, Мехлис, который тоже не может не быть в курсе дела — он тоже входит к Сталину без доклада. Выбрав подходящий

момент, я ему говорю, что я, так же, как и он, знаю этот секрет, и только мы его, очевидно, и знаем. Мехлис, конечно, ожидал, что я рано или поздно буду знать. Но он меня поправляет; кроме нас, знает и еще кто-то: тот, кто всю эту комбинацию технически организовал. Это — Гриша Каннер. Теперь между собой уже втроем мы говорим об этом свободно, как о нашем общем секрете. Я любопытствую, как Каннер это организовал. Он сначала отнекивается и отшучивается, но бахвальство берет верх и он начинает рассказывать. Постепенно я выясняю картину во всех подробностях.

Когда Ленин подал мысль об устройстве автоматической сети «вертушек», Сталин берется за осуществление мысли. Так как больше всего «вертушек» надо поставить в здании ЦК (трем секретарям ЦК, секретарям Политбюро и Оргбюро, главным помощникам секретарей ЦК и заведующим важнейшими отделами ЦК), то центральная станция будет поставлена в здании ЦК, и так как центр сети технически целесообразнее всего ставить в том пункте, где сгруппировано больше всего абонентов (а их больше всего на 5-м этаже — три секретаря ЦК, секретари Политбюро и Оргбюро, Назаретян, Васильевский — уже семь аппаратов), то он ставится здесь на 5-м этаже, где-то недалеко от кабинета Сталина.

Всю установку делает чехословацкий коммунист — специалист по автоматической телефонии. Конечно, кроме всех линий и аппаратов Каннер приказывает ему сделать и контрольный пост, «чтобы можно было в случае порчи и плохого функционирования контролировать линии и обнаруживать места порчи». Такой контрольный пост, при помощи которого можно включаться в любую линию и слушать любой разговор, был сделан. Не знаю, кто поместил его в ящик стола Сталина — сам ли Каннер, или тот же чехословацкий коммунист. Но как только вся

установка была кончена и заработала, Каннер позвонил в ГПУ Ягоде от имени Сталина и сообщил, что Политбюро получило от чехословацкой компартии точные данные и доказательства, что чехословацкий техник — шпион; зная это, ему дали закончить его работу по установке автоматической станции; теперь же его надлежит немедленно арестовать и расстрелять. Соответствующие документы ГПУ получит дополнительно.

В это время ГПУ расстреливало «шпионов» без малейшего стеснения. Ягоду смутило все же, что речь идет о коммунисте — не было бы потом неприятностей. Он на всякий случай позвонил Сталину. Сталин подтвердил. Чехословацкого коммуниста немедленно расстреляли. Никаких документов Ягода не получил и через несколько дней позвонил Каннеру. Каннер сказал ему, что это дело не кончено — шпионы и враги проникли в верхушку чехословацкой компартии; материалы по этому поводу продолжают быть чрезвычайно секретными и не выйдут из архивов Политбюро.

Ягода этим объяснением удовлетворился. Нечего и говорить, что обвинения были полностью выдуманы, и никаких бумаг в архивах Политбюро по этому делу не было.

Передо мной встает проблема. Что я должен делать? Я — член партии. Я знаю, что один член Политбюро имеет возможность шпионить за другими членами Политбюро. Должен ли я предупредить этих остальных членов Политбюро?

Какие последствия это будет иметь для меня лично, не представляет для меня никаких сомнений. Погибну ли я жертвой «несчастливого случая», или ГПУ для Сталина смастерит обо мне дело, что я диверсант и агент английского империализма, Сталин во всяком случае со мной расправится. Для большой цели можно жертвовать собой. Стоит ли для этого? То есть для

того, чтобы помешать одному члену Политбюро подслушивать разговоры других. Я решаю, что здесь не надо торопиться. Сталинский секрет я знаю; раскрыть его я всегда успею, если это будет очень важно. Пока я этой важности не чувствую — полгода пребывания в Оргбюро унесло у меня уже немало иллюзий; я уже хорошо вижу, что идет борьба за власть, и довольно беспринципная; ни к одному из борющихся за власть я особых симпатий не чувствую. И, наконец, если Сталин подслушивает Зиновьева, то может быть, каким-то образом Зиновьев в свою очередь подслушивает Сталина. Кто его знает? Я решаю: подождем, увидим.

(Продолжение следует)

БАЖАНОВ Борис Георгиевич — родился в 1900 году в Могилеве-Подольском. Учился в гимназии, затем в Киевском университете на физико-математическом отделении. В 1919 году вступил в партию. С 1923 года по 1927 был секретарем Сталина. 1 января 1928 года бежал в Персию, а оттуда — через Индию — в Европу. В годы эмиграции занимался общественной и научной деятельностью. В настоящее время работает в области прикладной физики.

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

«LA PENSÉE RUSSE»

Главный редактор: Зинаида ШАХОВСКАЯ

Самая большая русская еженедельная газета на Западе. Она выходит в Париже каждый четверг на 16-ти страницах, при участии видных представителей всех трех эмиграций, и предлагает своим читателям широкий обзор международных событий, статьи по вопросам религии, философии, науки, литературы и искусства, интересные архивные материалы, документы о жизни в СССР.

Адрес редакции и конторы:

«La Pensée Russe», 217, rue du Fg Saint-Honoré,
75008 Paris, Tel.: 924-94-47; 766-21-83; 227-05-79

Подписная цена (во франц. франках):

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
ФРАНЦИЯ	35	64	116
ЗАГРАНИЦА	39	70	130

Почтовый счет: С.С.Р. 5883-44 Paris

Цена отдельного номера 3 фр.

СЕМЬ СМЕРТЕЙ МАКСИМА ГОРЬКОГО

«История все больше и больше напоминает детективный роман», — прочитал я недавно в одном французском журнале. В то же самое время «Литературная газета» писала: «В Советском Союзе не хватает детективных и приключенческих романов. Пригодились бы свои Жюль Верны, Александры Дюма, Джеки Лондоны и Конан-Дойли. Никто ведь не скажет, что у нас нет детективов. Кроме того, пример детективов оказал бы положительное влияние на советскую молодежь, способствовал бы выработке у советских людей наблюдательности, мужества и инициативы».

Из сопоставления этих двух наблюдений родился замысел почти детективной повести о семи смертях Максима Горького.

I

Смерть номер один. Горький умер в 1936 году. Его смерть была объявлена естественной и выжата в пропагандных целях до последней капли во время похоронных торжеств. Почетные заграничные гости (а среди них Андре Жид, именно в тот момент начавший в такт похоронного марша свое знаменитое «Возвращение из СССР»), стоя рядом с членами Политбюро на Красной площади, приняли парад красноармейских частей, прощальный артиллерийский салют гулким эхом пронесся над Москвой и т. д. и т. п.

«Правда» напечатала следующее коммюнике: «Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком СССР с глубокой скорбью извещают о смерти великого русского писателя, гениального художника слова, беззаветного друга трудящихся, борца за победу комму-

низма товарища Алексея Максимовича Горького, последовавшей в Горках под Москвой 18 июня 1936 года».

Медицинский бюллетень о смерти А. М. Горького, опубликованный 19 июня, сообщал, что Горький еще 1 июня заболел «гриппом, который в дальнейшем осложнился катарром верхних дыхательных путей и катарральным воспалением легких». Болезнь проходила тяжело в связи с «хроническим поражением сердца и сосудов и в особенности легких в связи со старым (сорокалетней давности) туберкулезным процессом». Смерть наступила «в результате паралича сердца и дыхания». Бюллетень подписали наркомздрав РСФСР Каминский, начальник кремлевского лечсануправления Ходоров, профессора Плетнев, Ланг, Кончаловский и Сперанский, доктор Левин, а также профессор Давидовский, произведший вскрытие тела.

Смерть номер два. Два года спустя, в марте 1938 года, в Москве начался процесс Бухарина и его «правотроцкистского блока». В ходе процесса бывший глава НКВД Ягода выступил с сенсационным признанием в том, что это он убил Горького. Применил он способ необычный и очень оригинальный: приказал секретарю Горького Крючкову добиваться того, чтобы великий писатель простудился. Когда это случилось, Ягода приказал двум кремлевским врачам — Левину и Плетневу — использовать неправильные методы лечения. В результате этого медицинского социалистического планирования Горький заболел воспалением легких и умер.

Секретарь Ягоды Буланов дал суду по этому поводу несколько любопытных разъяснений: профессор Плетнев, доктор Левин и секретарь Горького Крючков принимали непосредственное участие в убийстве А. М. Горького. Я лично, например, был свидетелем того, как Ягода часто вызывал к себе Крючкова и требовал от него добиться у Горького простуды или чтобы он

так или иначе заболел. Ягода напоминал о плохом состоянии легких у Горького, подчеркивая, что любая болезнь, вызванная простудой, увеличит шансы смерти. Остальное должны были сделать Плетнев и Левин, получившие по этому вопросу соответствующие инструкции.

Смерть номер три. В 1940 г. в Воронеже вышел сборник статей и воспоминаний о Сталине. Личный секретарь Сталина Поскребышев написал для этой антологии, в соавторстве с Борисом Двинским, чрезвычайно поучительное эссе «Учитель и друг человечества», в котором полуофициально отверг официальную версию о естественной смерти Горького. Я говорю: полуофициально, но нужно помнить, кем был при жизни Сталина Поскребышев: несомненно, персоной значительно более важной, чем обычный личный секретарь главы государства. Неудивительно, что после смерти Сталина первый триумvirат сжег верного оруженосца вместе с вождем или, во всяком случае, убрал его в долину политических теней*.

Смерть номер четыре. Четвертую версию смерти Горького мы получили благодаря Герберту Моррисону. В 1951 г. «Правда», желая доказать, что в Советском Союзе существует полная свобода печати, предложила Моррисону написать в газету статью. Моррисон, министр иностранных дел лейбористского правительства, статью написал, отослал в «Правду», и она была напечатана. Автор статьи, однако, непростительным образом нарушил добрые журналистские обычаи: приглашенный продемонстрировать миру полную свободу печати в СССР, он воспользовался гостеприимством «Правды» для того, чтобы заклеить

* Патриция Блейк писала в журнале «Encounter» (апрель 1963 г.), что Поскребышев живет в Москве и пишет мемуары.

полное отсутствие в Стране Советов таковой свободы. Редакция «Правды» снабдила статью Моррисона возмущенным комментарием, в котором, в частности, заявлялось: «В СССР свободы слова лишены неисправимые преступники, диверсанты, террористы и убийцы, подосланные иностранными разведками, преступники, стрелявшие в Ленина, убившие Володарского, Урицкого и Кирова, отравившие Горького и Куйбышева».

Здесь следует подчеркнуть, что несмотря на значительное сходство между Смертью номер два и Смертью номер четыре, есть между ними серьезное различие: в 1938 г. Горького убили, если можно так сказать, не оскорбляя благородного призвания врача, — «медицинским» образом; в 1951 году — просто отравили. Что же касается исполнителей, то между обеими версиями разница невелика: в конечном счете весь «бухаринский блок», вместе с Ягодой, был, по классическому ныне определению Вышинского, «орудием в руках иностранных разведок».

Смерть номер пять. Год, в котором благодаря выступлению Моррисона узнали об отравлении Горького, был одновременно годом торжественно отмеченного пятнадцатилетия со дня смерти писателя. Ни в одной из бесчисленных юбилейных статей, появившихся в советской и зарубежной коммунистической печати, не упоминались таинственные обстоятельства смерти Горького. Это должно было означать возвращение к Смерти номер один и Смерти номер три.

Смерть номер шесть. В обширной статье о Горьком, помещенной во втором издании «Большой советской энциклопедии» (1952 г.), есть короткое упоминание о смерти писателя: «18 июня 1936 г. Горького не стало. Его убили враги народа из право-троцкистской организации, агенты империализма, против которых

он так мужественно боролся. Несколько ранее, в 1934 году, ими же был умерщвлен М. А. Пешков, сын Горького». Из этой же статьи мы узнаем, что «в болезни» Горький еще успел прочитать текст проекта новой Сталинской конституции, опубликованный в «Правде».

Смерть номер шесть повторяет в основном версии Смерти номер два и Смерти номер четыре, с той только разницей, что не уточняет: был ли смертельный удар нанесен с помощью простуды, осложненной затем легочным воспалением, или с помощью мышьяка без всяких осложнений. Выражение «болезнь» может рассматриваться либо как тонкий намек на «медицинскую» Смерть номер два, либо как лингвистический ляпсус, выразивший влияние на автора статьи конкурентных версий Смерти номер один, номер три и номер пять.

Компромиссную формулу дает «Русская советская литература» Л. И. Тимофеева, учебник по литературе для десятых классов, утвержденный Министерством просвещения РСФСР (1952): «Подосланные убийцы, которым удалось вкратце в окружение Горького, постепенно довели его до смертельной болезни, которая положила конец его дням 18 июня 1936 года».

II

Располагая таким скудным официальным материалом, следует, конечно, избегать вопросов вроде: «Кто убил Горького?» или «Был ли Горький убит?» Правильный и осторожно сформулированный вопрос должен звучать так: «Почему на протяжении 17 лет*, прошедших после кончины Горького, две взаимоисключающиеся версии его смерти шесть раз попеременно доводились до сведения читателей?» Но и на этот

* Автор анализирует версии смерти Горького, распространявшиеся в сталинское время и продолжающие жить сегодня.

вопрос ответить трудно, не располагая, развиваемой постепенно ниже, рабочей гипотезой.

На всех московских «процессах ведьм» центральным пунктом, наряду с обвинениями, имевшими определенные политические цели, было отношение подсудимых к Сталину. Горький, правда, не попал на скамью подсудимых, никто, однако, не мешает нам исследовать также и его отношение к Сталину. Побуждает нас к этому еще одно обстоятельство, а именно — фотография, опубликованная во всех советских газетах в пятнадцатилетие смерти писателя и давшая тон юбилею; фотография должна была, по мысли организаторов, доказать многолетнюю, непрерывную и близкую дружбу между Горьким и Сталиным.

Место: Красная площадь. Дата: 1931 год. На фотографии: Сталин в военной фуражке и Горький в тюбетейке, в позе, которая должна была производить впечатление сердечной, но выглядела неубедительной. Горький выглядит человеком расстроенным, измученным и обиженным; вид у него несколько встревоженный, типичный скорее для русского мужика, впервые ставшего лицом к лицу с дьявольской фотографической машиной, чем для человека, которого фотографировали, рисовали и ваяли чаще чем любого другого советского писателя. Сталин — наоборот, Сталин вполне соответствует своему имени. Казалось бы, это еще ни о чем не говорит: в конце концов Горький был значительно старше Сталина и, насколько мы знаем, в отличие от великого вождя не отличался особым здоровьем. И тем не менее, глядя на фотографию 1931 г., нельзя отделаться от впечатления, что видишь укротителя, которому удалось, наконец, приручить дикого зверя и притащить его к объективу фотоаппарата. Вызывает подозрение настойчивость, с какой украшали этой фотографией статьи и юбилейные воспоминания. Подобную фотографию, изображающую Ленина и Сталина, долго распространяли миллион-

ными тиражами, затирая след предсмертной приписки Ленина к завещанию.

Теперь вернемся назад и перетряхнем революционные и послереволюционные годы жизни Горького в поисках корней «непрерывной дружбы» писателя с диктатором.

Даже «Большая советская энциклопедия» признала в 1952 г., что Горький совершил в первые дни после Октябрьской революции «серьезные ошибки»: недооценивал тогда организующую силу партии и революционного пролетариата, а также возможностей его союза с крестьянством, чрезмерно опасаясь напора анархо-индивидуалистической мелкособственнической стихии; с другой стороны, он преувеличивал значение старой интеллигенции и ее прогрессивности на данном этапе революционной борьбы. Горький высказал эти свои «ошибочные взгляды» в ряде статей, опубликованных в 1917 и 1918 гг. на страницах «полуменьшевистской» газеты «Новая жизнь». Его позиция подверглась острой критике со стороны Ленина и Сталина. Сталин «предупредил» Горького (в газете «Рабочий путь» за 20 октября 1917 г.), что «позиция, занятая им, может привести его в лагерь отвергнутых революцией».

Здесь стоит, быть может, помочь автору официальной биографии и процитировать образчик «ошибочных взглядов» Горького. Вот, что он писал 7/20 ноября 1917 г.: «Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к «социальной революции» — на самом деле это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции... Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть — что из этого выйдет?.. Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата

позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат».

Летом 1921 г. — продолжает информировать «Большая советская энциклопедия» — у Горького возобновился туберкулезный процесс и по настоянию Ленина автор романа «Мать» уехал лечиться за границу. С осени 1921 г. до весны 1924 г. Горький жил на немецких и чешских курортах, а в апреле 1924 г. выбрал для постоянного местожительства — Сорренто.

Отмеченные выше политические ошибки — продолжает энциклопедия — не прошли бесследно для художественного творчества писателя: Горький перестал писать. Но, живя за границей, он поддерживал живую связь с родной страной. Обильная корреспонденция тех лет свидетельствует о «напряженном внимании», с каким Горький следил за всеми изменениями, происходившими на родине, в России. Он дважды посетил СССР — в 1928 и в 1929 гг., написал серию очерков «По Советскому Союзу» и в 1931 г. навсегда вернулся на родину.*

А теперь последнее прикосновение кисти, завершающее портрет в «Энциклопедии»: «Горький был другом и соратником Сталина. Художественное творчество, публицистика, общественная деятельность величайшего советского писателя одушевлялись идеями

* Дата возвращения Горького в Советский Союз, приведенная «Большой советской энциклопедией», не соответствует ни надписи на памятной таблице на вилле «Иль Сорито» («Здесь с 1924 по 1933 год жил и работал великий писатель Союза Советских Социалистических Республик Максим Горький»), ни рассказу Всеволода Иванова о визите к Горькому в Сорренто в новогоднюю ночь 1933 г. Возможно, что после принятия окончательного решения переселиться совсем в Россию Горький еще два года провел полностью или частично («жил и работал») в Сорренто. Советская энциклопедия не хочет об этом говорить, ибо это было бы косвенным признанием того, что две предыдущие поездки Горького носили разведывательный характер с предупреждением: «Клетка еще не захлопнулась».

Сталина. В 1932 г. по случаю сорокалетия писательского труда Горького Сталин написал ему следующее письмо: «Дорогой Алексей Максимович! От души приветствую Вас и крепко жму Вам руку. Желаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса». Во время своей болезни Горький читал в «Правде» проект новой Сталинской Конституции и, глубоко взволнованный, воскликнул: «В нашей стране даже камни поют!» Преждевременная смерть помешала ему в осуществлении планов ряда произведений о современной жизни советской России. В последние годы своей жизни он собирал материалы для художественного очерка о И. В. Сталине. Смерть оборвала и эту работу. Но в публицистических статьях Горький начертал величественный образ вождя первого в мире социалистического государства».

Как отделаться от навязчивой мысли, после ознакомления с этим официальным портретом, что была, кроме болезни, глубокая связь между первой, непосредственной реакцией Горького на революцию в кровавых пеленках и его внезапным и скорее неожиданным выездом за границу.

III

Было бы, конечно, ошибкой совершенно исключать мотив здоровья при рассмотрении решения Горького уехать из России. В словах «Большой советской энциклопедии» относительно того, что Ленин «угваривал Горького поехать лечиться за границу», есть, по всей вероятности, немало соответствующего действительности. Сохранились, например, два письма Ленина Горькому, свидетельствующие о внимании, с каким на протяжении многих лет вождь революции следил за здоровьем ее певца.

Первое написано в Поронине 30 сентября 1913

года: «То, что Вы пишете о своей болезни, меня страшно тревожит. Хорошо ли Вы поступаете, живя без лечения на Капри? У немцев есть превосходные санатории (напр. в St. Blasien, около Швейцарии), где лечат и излечивают в п о л н е легочные недомогания, добиваются полного зарубцевания, откармливают, затем приучают систематически к холоду, закаляют от простуды и выпускают годных, работоспособных людей.

А Вы после Капри зимой — в Россию???? Я страшно боюсь, что это повредит здоровью и подорвет Вашу работоспособность. Есть ли в этой Италии первоклассные врачи?? Право, съездите-ка Вы к первоклассному врачу в Швейцарии или Германии — займитесь месяца 2 серьезным лечением в хорошем санатории. А то расхищать зря казенное имущество, т. е. хворать и подрывать свою работоспособность — вещь недопустимая во всех отношениях».

Второе письмо от 9 августа 1921 г. непосредственно предшествует выезду Горького из России: «Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и нерационально. В Европе в хорошем санатории будете и лечиться и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшная суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрячьтесь, прошу Вас».

Во втором письме, однако, внимательный глаз заметит не только несомненно искреннее беспокойство Ленина о здоровье Горького, но и странный для Ленина тон: «А у нас ни лечения, ни дела — одна суетня. Зряшная суетня». Кто это говорит, когда и кому? Вождь революции, через четыре года после ее победы, ее величайшему писателю. Зачем был нужен этот неожиданный взрыв усталости и горечи?

Можно предполагать, что Ленину хотелось отправить Горького за границу не только потому, что он

заботился о здоровье писателя, но и потому, что хотел уберечь его от всевозможных потрясений и разочарований послереволюционного периода, опасаясь, видимо, что они могут подорвать еще больше его уже пошатнувшуюся веру в революцию. Есть много примеров понимающего и добродушного отношения Ленина к Горькому. Вот, например, отрывок из книги Горького «Ленин и русское крестьянство» (Париж, 1924 г.): «Мне часто случалось разговаривать с Лениным о жестокости революционной тактики и нравов. «Что вы хотите? — спрашивал он, удивленный и раздраженный. — Можно ли быть человечным в такой ожесточенной борьбе». Я постоянно надоедал ему просьбами всякого рода и чувствовал, что мое заступничество в отношении некоторых людей вызывало в нем чувство сожаления, даже презрения ко мне. «Вам не кажется, — спрашивал он, — что вы занимаетесь глупостями?» Я продолжал, однако, делать то, что считал необходимым: меня не охлаждали раздраженные взгляды искоса человека, который знал счет врагов пролетариата. Он с огорчением качал головой и говорил: «Вы компрометируете себя в глазах товарищей, в глазах рабочих». Я обращал его внимание, что товарищи, рабочие находятся в состоянии раздраженности и возбуждения, которые приводят к тому, что они очень часто с излишней легкостью и «простотой» относятся к свободе и жизни ценных людей, и мне кажется, что эта ненужная, а иногда абсурдная жестокость не только компрометирует честное и трудное дело революции, но приносит практический вред революции, отдаляя от нее много не лишенных значения сил».

Послушаем, наконец, Троцкого, который сразу же после смерти Горького писал о нем в своем парижском ежемесячнике («Бюллетень оппозиции большевиков-ленинцев», июль-август 1936): «Революцию он встретил

почти как директор музея культуры»; «Ленин, ценя и любя Горького, очень боялся, что он станет жертвой своих связей (с интеллигенцией) и слабости, и в конце концов добился своего — убедил добровольно выехать за границу»; «он был спутником революции и, как все спутники, проходил разные фазы: солнце революции освещало раз его лицо, другой раз его спину».

Можно, следовательно, сказать, что Ленин — гений политический — считал Горького писателем ценным прежде всего своими литературными произведениями, а не своими любительскими экскурсами в сферу политики. Ленин опасался, быть может, что непосредственное вмешательство Горького в политику заразит писателя неизлечимым отвращением к коммунизму. Он предпочитал, быть может, держать своего сокола в боевой готовности на Западе, чем смотреть, как он бьется, ломая свои крылья, о проволоку московской клетки. Даже «Большая советская энциклопедия» делает очень существенное различие между отношением, с одной стороны, Ленина, а с другой — Сталина к бешеным антиреволюционным высказываниям Горького в 1917-1918 гг. В то время как Сталин открыто угрожал, что позиция, занятая им, «может привести его в лагерь отвергнутых революцией», Ленин «указывал Горькому на его ошибки и помогал найти путь к их преодолению в самой революционной деятельности, призывал учиться у революции, советовал приглядываться к гигантской работе, прделываемой трудящимися». «Энциклопедия» подводит итог этой проблеме, утверждая: «Потом Горький неоднократно признавал полную правоту как Ленина, так и его соратников, признавал правильность мудрой политики партии». Таким образом, очень тонко, великий Сталин революционных лет был сведен — во всяком случае в вопросе о Горьком — к роли анонимного и скромного соратника Ленина.

IV

Так в свете доступных материалов выглядит вопрос выезда Горького и роли в нем Ленина. А как относился к этому отъезду сам Горький? Конечно, можно догадываться, что причины, вынудившие автора романа «Мать» так странно поспешно покинуть после-революционную Россию, не были такими простыми, как пытаются убедить читателей официальные биографы, вроде Ильи Груздева, уверяющего, что Горький никогда не был «эмигрантом по своей воле», человеком, который «порвал с Советским Союзом или потерял связь с родной страной». До сих пор, однако, не было более конкретного подтверждения мыслей и чувств Горького в первые годы его «невольного» изгнания. К счастью, в «Новом журнале» (№№ XXX и XXXI) были опубликованы неизвестные ранее письма Горького за 1922-1925 гг. русскому поэту и критику Владиславу Ходасевичу, с которым Горький редактировал литературно-научный журнал «Беседа»*, выходявший в Берлине.

Сам Ходасевич, который в год выезда Горького за границу (1921 г.) еще находился в России, утверждает в своих воспоминаниях («Некрополь. Воспоминания». Брюссель, 1939 г.), что Горький решил запаковать вещи не только из-за своего здоровья, но и в связи с натянутыми отношениями с тогдашним председателем Петроградского совета Зиновьевым. «Дела

* «Беседа» хотела стать общей платформой писателей советских и русских писателей и ученых, находящихся за границей. Эта программа, которую сегодня нельзя даже вообразить, оказалась практически невозможной даже в 20-е годы. Письма, посылаемые Горькому из России советскими писателями, задерживались и проверялись советской цензурой. Рукописи, направляемые в «Беседу», также задерживались цензорами, некоторые вообще никогда не попали по адресу» (из предисловия Романа Якобсона к «Письмам Горького Ходасевичу», опубликованным в «Harvard Slavic Studies»).

зашли так далеко, — пишет Ходасевич, — что Зиновьев велел произвести обыск в квартире Горького и угрожал арестовать многих людей ему близких. В это же время в квартире Горького устраивались собрания коммунистов, -враждебных Зиновьеву, замаскированные как скромные товарищеские приемы, на которых присутствовали и посторонние люди». А вот несколько отрывков из писем, какие «эмигрант поневоле» писал Ходасевичу.

Письмо из Гюнтерсталя, без даты, полученное адресатом 28 июня 1923 г.:

«Пильняк и Никитин успели в Лондоне проникнуть в «П.Е.Н.клуб» — интернациональное, но аполитическое объединение литераторов, где председателем Д. Голсуорси, а членами состоят самые разнообразные люди: Р. Роллан и Мережковский, С. Лагерлеф и Гауптман и т. д... Наши бойкие парни чего-то наболтали там, и я, — тоже член этого клуба, — уже получил запрос от Правления: считаю ли возможной аполитическую организацию русских литераторов, живущих в России и рассеянных за границей? Ответил — отрицательно, указав на «Леф» и его отношение к литераторам, с одной стороны, к власти — с другой. Указал также, что одни из нас приемлют Соввласть, другие же нетерпеливо ждут гибели оной, чем и кормятся; но не согласны и не сойдутся с третьими, которые ожидают помощи Керзона, Пуанкаре, чумы и проказы. Но — кроме сего, существует Соввласть, коя не может допустить аполитической организации в Москве, ибо не признает бытия людей, не зараженных политикой с колыбели.

Было бы очень важно знать: чего именно напильничали наши в Лондоне? Не поговорите ли Вы на эту тему с Никитиным?»

Письмо из Гюнтерсталя от 4 июля 1923 г.:

«Из России пишут не хорошо, очень. Какая-то

слякоть там, усталость, уныние. Даже и простого, кожного раздражения не чувствуешь в письмах.

Письмо из Гюнтерсталя от 8 ноября 1923 г.:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано «Джиоконда, картина Микель-Анджело», а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитцше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие — будто бы (слово «будто бы» Горьким вписано над строкой) отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой:

«Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Сверх строки мною приписано «будто бы», тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства.

Что еще могу сделать я в том случае, если* это зверство окажется правдой?»

* Словечко «если» несколько ослабляет возмущение Горького, употребляет он его, чтобы оставить себе возможность почетного отступления. Ходасевич сделал к этому письму примечание: «...Горький сперва написал мне о выходе «Указателя», как о совершившемся факте, а потом вставил «будто бы» и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже «не может заставить себя поверить» в существование «Указателя». Между тем, никаких сомнений у него быть не могло, потому что «Указатель», белая книжечка небольшого формата, давно у него имелся. Еще 14 сентября, т. е. за два месяца до этого письма, в Берлине, я зашел в издательство «Эпоха» и встретил там баронессу М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот «Указатель» для передачи

Письмо из Сорренто от 13 июля 1924 г.:

«Тут, знаете, сезон праздников, — чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А — у нас? — думаю я. И — извините! — до слез, до ярости завидно и больно, и тошно и т. д.»

Письмо из Сорренто от 5 сентября 1924 г.:

«Поистине:

Бывали хуже времена,

Но не было подлей!

...Честное слово, — ночами я, один на один с собою, так тяжело чувствую себя, что — не будь это пошло и смешно — застрелился бы».

Чтобы лучше понять чрезвычайно важный отрывок следующего письма из Сорренто от 15 мая 1925 г., опровергающего советский миф о недобровольной эмиграции Горького, следует помнить, что под общей редакцией Горького и Ходасевича вышло только семь номеров «Беседы». Ни один из них не получил права на распространение в советской России, несмотря на бесчисленные усилия, протесты и мольбы Горького. Не помог даже отказ от сотрудничества с советской печатью, пока не будет снят запрет с «Беседы».

«По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротится. Он тоже упрямый».

Переписка и дружба между Горьким и Ходасевичем внезапно прервалась в июле-августе 1925 г. по

Горькому. В тот же день мы с М. И. Будберг вместе выехали в Гюнтерсталь. Тотчас по приезде «Указатель» был отдан Горькому и во время моего трехдневного пребывания в Гюнтерстале о нем было много говорено, между прочим в присутствии Ф. А. Степуна. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел «Указатель» в его руках».

такому пустяковому поводу, что сегодня можно смело считать этот повод предлогом со стороны соррентского соредактора «Беседы». В июле Горький рассердился в письме на Ходасевича за его полную энтузиазма статью о технических достоинствах знаменитой судовой верфи в Белфасте и противопоставление советским верфям. Но под маской ненатурального возмущения чепуховым пустяком скрывалось нечто гораздо более важное и существенное. В этом же самом письме Горького мы читаем: «Здесь жил у меня три недели П. П. Крючков, человек вовсе не склонный преувеличивать и деловой, то, что он рассказывает, — очень веско и значительно».

Кто такой Крючков? В годы, о которых здесь идет речь, — он был доверенным литературным и финансовым агентом Горького и директором берлинского филиала «Международной книги»; одновременно, по всей вероятности, агентом ГПУ, приставленным к Горькому с заданием следить за писателем и направлять его на путь истинный. Ходасевич пишет: «Постепенно и терпеливо Крючков, как крот, проторил себе дорожку к управлению всеми литературными и финансовыми делами Горького. В результате чего возникло между ним и Максимом (сын Горького, Максим Пешков, также занимался делами отца) соперничество, вполне заметное уже и тогда».

Говоря, что Крючков был, «по всей вероятности», агентом ГПУ в 20-е годы, я отдаю долг осторожности. Он был им *наверняка* после возвращения Горького в Советский Союз, когда занял пост личного секретаря писателя. Это тот самый Крючков, который на московском процессе 1938 г. был обвинен в убийстве, по приказу Ягоды, Горького и Максима Пешкова (см. *Смерть номер два*) и поставлен к стенке.

Что сообщил Крючков Горькому во время трехдневного пребывания в Сорренто такого «веского и значительного»? Мы, несомненно, никогда этого не

узнаем, однако непосредственный результат его визита представляется совершенно очевидным. Деловому гостю удалось, видимо, направить на путь истинный непрактичного хозяина, поскольку в том же самом письме, в котором белфастская мышь с таким трудом родила айсберг, охладивший отношения между Горьким и Ходасевичем, мы находим известие о том, что автор «Артамоновых» начал переговоры относительно печатания «Беседы» в Петербурге, с тем, что редактирование журнала продолжалось бы за границей. Мотивировка этого решения идеально гармонировала с аргументацией, которую мог бы представить «деловой человек». Стоимость печати, — сообщает Горький Ходасевичу, — в советской России значительно ниже, чем в Германии.

Таким образом, первый раунд схватки между Горьким и Москвой закончился, на первый взгляд, компромиссом, вничью. В действительности победила Москва: тот, кто говорил о себе: «он тоже упрямый» — домой не вернулся, но послал на разведку свою «Беседу».

V

В Сорренто еще живут люди, которые дружили с Горьким и его семьей или, во всяком случае, хорошо помнят давних обитателей виллы «Иль Сорито». Они охотно делятся своими воспоминаниями.

Многочисленное, очень разнородное, постоянно меняющееся окружение Горького приобрело в Сорренто в 1925-1933 гг. славу чрезвычайно светского и любящего веселую жизнь общества (*mondano e gaudente*). На тех, кто его знал, Горький производил впечатление «социалиста-гуманиста», ненавидящего жестокость и злоупотребления революции, остро реагирующего на все формы насилия. Эта черта, кстати, подтверждает знаменательное признание писателя в «Ленин и русское

крестьянство»: «Я чувствую органическое отвращение к политике и являюсь очень сомнительным марксистом, ибо не верю в правоту масс, а в особенности крестьянских масс».

Сын Горького Максим Пешков проявлял особую слабость к рюмке, гулянкам, легкомысленному образу жизни. Впрочем, все обитатели «Иль Сорито» — постоянные и временные (за исключением, может быть, только самого писателя) — большую часть времени посвящали развлечениям; часто зажигали огромные костры на пляжах в честь гостей, разбрасывали направо и налево множество денег, позволяли себе даже несколько извращенное удовольствие нуворишей — филантропию напоказ. Сноху Горького, Надежду, все называли красавицей, *la bella* или *la bellissima*. Кое-кто из старожилов помнил Крючкова. О нем говорили, как о единственном антипатичном, подозрительном, двуличном и мрачном посетителе «Иль Сорито». Максима Пешкова вспоминают, как «пьяного весельчака», *un gagliardo bevitore*, и страстного автомобилиста, тратившего бешеные деньги на постоянно новые автомобили. Горький располагал такими огромными финансовыми средствами, что вся его семья с приживалами могла жить на уровне самых разнузданных буржуев. В «Иль Сорито» обязывало традиционное русское гостеприимство и двери никогда не закрывались: гости приходили толпами, особенно вечерами, лились потоки алкоголя, когда не хватало стаканов и рюмок, пили из пепельниц, вазонов... В Сорренто все были убеждены, что Горький ежемесячно получал из России чек на миллион лир (в двадцатые годы!). Это, видимо, было преувеличением, но чрезвычайно характерным.

Откуда плыл этот золотой поток, где били его источники? Представляется невероятным, чтобы авторские гонорары Горького могли позволить ему в изгнании вести образ жизни, который своей широтой

приводил в изумление даже неаполитанских аристократов. Следовательно, откуда? По-видимому, не только из советских издательств. Это предположение, наряду с интересным и довольно загадочным обстоятельством — несмотря на связи с неаполитанскими коммунистами, Горького никогда серьезно не беспокоила фашистская полиция, — позволяет сделать вывод: после компромисса с Москвой в 1925 г. автор «Клима Самгина» находился под опекой советских властей. Они давали финансовые средства для жизни, они обеспечивали полудипломатический иммунитет у итальянских фашистских властей. (Исключительное положение Горького подтверждает в какой-то мере интервью, которое он дал известной фашистской писательнице Сибилле Алерамо, опубликованное в «Корьере делла Сера» 21 мая 1928 года: «Он благодарен нашему правительству, которое позволяет ему жить в идеальном спокойствии».)

Как представляется на этом фоне образ шамана племени Горьких, самого писателя? Он брал у советских властей деньги на содержание своего жадного к удовольствиям и веселого двора. Был в постоянном контакте с советскими издательствами и журналами, чтобы не потерять связь с русским читателем. Одновременно, однако, в тепличной атмосфере соррентской блаженной жизни он чувствовал себя как бы отрезанным от жизни и часто был сумрачный, изболевший, пожирала его ржавчина ностальгии. Самое большое удовольствие он испытывал, сидя у хорошо разгоревшегося огня в камине и слушая русские песенки в исполнении снохи. Однажды в Сорренто приехала в «отпуск — премия за ударную работу» — делегация русских рабочих. Горький долго разговаривал с ними, а потом вдруг заплакал. На вопрос: почему он плачет, писатель ответил: нелегко слушать, повторяемый всеми, рассказ о мучениях, переживаемых земляками. Мог ли он, после всего, что видел сам и слышал от

других, быть энтузиастом советского режима? Максим Пешков сказал как-то одному из своих неаполитанских знакомых: «Мы не коммунисты». Впрочем, не в том дело, был Горький коммунистом или нет. После решения, принятого в 1925 г., он не мог уже отступать. Он мог лишь сделать единственный вывод — вернуться в советскую Россию. По соображениям финансовым, ибо, благодаря ловкой тактике, сидел глубоко в советском кармане; по соображениям престижа и из гордости, не желая даже перед самим собой признаться в ошибке; по соображениям частично политическим, ибо искренне ненавидел окаменелую антисоветскую позицию русских эмигрантов; под влиянием естественного человеческого тщеславия, ибо хотелось ему вкушать в Советском Союзе славу, привилегии и авторитет величайшего современного русского писателя; и — не в последнюю очередь — по чисто сентиментальным причинам, ибо он тосковал по родине.

Соррентинские рассказы позволяют с большой долей вероятности предполагать, что поездки Горького в Советский Союз в 1928 и 1929 гг. были чем-то вроде рекогносцировки. Упомянутое выше интервью Сибилле Алерамо писатель дал после первой поездки в СССР. Есть там такая фраза: «Он скоро туда поедет снова, но на несколько месяцев. Ему кажется, что работать он может только здесь». Трудно не верить одному из самых частых посетителей «Иль Сорито», рассказывающему, что после каждого возвращения из Советского Союза семья Горького надолго погружалась в состояние одеревенения, беспокойства и разочарования, беседуя главным образом об изменениях, какие принесли первые годы сталинского правления. Особенно откровенным бывал Максим Пешков, который всегда любил поговорить (в особенности, когда пил), открыто жаловавшийся на невыносимый полицейский надзор. С горечью он вспоминал, что во время обеих поездок не мог сделать ни одного шага без при-

смотра. Но кости были брошены. Сталина не интересовало здоровье Горького, недостаточной уже была и благожелательная сдержанность (ценой пребывания за границей). Сталину Горький был нужен в Советском Союзе в тот момент, когда генеральный секретарь готовил окончательную расправу с оппозицией.

Так начался последний акт драмы. Вслед за «Беседой» вернулся в Советский Союз — «тоже упрямый» ее редактор. И журнал, и человек — чтобы погибнуть. Но если с «Беседой» все пошло гладко, почти автоматически, смерть Горького наступила только через три тяжелых года.

VI

Среди многочисленных интерпретаций московских процессов преобладает одна — самая крайняя и легкомысленная: процессы представляют собой исключительно отвратительный спектакль сфабрикованных на следствии бредовых выдумок и лжи. О легкомысленности свидетельствует знаменитый случай с Крестинским во время процесса Бухарина. Как известно, Крестинский на открытом заседании суда отказался от своих показаний, данных во время следствия, и подтвердил их только на следующий день — сломанным голосом, после ночи, проведенной в подвалах Лубянки. Если бы он был трусом и думал только о спасении жизни, он продекламировал бы без запинки, как «Отче наш», показания, согласованные с Вышинским, не дожидаясь, пока их ему припомнят с помощью «недозволенных средств». Но Крестинский не был трусом. Не был трусом и Бухарин. Смерть и того, и другого была обозначена в календаре красной линией со дня их ареста, но линия эта была дополнительно подчеркнута после того, что они посмели сказать во время процесса. Почему же они не отвергали лживые обвинения последовательно, до конца и целиком, хорошо зная,

что их ничто спасти не может, что все равно их ждет — стенка. На вопрос этот обычно отвечают трояко: или, что они не смогли выдержать пыток; или, что они согласились лояльно играть свою роль в спектакле, получив обещание следователя — не трогать семьи; или, наконец, что они остались, несмотря ни на что, верными революции и оказались сломленными железной диалектикой противников. «Железную силу диалектики» можно во внимание не принимать; она производит впечатление в книге А. Кестлера «Мрак в полдень», но вряд ли может пригодиться в ходе серьезного анализа. Семьи? Но вряд ли можно поверить, что Бухарин и Крестинский не знали, что стало с семьями их предшественников на скамье подсудимых, пропевших свой урок без запинки. Можно ли думать, что Бухарин и Крестинский вообразили, что им удастся выкупить потенциальных заложников за полцены, что они торговались на открытом заседании суда со Сталиным о размерах выкупа? Трудно рассматривать такую возможность серьезно.

Есть, однако, выход из лабиринта: обвинения на московских процессах одной ногой касались земли, а другой помахивали в воздухе под мелодию, которую Сталин наигрывал на гармошке — Вышинском. Разве было бы странно и неестественно, если бы Крестинский, противник политической линии Сталина, встречался за границей с представителями Троцкого? Но Сталин хотел большего. Сталин хотел, чтобы Крестинский оказался одновременно немецким шпионом, переодетым для сокрытия следов во фрак советского посла в Берлине. Это для Крестинского было слишком: он отказался проглотить чепуху, попытался ее выплюнуть с отвращением, как касторку, но ему ее вбили в горло силой. Процедура помогла, ибо, как мы знаем, пациент явился на следующий день в суд основательно прочищенный. Или Бухарин. Можно быть почти совершенно уверенным, что человек его склада, одарен-

ный таким темпераментом, должен был в кругу близких политических друзей резко критиковать коллективизацию. И можно думать, что он готов был без пыток признаться в этом, ибо, когда нет спасения от смерти, лучше умереть в роли идеолога оппозиции, чем в роли оппозиционного ноля. Но Сталин снова хотел чего-то большего: для округления обвинительного акта Бухарин должен был дать своим сторонникам приказ сыпать толченое стекло в колхозное масло. При чтении отчетов московских процессов следует отсеивать мякину болезненной, садистской фантазии Сталина от зерен правды. Касается это и тех эпизодов, которые лишь косвенно упоминались на процессах, либо выступали на втором плане. В частности, касается это дела Горького.

Набросанный выше портрет Горького начинает оживать. Он не был, конечно, человеком из одной глыбы, он не отличался ни силой, ни неподкупностью характера. Те, кто знали его близко, видели, что под маской фальшивой скромности скрывалась мания величия, а прежде всего пряталась склонность считать себя безошибочным провидцем и моральным суперарбитром в вопросах политических. Сравним два издания воспоминаний Горького о Ленине: это — деталь, но какая же характерная! В 1924 г., в первом издании, Горький приводит мнение Ленина о Троцком: «Покажите мне другого человека, который сумел бы в течение года создать образцовую армию и заслужить уважение военных специалистов. У нас такой человек есть». В издании 1931 г. писатель этот абзац вычеркивает. Но одновременно никогда не покидает его естественная и стихийная запальчивость, дух вечного бунтаря, простая и инстинктивная человеческая доброта, сочетающаяся с некоторыми идеалистическими чертами русских народников. Была в нем черта, типичная для людей, всего добившихся своими силами: когда ему льстили, он гнулся в торжественном и гордом кон-

формизме, когда его критиковали или недостаточно почитали, — твердел в упрямом и негибком сопротивлении.

Если, следовательно, Горький продался Сталину окончательно, то сделал это, несомненно, совсем по другим причинам, чем, скажем, Алексей Толстой, который по возвращении в Советский Союз поставил Сталина на гранитный постамент рядом с Петром Великим и с восторгом (как сам рассказывал Бунину в Париже) получил за это наличными в виде роскошных дач, подвалов, полных вина, самых дорогих автомашин. Горький готовился сотрудничать со Сталиным на равных, как титан советской литературы с вождем советского государства. Ему в голову не приходило выражать свою покорность, льстить, жертвовать Сталину свое человеческое, художественное, политическое достоинство. Более того, он рассчитывал, что станет настоящим советником Сталина, что ему удастся внести более терпимый и умеренный тон в сталинскую политику истребления, личной мести и рабства. Но не этого ждал Сталин. Сталину были нужны Алексей Толстые.

В то же время, если бы Максим Пешков хотел в Советском Союзе купаться в шампанском, играть в карты, соблазнять женщин, а в редкие минуты просветления избывать свою страсть к автомобилям, препятствовать в этом ему бы никто не стал. Но за это надо было платить чувством невозможности говорить громко то, что думаешь; за это надо было платить примирением с тем, что все дела при дворе отца находятся прочно в руках «Крючка». О Надежде достаточно сказать, что вскоре она смогла убедиться, насколько флирты в Кремле опаснее романов в Сорренто и Неаполе.

В этих условиях нет никаких оснований не верить обвинительному акту процесса 1938 г., в котором говорилось, что Ягода решил — частично по политиче-

ским соображениям, а частично по личным (было известно о его влюбленности в Надежду) — отправить на тот свет Максима Пешкова. С большой охотой взялся выполнять план убийства — напоить Максима Пешкова и оставить на ночь в снегу — Крючков. Допустим, что Горький не знал подлинной причины смерти своего сына, случившейся всего через год после возвращения семьи в Советский Союз. Он не мог не чувствовать хотя бы того, что произошло нечто необычное, нечто могущее быть либо заговором, либо предостережением. Ведь в первые дни не говорилось об убийстве Максима Пешкова «агентами Троцкого». 12 мая 1934 г., сразу же после смерти Максима, Сталин написал Горькому письмо: «Вместе с Вами скорбим и переживаем несчастье, которое так неожиданно и дико свалилось на всех нас. Мы верим, что Ваш негнубаемый горьковский дух и великая воля победят это тяжелое испытание». Быть может, Горький, читая это письмо, понял, что в его отношения со Сталиным вкралась неуловимая и зловещая тень.

VII

В соответствии с обвинительным заключением процесса 1938 г., через два года после смерти Максима Пешкова, Ягода дал незаменимому Крючкову новый приказ: подготовить вместе с кремлевскими врачами «медицинское» убийство Горького. От кого получил этот приказ Ягода? Обвинительный акт утверждает: от «бухаринско-троцкистского блока», ибо Горький был слишком предан Сталину, слишком хвалил Сталина, слишком восторгался его политикой. Нажим, какой делает обвинительное заключение именно в этом пункте, вызывает особое подозрение. Нет, пожалуй, ни одного показания в ходе процесса 1938 г., в котором не подчеркивался бы теснейший симбиоз Горького со Сталиным. Вот некоторые места из офи-

циального стенографического отчета дела «антисоветского право-троцкистского блока», изданного народным комиссариатом юстиции СССР.

Ягода: Длительное время Право-троцкистский центр старался повлиять на Горького и оторвать его от тесного сотрудничества со Сталиным. С этой целью Каменев, Томский и другие связались с Горьким. Но никакие реальные результаты не были достигнуты. Горький оставался верным Сталину, был горячим сторонником и защитником его политической линии. Поскольку право-троцкистский блок серьезно принимал в расчеты свержение власти Сталина, Центр не мог не учитывать исключительного влияния Горького в самом Советском Союзе и за границей. Мы не могли этого допустить. Если бы Горький остался жив, он поднял бы против нас голос протеста. Мы пришли к выводу, что невозможно оторвать Горького от Сталина. Объединенный центр был вынужден принять решение устранить Горького.

Рыков: Я знаю, что Троцкий, конечно, отдавал себе отчет в том, что Горький считает его негодяем и авантюристом. С другой стороны, сердечная дружба между Горьким и Сталиным была повсеместно известна и тот факт, что был он негибимым политическим сторонником Сталина, возбуждал в нашей организации ненависть к нему. Бухарин показал, что в 1935 г. Томский ему сказал: Троцкистская группа в Объединенном центре блока предложила организовать вражеский акт против А. М. Горького, поскольку он был сторонником политики Сталина. Бессонов признался, что во время одной из встреч Троцкий заявил: Горький очень близко связан со Сталиным. Он играет колоссальную роль в завоевании для СССР демократического мнения в мире, особенно в Западной Европе. Горький очень популярен, как ближайший друг Сталина и как выразитель взглядов генеральной линии партии. Наши давнишние сторонники среди интеллигенции

ушли от нас главным образом под влиянием Горького. Отсюда я делаю вывод, что Горького надо устранить. Передайте Пятакову в самой категорической форме следующую инструкцию: Горький должен быть любой ценой физически уничтожен.

Мы видим, что организаторы процесса 1938 г. слишком лезли из кожи вон, чтобы подчеркнуть дружбу Горького со Сталиным.

Вернемся к Ягоде. От кого в действительности получил он приказ убить Пешкова и Горького? Среди всех обвиняемых на последнем московском процессе Ягода был единственным, по отношению к которому обвинение в принадлежности к оппозиционной мысли звучало совершенно абсурдно и невероятно. Глава советской полиции, он был слепым исполнителем приказов Сталина и ничем больше. Почему же посадили его на скамью подсудимых, причем на политическом процессе, вместо того, чтобы избавиться от него — если возникла необходимость — бесшумным административным путем?

Потому что имелись обстоятельства, не только объясняющие механизм самого процесса, но и раскрывающие приемы, которые использовались в Советском Союзе для тайных политических убийств.

Сразу же после окончания московского процесса Троцкий опубликовал в своем «Бюллетене оппозиции большевиков-ленинцев» (апрель 1938 г.) чрезвычайно интересную статью «Роль Генриха Ягоды». Он писал: «По словам самого Ягоды (на заседании 5 марта), он дал своим подчиненным в Ленинграде поручение не мешать готовившемуся в то время террористическому акту против Кирова. Поручение, данное главой ОГПУ, было равносильно приказу организовать убийство Кирова». Почему был дан такой приказ? Напомним вслед за Троцким факты. Киров был убит 1 декабря 1934 г. никому неизвестным ленинградским студентом Николаевым. Суд над убийцей и его сообщниками

проходил при закрытых дверях. Все четырнадцать обвиняемых были приговорены к смертной казни и расстреляны. Но 23 января 1935 г. случилась, однако, вещь странная: военный трибунал приговорил двенадцать крупных работников ленинградского управления ГПУ во главе с начальником управления Медведем к тюремному заключению на сроки от двух до десяти лет. В опубликованном советскими газетами тексте приговора значилось, в частности: «Подсудимые знали о готовящемся террористическом акте против Кирова, но проявили преступную халатность, не приняв необходимых мер для его охраны». Можно ли себе представить, что Медведь и его сотрудники, зная о подготовке убийства Кирова, не доложили об этом своему непосредственному начальнику Ягоде? Есть только две возможности: либо не доложили, а тогда в стране, в которой недонесение в вопросах особой государственной важности наказывалось расстрелом, ленинградских энкаведистов осудили на смешные сроки; либо доложили, и тогда Ягода, также не принявший необходимых мер для охраны жизни Кирова, должен был сесть на скамью подсудимых уже в январе 1935 г. вместе с ленинградскими подчиненными, а не в марте 1938 г. Представляется, следовательно, как нельзя более правдоподобным, что Ягода доложил о готовящемся террористическом акте своему высшему начальнику, а то и вообще организовал убийство по приказу Сталина. Кто-то отчаянно искал в деле Кирова алиби и нашел его в лице двенадцати козлов отпущения из ленинградского ГПУ.

Троцкий пишет об этом в своей статье: «Обстоятельства убийства Кирова вызвали на бюрократических верхах шепотки о том, что в борьбе с оппозицией Вождь начал играть головами своих ближайших соратников. Ни один здравомыслящий человек не сомневается, что начальник ленинградского ГПУ Медведь ежедневно докладывал Ягоде о ходе важнейших опе-

раций, а Ягода в свою очередь информировал обо всем Сталина и получал от него инструкции.

Шепотки можно было прервать, только пожертвовав двенадцатью ленинградскими исполнителями московского плана».

Продолжая очень точные и логичные рассуждения Троцкого, легко прийти к следующему выводу: если в 1935 г. Сталину и Ягоде оказалось достаточным для получения алиби пожертвовать двенадцатью козлами отпущения из ленинградского ГПУ, то потом стало очевидно, что одеяло слишком коротко для укрытия на длительный срок двоих партнеров. Один перетянул его на свою сторону, открыв другого. Совершенно очевидно, что сделал это Сталин. В 1938 г. Ягода выступает на процессе как человек, ответственный за убийство Кирова. Алиби поступило теперь в полную собственность Сталина. Нечто подобное имело место и в деле Горького: Ягода предстал перед судом за сделанное по приказу Сталина.

Возникает вопрос, почему факт убийства Горького не был оглашен немедленно после смерти писателя в 1936 г., как это случилось с Кировым, если все равно виновных можно было найти позже? Можно думать, что в 1936 г. слишком еще свежей была память об убийстве Кирова, чтобы и смерть Горького использовать как свидетельство террористической деятельности оппозиции; в результате возникла первая версия о естественной смерти писателя. Лишь два года спустя созрел удобный момент для объявления миру, что Горький стал жертвой оппозиции, а вторым метким выстрелом доконать Ягоду. Однако повторяющаяся тактика козлов отпущения, использованная сначала в деле Кирова (двенадцать работников ленинградского ГПУ), а потом в деле Кирова и Горького (Ягода), не только не могла успокоить сомнений партийных верхов, а наоборот, — своей повторяемостью все больше концентрировала подозрения на подлинном преступни-

ке. Вот почему в 1940 г. незаменимый Поскребышев получил задание вернуться к естественной смерти; и вот почему до сегодняшнего дня смерть Горького объясняется двумя взаимоисключающими причинами. Сталин, скажем, частично, попал в собственную ловушку. Ибо даже самый осторожный вывод следует сформулировать так: если Горький случайно действительно не умер от катаррального воспаления легких, все психологические и политические обстоятельства его последних лет жизни в Советском Союзе свидетельствуют о том, что *седьмая* смерть писателя была делом рук Сталина.

Троцкий в своих статьях о московских процессах ссылаясь на анонимное «Письмо старого большевика», написанное непосредственно после процесса Зиновьева и Каменева в августе 1936 г. (т. е. через несколько месяцев после смерти Горького). Троцкий называет это письмо полуапокрифом. Сегодня мы знаем, что его автором был Борис Николаевский, старый меньшевик, эмигрировавший в 20-е годы, но сохранивший тесную связь со многими большевистскими лидерами. «Письмо старого большевика» было написано после бесед Николаевского с Н. Бухариным, приехавшим незадолго до своего ареста в Париж, и на основании слов Бухарина. В «Письме старого большевика» говорится, в частности, что Горький хотел после возвращения в Советский Союз сыграть роль арбитра и добиться примирения Сталина с оппозицией. В течение какого-то времени его усилия давали результат, но примерно в 1935 г. Сталин выбрал окончательно путь ликвидации противников, перестал навещать своего «друга и соратника», не отвечал на его телефонные звонки. Дела зашли так далеко, что в «Правде» появилась статья Давида Заславского с нападка на Горького. Рассвирепевший писатель потребовал заграничный паспорт, но послереволюционная история с Лениным уже не повторилась.

В заключение — свидетельство, которое можно назвать заgrabным. В 1954 г. немецкая социал-демократка Бригит Герланд, досрочно освобожденная в 1953 г. из лагеря на Воркуте и выпущенная в ФРГ, опубликовала в «Социалистическом вестнике» статью «Кто отравил Горького?» Привожу ее текст с значительными сокращениями: Одна из самых красочных, самых незабываемых личностей, из встреченных во время пребывания на Воркуте, — был наш больничный врач, старик почти восьмидесяти лет. Я работала некоторое время у него в качестве санитарки, и мы очень подружились, если можно говорить о дружбе между людьми такими разными и по возрасту, и по культуре. Врачом этим был Димитрий Димитриевич Плетнев. Его имя вызвало много шума во время одного из громких процессов старых большевиков (см. Смерть номер два, а также Смерть номер один, где Плетнев упоминается как врач, подписавший официальное медицинское сообщение о смерти Горького). Однажды профессор рассказал мне следующую историю: Мы лечили Горького от сердечной болезни, но мучения его были не столько физические, сколько моральные. Он не переставал терзать себя угрызениями совести. В Советском Союзе он не мог уже дышать и страстно хотел вернуться в Италию. Он старался убежать от самого себя, но сил на серьезный протест ему не хватало. Тем не менее подозрительный кремлевский деспот боялся открытого выступления знаменитого писателя против режима. И, как всегда, в нужный момент придумал наиболее эффективный способ. На этот раз была им бонбоньерка. Да, светло-розовая бонбоньерка, перевязанная шелковой ленточкой. Она лежала на ночном столике Горького, любившего угощать навещавших его гостей. Вскоре после получения бонбоньерки он щедро угостил двух санитаров шоколадными конфетами и сам съел несколько. Через час все трое почувствовали острые желудочные боли, а еще

через час наступила смерть. Немедленно было произведено вскрытие. Сбылись наши самые худшие опасения. Все трое были отравлены. Мы, врачи, молчали. Даже тогда, когда из Кремля продиктовали совершенно ложную версию смерти Горького, мы не протестовали. По Москве начали кружить слухи, шептали, что Горького убили, что Сосо его отравил. Сталину было это очень неприятно. Необходимо было отвлечь внимание общественности, направить подозрения в иную сторону, найти иных виновных. Проще всего было обвинить в преступлении врачей. С какой целью врачи это сделали? Наивный вопрос. Конечно, по приказу фашистов и их агентов. Как дело кончилось? Как дело кончилось, вы знаете...

Бригит Герланд заканчивает свой рассказ: слова Плетнева врезались в мою память навсегда. Поэтому она повторила их с максимальной точностью, «не добавив и не убавив ни одного слова». Я бы никогда не поверила, — пишет Бригит Герланд, — в этот дешевый детектив с рюзовыми бонбоньерками и отравленными шоколадками, если бы на собственной шкуре не познакомилась со «сталинскими методами арестов, допросов и процессов». Она добавляет: я никогда никому не рассказала бы о встрече на Воркуте, если бы Плетнев жил, но он умер в возрасте восьмидесяти с лишним лет на Воркуте, и НКВД ему больше ничего сделать не сможет.

НКВД ничего уже не могло сделать мертвому Плетневу. Но КГБ старается и далее делать все возможное, чтобы помешать раскрытию тайны смерти Горького и окончательно разоблачить официальную «легенду Горького». К счастью, сегодня «всесильное» КГБ значительно слабее вчерашнего «всесильного» НКВД. Сегодня в Советском Союзе — в очень трудных условиях, не всегда еще во всем успешно — начал работать неофициальный «суд истории». Включить

«дело Горького» в повестку дня этого «суда истории» — важная задача русской интеллигенции, получившей от власти Горького в качестве Святого. Быть может, раскрыв правду о Горьком, она познает правду своей собственной истории.

ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ Густав — родился в Польше в 1919 году. Война прервала его занятия в Варшавском университете. Был основателем одной из первых антигитлеровских подпольных организаций в Польше. Оказавшись на советской территории, в 1940 году был арестован НКВД. О двух годах, проведенных в советских тюрьмах и лагерях, рассказал в книге «Иной мир», вышедшей на польском и многих других языках. Участвовал в итальянской кампании в рядах Второго корпуса. После войны поселился сначала в Лондоне, потом в Неаполе. Автор нескольких книг, деятельный сотрудник польского журнала «Культура», выходящего в Париже.

ИСКУССТВО

Евгений Ш и ф ф е р с

СКУЛЬПТУРНЫЙ АЛФАВИТ МАСТЕРА Э. НЕИЗВЕСТНОГО

1. Терминологическое употребление слов «культура» и «творчество»

В основе мира покоится Истина Вечного Евангелия, покоится слово Божие как Творческий Текст Творца. Эта книга Сидящего на престоле, исписанная изнутри и вовне, есть, вседержится в Вечной Памяти Божией как Культура с большой буквы. Текст этот дискретен. Каждый дискретный уровень благословляется Творцом Культуры, то есть этого вечного Текста, при прикосновении к которому возникают культы, а на них уже базируются культуры человеческого вмещения и со-строительства с фактом Вечной Памяти. Такое, в принципе, понимание термина «культура» как человеческой практики, восходящей к «культу», было присуще о. Павлу Флоренскому. Аскетология как наука очищения сознания от профанической и безвольно принятой терминологии, чтобы пустым от «клише» сознанием прикоснуться к Тексту, постулируется как обучение Культуре, припоминание, вспоминание Культуры, чтобы в последующей трансляции вмещенного делаться и творчеством. Если Вседержитель творит из ничего, то ученик Культуры и со-творец понимается как исполнитель. Мы имеем откровение о Культуре и о Творчестве. Культ должен при-

Печатается с сокращениями.

вести человека к Вечной Памяти Божией, то есть к вхождению в Тело Христа. Творчество в терминологическом смысле открыто: это творение абсолютно нового. «Бог воплотился, чтобы человек обожился», — эта формула святых отцов представляется терминологическим определением «культуры» и «творчества». Православные аскеты-молитвенники (напомним, что аскетика есть делание, по-гречески) называли аскетикой «художеством художеств». Они были творцами себя в молитвенном делании, членами Культуры, фактами Культуры, ритмами и рифмами Великого Текста, изреченного Богом Живым. Святые есть культурные и творческие люди в терминологически точном употреблении этих слов. Но вместе с тем есть и факты спонтанного припоминания Текста и трансляции вмещённого вне «канона»; таковой факт возможен в акте припоминания Культуры «художниками», «поэтами», «философами» в принятом смысле слова. Язык подобных трансляций будет, подчеркиваю, вне каноничным, но не против каноничным, не антиканоничным. К примеру: фактом Культуры является преподобный Серафим Саровский, а фактом вне-канонического припоминания Культуры — письменность А. Пушкина (они жили в одно время). Преподобный Серафим со-творил из себя пророка Божия и свидетеля Истины, поэт со-творил «пророка» на бумаге...

Возможно предположить, что явлена будет и анти-культура, антиприпоминание Культуры, не внеканоничность, но анти-каноничность. Люди, ориентированные на анти-культуру с откровенных позиций, будут считать себя творцами «новой культуры», «нового мира». То, что именовалось Культурой, будет именоваться мракобесием. Можно предположить, что омраченность толпы станет трагическим фактом, эстетически неприемлемым для кого-то. Распад будет продолжаться, но этот некто начнёт мучительное и радостное, трагическое и счастливое припоминание

Культуры. Язык его трансляции будет заведомо внеканоничным, будет заведомо снабжен бóльшим количеством «шумов», чем язык того поэта, который творил рядом со свидетелями Закона в русле Традиции. Его трансляции будут нуждаться в большем количестве «переводов» и дешифровок, его припоминание Культуры будет, видимо, заведомо архаичным, дооткровенным по языку.

Тогда как пророки и реализаторы анти-культуры стремятся уничтожить «тексты» Культуры (убиение святых, как членов Текста; уничтожение монастырей, как школ обучения; уничтожение «письменности» и Храмов, разгон общин и т. д.), «припоминатели» Культуры будут восстанавливать один и тот же текст, хотя и на разном языковом уровне, чтобы через обращение (корректное!) к священной письменности говорить об аскетологическом Мировом Дереве как училище припоминания, где учат науке читать Текст, вечно «пустой», ибо адекватность его понимания коренится в Сознании Творца его. Многими ласточками припоминания Культуры, птицами вещими и ранними, и прогоняемыми, будут художники, поэты, ученые, вспоминаатели Культуры, работающие с зафиксированными «письменно» текстами.

Я твердо уверен, что скульптурный язык, скульптурный алфавит Эрнста Неизвестного является фактом припоминания Культуры с очень высоким порядком сакрализации элементов языка. Если ученый семиотик может вводить в научную терминологию «Мировое Дерево», подкрепляя свое свидетельство реконструкциями текстов, то художник может пытаться его, Дерево, воссоздать в присутствии ему языке скульптурного алфавита. Зная, что замыслы скульптора Э. Неизвестного не являются «иллюстрациями» к работам, скажем, В. Топорова, можно говорить о высокой ценности и того, и другого свидетельства в припоминании Культуры. Для православного сознания Дре-

во Жизни и Древо Аскезы есть Святой Крест Господа Иисуса Христа. Культовые практики всех языков, восходящие к 4-х и 8-ми членным моделям мира с Древом Жизни посередине, культовые практики, коренящиеся на аскезе, строго ориентированной на священные каноны культур, — предсказуют Пришествие Слова и Крест Слова в своих знаках. Если бы не существовало уже Текста, откровенно данного в Иисусе Христе, то проповедь всем языкам Евангелия была бы невозможна. Назвать Древо Жизни открытым именем Иисуса Христа входило в задание «семиотического порядка» для апостолов.

2. Что же «бросается в глаза» в скульптурной мастерской Э. Неизвестного?

Если войти в мастерскую «открыв глаза», то невозможно не увидеть вопиющее своеобразие алфавита, которым изъясняется автор. Несоотнесенность «клише» скульптурного языка в приложении к увиденному столь кричаща, что продолжать говорить о «греческой» скульптурной традиции нет никакой возможности. Вместо приятного и усвоенного лениво «клише» греческой пластики, бросается в глаза описание состояний некоего «иудейского» вопля пророков в их предстоянии перед Абсолютом Ягве. Словесность греческой скульптуры отмечена здесь страхом и трепетом «словесности» Ветхого Завета. Вместо «хорошего тона» греков — вопль, крик, мистическое мучение в сладости поиска Абсолютного, пред которым всяческие красоты не имеют цены. Пророки Израиля дерзали об Абсолютной встрече, встрече ценой в «смерть», ибо невозможно увидеть Бога и не умереть по слову пророков, и перед этой Абсолютностью меркнет этикет и эстетитет. Не заметить «иудаизм» сакрального алфавита Неизвестного в противостоянии «эллинизму»

знакомого скульптурного «классического» алфавита трудно. Но это еще совсем не означает осознать предлагаемый алфавит. Вновь встает вопрос о невозможности описывать данный уровень терминологией другого уровня или вообще какими-то словами из антикультуры. Пока ясно, что здесь описываются внутренние состояния! Что здесь явен энергетизм, что покров «кожи» вздыбленных «тел» не есть «покров», но напряженные подтоки динамических сил, работающие в самых разнообразных направлениях и взаимосвязях, залитые бронзой. «Кожи» телес нет, — есть силовые взаимодействия, парадоксально заливаемые бронзой. Мастер спорит с материалом скульптуры, хочет бронзу, мрамор и глину сделать живой и вопиющей адекватно внутренним энергиям, напрягающим «мышцы» вообще и «мышцу Господню», в частности. Пророк, продирающий десятицу пальцев сквозь чревную дыру, именно сквозь истекающий истомой прорекания, изображает, так сказать, состояние пророчества, уровень сознания прорекания, а не пророка имярек. Было бы непростительным жульничеством, если бы мастер назвал это состояние, скажем, каким-нибудь именем поэта из понятий антикультуры. Налицо спонтанное свидетельство, истекающее из полутрансового состояния самого скульптора, состояния, которое для него в процессе работы делается обычным. Отделывать языковую лаву этого свидетельства невозможно не из-за «неумения» профессионала, а просто потому, что отделка на этом уровне сознания не есть координата отсчета. Язык Ветхого Завета грозен, нежен, страстен и невечерних, — это жизнь, символизированная в знаках-буквах, а не литература. Прорекание как состояние сцеплено в узел многих динамик: здесь и радость, и страх, и трепет перед Ягве; здесь и радость, и страх, и трепет о непосильности бремени пророка; здесь и радость, и страх, и трепет о народе, к которому слово Божие

истекает через пророка; здесь и радость, и страх, и трепет народа, к которому слово Божие, ибо пророк часть этого народа, и он более всех чрез себя несет на себе народ. Что было бы, если бы воистину стало возможным залить неким расплавленным металлом, имеющим в себе многоцветие при застывании, все нюансы страха и трепета пророческого служения? Какими «мышцами» напряглось бы тело пророка? Как зияла бы дыра отчаяния и надежды, сквозняком открытая ветрам пустыни Израиля, бродящего сорок лет для забвения языка и мыслей Египта, и рабства Египта, пораженного многими язвами от Ягве?

Если художник вовремя осознает своё полутрансовое свидетельство как припоминание Культуры, если, далее, он осознает его в терминах данного уровня, то он станет не только «большим скульптором», но и кем-то более значимым перед лицом Бога. Если же он будет клиширован извне и изнутри, то он попадет крылья; но и его опаленные крылья будут большим знаменем для тех птиц, которые станут петь Культуре после него. Его свидетельство не может пройти незамеченным; вопрос только в том, чтобы ему самому побольше приблизиться к самому члену Культуры, приблизиться к святости и предстоянию перед Тем, перед которым праведен всяк, кто творит добро во Имя Его и Его творения. После «борьбы» с антикультурой художник начнёт учиться припоминанию и сознанию Культуры. Его творческие трансы станут осознанными. Здесь возможен переход художника вне канона в иконописца-создателя в каноне. Эрнст Неизвестный не выбрал никакого исповедания. Его кресты вне-каноничны. Но кресты явно делаются центрующими в синтаксисе фраз Неизвестного. Кресты-человеки, кресты-прорастания, кресты-семьи, кресты-люди-друг-в-друге, — и всё это в связи, в вязи витков лент-«мёбиусов», семи витков, которые, по

мысли Неизвестного, должны образовать крону Некогого Древа или Куста.

Припоминая Культуру, мастер спорит с неживым материалом бронзы или мрамора и показывает в символах тот великий спор с живой энергией мира, которую подчиняет себе подвижник. Мастер показывает, открывая в символах, тот процесс подчинения живой энергии, который творит подвижник вообще — вот что видишь, глядя на ветвистое сплетение макета Древа Страдания, представленное в «мёбиусах», в свой черёд изъяснённых шрифтами из тел Крестов во имя всей твари... Агнец, закланный от создания мира, Агнец, вкусивший смерти, не будучи подвластным ей по Своей Божественной природе, — мучения Его, пронизанные сакральным эросом любви к твари, мучения Его, столь невыразимые, что человеку невозможно вместить их, ибо человек смертен, потому что рожден, а Тот был бессмертен, но родился для смерти, и воистину Один лишь познал, что это такое от начала и до конца, — все эти Голгофские борения припоминает человечеству Древо Неизвестного. Та запись об Агнце, те страдания его во плоти, вольные страдания в уничтожении Себя и истощании, которые записаны в Тексте Культуры, оживают в припоминании свидетельства Неизвестного. И здесь приходит мысль, что материал, столь неподдающийся динамике, как бронза, является адекватным для подобного рода свидетельств. Невозможные страдания передаются в невозможных символах вздыбленного вопля скульптур!

*3. Антиномичность языка мастера. Антиномии:
«возможное и невозможное», «радость и страдание»,
«смерть и венчание»*

Под антиномичностью мы понимаем мистическое свидетельство «и-и», которое не снимается рациональ-

ным суждением «или-или», наиболее ярко данное в догматических определениях Православия о Святой Троице. Когда антиномичность мистического опыта пыталась быть снятой рациональными рассуждениями, возникали ереси. Хотя, как отмечалось, свидетельство Неизвестного вне-канонично, оно не имеет тенденции быть анти-каноничным, более того, представляется, что язык мастера явно антиномичен, то есть мистичен, а не рационален.

В мастерской явна антиномия «возможное и невозможное», ибо бронза и гипс под рукой мастера остановили неостановимое. Именно «возможность и невозможность» показать остановку в залитой лаве бронзы динамики демонстрирует язык, прикасающийся к уничтожению времени. Пространственная динамика языка состояний останавливается, фиксируется, тяготеет к уничтожению времени и показу символа, закона Креста, который лежит в тайне мироздания и взаимоотношения твари и Творца. Порядок текста, который стремится показать «возможное и невозможное» вневременно, являет собой очень высокую организацию, ибо припоминает Творчество как Творение и Свершение невозможного с рациональной точки отсчета, именно: заключение Бесконечного Божественного Лица в конечную тварную природу, чтобы конечное существо-человек обрел в свой черед бесконечность, вечность, уничтожение времени. Такая антиномичность языка изображения свидетельствует о контроле сознанием мастера иных координат отсчета, выходящих за рамки норм.

Вторая антиномия: «радость и страдание». Действительно, при всём наличии страдания, явленного в скульптурах и гравюрах, в них также слышится таинственная радость... Свидетельство не пугает, а поставляет лицом к лицу с тайной иного отсчета. Есть песенная радость, радость, освобождающая нас от страданий в Страдании, которое беретя на Себя. Здесь мож-

но припомнить индо-тибетские медитативные «свирепые» божества и стражи света, ибо в медитации на них созерцающий отдавал им, объективировал свои «страхи», и тем избавлялся от них в своем сознании. Психотерапевтический нюанс древнего искусства, как медитативного, отмечался уже, и символика мастера вновь напоминает ценность архаики и мифологии в излечении «болезней». Бог взял на Себя наши «болезни», и при всём страдании, которое здесь невозможно остановлено для созерцания, приходит и радость о Таком Боге. Неимоверное страдание открывается и неимоверной радостью, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего! Это — тайна.

Знаменательным является в антиномичном языке скульптур Неизвестного некое прикосновение к этой тайне, ибо «смерть», столь детально рассматриваемая мастером, несет и сладость «венчания». Да, некая сакральная и высокая эротика присутствует в символическом свидетельстве Неизвестного. Что-то предельно трепетное и таинственное звенит над будущим Древом, ветви которого в своих замкнутых и изъязвленных шипами фигур мученических венцах что-то говорят и о венцах брачных... Исайя говорит об Израиле как о Неверной Супруге Ягве, а христианские святые что-то знали о Церкви, как о Невесте Христовой, которую Он Сам очистил, приняв Крест за неё. Символика антиномии «смерть и венчание» имеет очень высокий порядок организации у Неизвестного, является припоминанием и Культуры и Творчества в исповедании возможной невозможности и радости страдания великих слов величайшей антиномии: «СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ». Древо Страдания и есть Древо Жизни!

Как это? Не знаем, ибо помыслить этого не можем. Язык антиномий Неизвестного свидетельствует о прикосновении сознания мастера к Вечному Тексту, явленному во Христе, но в явленности своей еще более

погрузившему человека в неисследимость Тайны Божией, которая будет открыта в конце времён.

4. Разговоры

Мы довольно часто разговариваем с Эрнстом Неизвестным, когда он любезно принимает меня в своей мастерской. Почти всегда он занят видимой работой и всегда — невидимой, ибо вскоре делается ясным, что хотя он и разговаривает, но еще и пребывает в кругу своих идей, дышит ими. Работа его живет в нем. Его биографией могли бы быть только его скульптуры, его гравюры, его рисунки, его альбомы, хотя он и хорошо воевал, хорошо спорил с властями, хорошо гулял с собутыльниками. Он одержим работой, только в ней ему не пресно, всё остальное же «пресновато», хотя споры порой грозили «рудниками», этими специфически российскими неприятностями. Так вот из многих разговоров я уловил (оговариваю неадекватность моих улавливаний) его чаяния. Ему хотелось бы увидеть его замыслы о Древе-Кусте реализованными не только в эскизах и фрагментах, но в масштабе и в полноте. В пустыне или еще где-то должно прорасти его Древо из семи витков, куда даже «Пророк», соответственно увеличенный против уже отличного, вошел бы «гранью», буквой Текста, жилкой лепестка ветви Древа. Древо должно быть обозреваемым и отвне (издали, с самолёта, при подходе, задирая голову), и изнутри, как «интерьер», ибо должно ходить и лазать по ветвям вверх и вниз. Тогда сплетения изъязвлённых мёбиусов дадут и неожиданные «точки» смотрения, неожиданные и непредсказуемые ракурсы постижения. Семь лент-мёбиусов — семь цветов радуги, и кто может предсказать все переливы цветов в лучах заходящего или восходящего солнца? Кто может предсказать все таинственные звуки, кото-

рые будут возникать внутри этого проросшего Древа, когда о бронзу будет ударяться песок, поднимаемый ветром, и сам ветер будет сквозить сквозь дыры, разверстых руками пророков или стволами крестов? Шелест ли босых ног, осязательно шупающих Древо, стук ли деревянных подошв, отдающихся в полую бронзу, — кто может предсказать все нюансы этого «мантрического» шифра звуков, который станет жить внутри Древа?

Его замыслы глубоко архаичны в осмыслении «роли» искусства. Знает ли он «осознанно» или не знает, но он дерзает воздвигнуть святилище. Я говорил уже, что его припоминание Культуры вне-канонично, а не анти-канонично. Поэтому «глупо» говорить ему: ты ищешь уже открытое, ибо есть каноны Храмов, и каноны службы, и каноны молитв, и каноны причастия. Он припоминает Культуру, и его Древо могло бы стать сенью Мамврийского Дуба, где встречались с Тайнственным наши праотцы, могло бы стать и сенью межконфессионального Храма. Такой замысел невозможно реализовать не только в стране антикультуры, где учился припоминать Культуру мастер, но, видимо, и «вообще» где-либо, ибо народы мнутся в «ячестве» и разобщенности. Но этот замысел возник, он стал уже возможным в мечте.

ШИФФЕРС Евгений Львович — родился в 1934 году в Москве, его отец — известный переводчик Уильяма Сарояна. Окончил военную школу, потом Ленинградский театральный институт, был из самых заметных молодых режиссеров (театры им. Ленинского комсомола, «Драмы и комедии» — в Ленинграде, «Современник» — в Москве), известен также работой в кино (поставил фильм «Первороссияне» по сценарию Берггольц, о котором много писали, но практически не пустили на широкий экран). Постепенно работа в театре и в кино была ему запрещена властями, но к этому времени он и сам далеко ушел от нее в своем развитии. В настоящее время живет в Москве.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Литература и время

Александр Бахрах

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

АНДРЕ ЖИД

«J'en suis ébloui pour le reste de ma vie...».

«Я им ослеплен до конца моей жизни...».

Запись Стендаля, сделанная после двадцатиминутного разговора с Байроном в фойе миланской оперы.

При чтении этих весьма отрывочных и лишенных хронологической последовательности заметок о моих встречах с Андре Жидом может сложиться впечатление, будто я стенографировал его высказывания. Это, конечно, не так, да и по сути вещей так быть не могло. Но тогда может возникнуть вопрос, как спустя тридцать лет или того более мог я запомнить то, что говорил Жид мне или в моем присутствии. За дословность наших разговоров я, естественно, не ручаюсь, но зато готов отвечать за смысл всего того, что я вкладываю в его уста. Больше всего я стремился передать тональность наших бесед, и в этом в значительной мере помогла мне моя «чёрная тетрадь», в которую я в те далекие дни кое-что записывал почти сразу же после встреч с Жидом. Без этих фрагментарных записей я бы очень многое запомнил и только горько теперь сожалею, что по целому ряду причин записывал далеко не всё, что следовало. Добавлю, что после встреч в Париже после освобождения Франции — сравнительно немногочисленных — я уже больше моей те-

тради не касался, и оттого многое, действительно, забылось.

Я хотел бы еще добавить, что, вероятно, многое из того, о чем я пишу, в той или иной форме вспоминалось и другими. Литература, посвященная Андре Жиду, огромна, и велико число людей, записывавших свои разговоры с ним. Так что вполне возможно, что я не раз повторяю уже до меня появившееся в печати. Но это в порядке вещей и иначе и быть не могло. Не мог же Жид на сходные темы говорить разное разным людям, это было бы действительно противоестественно. Дело лишь в том, как те или иные из его высказываний преломлялись в сознании его собеседника.

* * *

Грасс — старинный городок на юге Франции, расположенный на отрогах Альп, совсем близко от средиземноморского побережья. В нем в течение многих лет жил Бунин, а я — в тяжелые годы второй мировой войны — оказался, так сказать, под его крылышком.

Сентябрь 41-го года был особенно мрачным месяцем, подлинно «чёрным сентябрем». Всех нас, обитателей бунинской виллы «Жанетт» тянуло послушать радио, но мы боялись включать его: неустанно раздавались немецкие фанфары, возвещавшие об овладении русскими городами, одним за другим. Гитлеровские победы следовали тогда одна за другой на всех фронтах.

Иван Алексеевич ходил хмурый и удрученный. «Дорогой мой, — обратился он как-то ко мне, — будьте другом, сбегайте в город на почту. Для того, чтобы мое письмо ушло сегодня же, непременно надо отправить его с самой почты».

У почтового окошечка — небольшая очередь. Рядом со мной незнакомый человек. По внешности он

мог бы быть протестантским пастором. Но лицо его кажется мне донельзя знакомым, а все-таки не могу сообразить, где я его мог видеть. Он посылает денежный перевод и что-то недовольно говорит почтовой служащей, и я слышу: «Нет, Катрин, Катрин Жид...»

Как же я мог не узнать его сразу? Я ведь уже знал, что за несколько дней перед тем он перебрался в Грасс и в первый день своего приезда посетил бунинскую виллу, чтобы — в случае нужды — предложить свои услуги. А я после красочных бунинских рассказов об этом визите кусал себе локти, что как раз тогда на день отлучился из Грасса.

Конечно, подойти к нему тут же, на почте, я не решился. Я уже слышал, как он реагирует на такого рода «приставания», да ведь и повода завести с ним знакомство у меня, собственно, не было никакого. Я был искренним поклонником его творчества, в свое время прочел, кажется, все им написанное, но что из того?

Но вот... несмотря на всю сложность и некоторую запутанность жизни на бунинской «Жанетте», хозяйка дома, по мере возможности, всегда стремилась сохранять некоторые патриархальные обычаи. В частности, она очень внимательно относилась к празднованию дней рождения. А я как раз родился под знаком «Девы», то есть именно в эти дни, хотя сам я никогда моего «юбилея» не отмечал, да к тому же с каждым годом это событие меня все меньше и меньше радовало. Но «в чужой монастырь со своим уставом не ходят», и вопреки тому, что у каждого из нас на душе кошки скребли, Вера Николаевна категорически заявила, что день моего рождения будет «торжественно» отпразднован. Мало того, чтобы доставить мне удовольствие, она к завтраку пригласила Андре Жида и мне ничего не оставалось, как — со своей стороны — позвать двух моих старых приятелей, живших тогда в

Нище (одним из них был Адамович, и мне ошибочно казалось, что он с Жидом был знаком).

Я должен был приложить максимум пронырливости и пустить в ход мои дружеские связи с лавочниками старого города, чтобы по знакомству раздобыть бутылку спирта, который я затем настаивал на апельсиновых корках, кусок какой-то невзрачной колбасы и даже — о, чудо! — две коробочки настоящих сардинок на настоящем оливковом масле!

Словом, завтрак удался на славу и, когда я нашему почетному гостю — по его настоянию — подливал третью рюмку моего настоя, он тут же заметил, что, кажется, впервые за всю долгую жизнь выпивает такое количество водки. По его словам, во время путешествия по советской стране ему этот напиток частенько приходилось украдкой выливать на пол, так как он не переносит алкоголя. «Но сегодня — день особенный», — учтиво добавил он.

Меня сразу же поразила и привлекла к нему не только простота его обращения, но и какая-то его домашность, уютность человека, всячески избалованного жизнью и столько вкусившего от «земных яств».

Сразу же после завтрака, который единогласно был признан «лукулловским», Жид, словно старый друг дома, попросил разрешения уединиться и где-нибудь прилечь, хотя бы часок отдохнуть, так как уходить домой ему совсем не хотелось.

По рассказам Бунина, да и сам Жид записал это в свой знаменитый «Дневник», его первый визит на «Жанетту» был в каком-то смысле разочаровывающим и никакого контакта с Буниным ему создать не удалось. Он писал, что один придает слишком мало значения тому, чем другой восхищается и — цитирую его дословно — «бунинский культ Толстого стесняет меня не меньше, чем его презрительное отношение к Достоевскому, к Щедрину, к Сологубу (это последнее имя, названное им, в таком контексте, конечно, озада-

чивает. — А. Б.). Подлинно, у нас разные святые и разные боги. Мне было совестно, что из всех его произведений я знал только «Господина из Сан-Франциско» и «Деревню», о которой он мне сказал, что это, собственно, еще незрелое произведение, которое для его творчества не характерно, плохо его представляет, и я заблуждаюсь, превознося эту повесть. Он почти готов был от нее отречься. Я не знаю, что из написанного мной он читал, и не мог обнаружить, на чем основывается его симпатия ко мне, которую он все время не переставал проявлять».

Однако в день моего рождения никаких литературных стычек не происходило, был общий застольный разговор и Бунину не пришлось страдать из-за невозможности с достаточной отточенностью высказывать свои мысли. Его французский язык был недостаточен, чтобы в антиномии «Толстой-Достоевский», так обоих волновавшей, стараться переубедить Жида и склонить его на свою сторону.

А Жид, как мне казалось, отдыхал именно благодаря отсутствию «умных разговоров», которые обычно большинство его собеседников считают обязательным вести при нем.

К концу дня волей-неволей пришлось расходиться и я вызвался проводить Жида вниз, к городу. Вилла «Жанетт» стояла на взгорье и, чтобы спускаться, лучше было пользоваться тропой, значительно сокращавшей весь путь. Но ее нужно было найти.

По дороге мы разговорились, и с глазу на глаз разговор сразу же принял иной характер. Мы перескакивали с одной темы на другую, но всякий раз, о чем бы я ни заговаривал, я находил в нем некое «эхо», он всем интересовался, на все реагировал, часто вполне неожиданно и очень по-своему.

К концу пути, который мне показался небывало коротким, он спросил, играю ли я в шахматы, добавив, что в «ненастные дни» эта игра его очень развле-

кает и прельщает. Я — никакой не шахматист, с шахматной теорией незнаком, но по-любительски чуть играю. Это его очень обрадовало, и он предложил мне встретиться с ним в одном из грасских кафе на следующий же день.

Как на зло, в этот день с самого утра лил дождь, который упрямо не хотел прекращаться. Я был почти уверен, что погода помешает Жиду прийти на свидание. Однако, едва я в назначенный час зашел в кафе, как увидел его в углу, задрапированного в какую-то неопишемую разлетаю, повязанного широченным шерстяным шарфом, с какой-то бесформенной шляпой на голове, а перед ним уже наготове стояла шахматная доска с расставленными на ней фигурами.

Оказалось, что наши шахматные таланты почти уравниваются. Мне, впрочем, казалось всегда, что он — хоть в большинстве случаев мне проигрывал — играл лучше меня, но в какой-то момент его шахматное внимание притуплялось и он, очевидно, думая одновременно о чем-то другом, совершал промахи, ставя противника в выигрышное положение. Как я мог впоследствии убедиться, эта черта проявлялась не только в шахматах, она выступала и в более серьезных вещах. Недаром один из авторов, писавших о нем, озаглавил свою статью «Андре Жид, или боязнь оказаться правым», и в этом кажущемся парадоксе, который мог быть отнесен и к его манере играть в шахматы, был глубокий смысл, и сам Жид не отрицал проницательность этой статьи и меткость ее заглавия.

После этой первой шахматной партии я стал довольно часто с ним встречаться — думается, не реже двух-трех раз в неделю. Для меня шахматы были только поводом для новых встреч, для тех пленявших меня бесед, которые возникали после конца партий. Разговаривать с ним, слушать его было подлинным наслаждением, чем-то, чего я ни до того, ни после никогда не переживал. Дело было не только в том,

что все, что он говорил, было интересно, веско, значительно даже в пустяках и часто любопытно и неожиданно, потому что шло наперекор тому, что логически следовало от него ждать, но еще — был в нем какой-то особый талант делать разговорчивыми и своих собеседников, и я думаю, что это подтвердят все, кто с ним сталкивался. С ним можно было иной раз шутить, шутки он готов был ценить, не чуждался каламбуров, но, главное, обаянием своей личности он невольно и непреднамеренно создавал атмосферу, при которой легко было говорить с ним обо всем, что мучало, волновало или угнетало. Может быть, сам того не замечая, он подталкивал собеседника на разговоры о самом — для данного человека — важном, все выслушивал с вниманием и, кажется, не было случая, чтобы его отклик на «плач в его жилетку» не был мудрым, а его советы — по какому-то окрыляющими.

Конечно, основной темой наших разговоров была литература и, в первую очередь, русская литература. Меня вначале поражала его осведомленность в этой области. Несомненно, он прочел почти все, что только можно, причем ознакомился с русской литературой не только по французским переводам, но, когда такового не существовало, некоторых русских авторов читал по-английски или по-немецки. Интерес его к России начался очень давно и держался почти до конца его дней.

Естественно, что о ком и о чем бы ни говорилось, в конце концов, во главу угла, почти сама собой, проскальзывала дилемма — Толстой или Достоевский, точно имена этих двух гигантов должны были непременно вступать в некое единоборство.

Он неизменно повторял, что для него Толстой — великий писатель, но — и это сопоставление не он придумал — столь же велик Стендаль, тогда как Достоевский — совершенно обособленная стихия, вне

всего, над всеми. Проследите, говорил Жид, какое влияние он оказал на всех нас.

Я тогда же спросил его, тянет ли его перечитывать Достоевского. Он замялся и ответил не сразу. «После моей книги о нем я поставил точку и больше к нему не возвращаюсь. Я сказал о нем все, что я думаю. Но в ответ на ваш каверзный вопрос мне только остается еще раз повторить слова Ницше, под которыми я, не задумываясь, подписываюсь и которые я уже не раз приводил». Он заметил, что я толком не знаю, о каких словах он говорит, и тут же процитировал их на память. Ницше, он мне напомнил, сказал, что Достоевский — единственный, который ему что-то открыл в сфере психологии, и знакомство с Достоевским — это опять-таки слова Ницше — для него более значило, чем знакомство со Стендалем.

А затем Жид для ясности прибавил, что разница между романами Достоевского и романами Толстого или Стендала такая же, как между картиной и панорамой (под словом «панорама» он имел в виду вид, открывающийся с возвышенной местности). Достоевский, настаивал он, пишет картину, и в ней главное — распределение светотени, а у Толстого свет рассеянный и все предметы этим светом одинаково освещены. А ведь у Достоевского, как и у Рембрандта, важны тени. По мнению Жида, герои Достоевского сами не знают, испытывают ли они любовь или ненависть к кому-то, к чему-то, и нередко оба эти чувства сливаются.

Но, может быть, наиболее привлекательное в Достоевском, наиболее к нему влекущее, было, как Жид уверял, отвращение к церковности и в особенности к католической церкви. Нет, не раз говорил он, автора более христианского и менее католического, чем Достоевский, который сам считает, что свое учение он получил непосредственно из Евангелия, а это менее всего способна допустить католическая церковь. Вместе

с тем, иной раз, как бы сам себе противореча, он выражал сомнения по поводу того, что Достоевский по-настоящему был религиозен (в смысле церковном). Он при этом указывал, что уже не раз говорил и писал по этому поводу и что я заставляю его повторяться, но делает это тем более охотно, что искренно убежден в правильной оценке личности и основных идей Достоевского.

— Но ведь и Толстой выводил свое учение из Евангелия, — пытался я ему робко возражать.

— Кто-то до меня уже сказал, что это Евангелие от Льва... — возразил он с иронической усмешкой.

В другой раз, возвращаясь к этой «больной» теме, Жид сказал, что его особенно подкупает в Достоевском то, что в своих писаниях он не прибегает ни к каким литературным приемам. Когда Толстой что-то рассказывает, он становится свидетелем, свидетелем чудесным, и каждый читатель перед своими глазами ясно видит то, о чем ему поведал Толстой, а Достоевский постоянно что-то открывает, у него возможно все. Затем Жид добавил, что в Толстом его коробит то, что он то и дело «плутует» (не могу не поставить этого слова в кавычки) сам с собой, не всегда с собой искренен, он хочет, чтобы мы поверили, что он стремится уйти от мира, а ведь он — великий чувственник и, при этом, стремится скрыть то, что ему дано природой.

«Только не выдавайте меня, — с лукавой улыбкой сказал он, — но Бунин, подарив мне свою отличную книгу о Толстом, многое в нем приоткрыл, он заставил меня сомневаться в искренности человека, восставшего против своей природы, остающегося гордецом в бунте против этой своей природы, в борьбе с собственной судьбой. Я восхищаюсь им, восхищаюсь даже тем, что и умереть он не захотел, как всякий нормальный человек, но не могу быть ему созвучным, потому что люблю я только людей смиренных и скромных».

Несколькими днями позже, за обедом он неожиданно вспомнил Тургенева, которого читал еще в двадцатилетнем возрасте. Он стал меня уверять, что до сих пор ему памятно то впечатление свежести, точно это был запах свежескошенной травы, которое он испытывал при чтении. «Тургенев, собственно, был моим первым знакомцем из России, благодаря ему я познакомился с русской литературой и узнал Россию и из-за одного этого я храню к нему чувство вечной признательности и даже больше того — чувство нежности. Особенно остаются в моей памяти «Живые мощи» и рассказик «Наши послали» (кто помнит этот трагический эпизод из истории июньских дней 830-го года в Париже, вошедший в «Литературные и житейские воспоминания?»). Я часто читаю эти две коротких вещицы вслух и редко когда могу удержаться от слёз».

— До чего нелепо, что Тургенев теперь заброшен и его мало читают, нелепо, как вы говорите (я ничего похожего не думал говорить!), что «мода» на него прошла, точно может существовать мода на подлинное искусство... Нет, что ни говорить, а Тургенев — большой писатель.

Жид высоко ставит Щедрина, хотя несомненно, что, кроме «Головлевых» он ничего не читал, но, конечно, это — лучшая вещь Щедрина и для его оценки и этого достаточно. Зато он очень отрицательно относится к Гончарову, хотя благодаря толстенной монографии о нем Мазона имя его стало во Франции довольно популярно. «Значение Гончарова преувеличено, он не чета другим русским классикам, — говорит Жид, — и «Обломова» мне было скучно читать, и это чтение ничего мне не дало».

О Гоголе в наших разговорах упоминал мало, но думаю, что это просто случайность, потому что имя Гоголя нередко мелькает на страницах его «Дневника». При мне он только упомянул, что пакуя свои

чемоданы перед поездкой в Россию, вложил в них «Мертвые души», считая, что лучшего «путеводителя» не найти! Однако обстоятельства сложились так, что перечитывать «поэму» Гоголя у него там не было времени и он дал ее одному из своих спутников.

Конечно, оценить Пушкина по-настоящему он не мог, ведь все иностранные переводы до единого даже не «Фрейшиц, разыгранный перстами робких учениц», но тем не менее Жид испытывал к Пушкину чувство подлинного пиетета и, может быть, как-то интуитивно понимал все его значение. А пушкинской прозой он, действительно, восторгался и взялся за перевод «Повестей Белкина» с помощью своего приятеля, Шифрина. При этом он неоднократно упоминал, что это была наиболее трудная и наиболее ответственная из его переводческих работ, хотя в жизни он переводил много и отваживался, казалось бы, на тексты, с лингвистической точки зрения, более трудные. Но именно кристальная прозрачность и лаконичность пушкинской прозы, по его мнению, служили ему главным препятствием, так как именно эту черту он стремился сохранить. Приходилось взвешивать буквально каждое слово и вспоминая, как шла эта многотрудная работа (он почему-то чаще всего ссылался на «Выстрел», который ему долго не давался), уверял меня, что лучше переводить, не зная языка, с подстрочником, который хоть и не передает стиля переводимого автора, но зато позволяет, исходя из смысла, из музыки данной вещи строить синтаксически безупречные французские фразы, более или менее соответствующие оригиналу.

Он недовольно удивился, что я — по его мнению — недостаточно ценю театр Чехова, сам он превозносит «Вишневый сад», постоянно называя его «Черри орчард», очевидно, он читал его в английском переводе. «Это на вас бунинское влияние сказывается, — добавил он. — Мне Бунин еще более резко говорил о

чеховских пьесах и ссылаясь на Толстого. Но ведь у меня свой собственный вкус, и ссылка на авторитеты на меня не действует. К тому же, я думаю, что это анекдот, то, что мне рассказывал Бунин, будто больной Толстой на ухо шепнул пришедшему его навестить Чехову: «Шекспир плохо пьесы писал, а вы еще хуже!». Толстой был слишком умен, чтобы сопоставлять кого бы то ни было с Шекспиром. Да, кстати, и его борьба с ним, высмеивание «Короля Лира» мне кажутся какой-то игрой, в которой опять толстовская гордыня заговорила...».

Иногда — вполне для меня неожиданно — упоминал Решетникова или Мельшина. Хвалил обоих, и я только думал, где и как мог он их откопать. Казалось бы, что это так от него далеко, но, конечно, это была для него экзотика, а на экзотику он был всегда падок. Помимо того, «В мире отверженных», описание акаутуйской каторжной жизни интересовало его как некое дополнение к «Запискам из мертвого дома».

О Горьком говорил мало и сухо, словно с оскоминой. Да оно и объяснимо. Как писатель, Горький был ему чужд, но в свое время ему импонировало особое положение Горького. Он этого не скрывал и утверждал, что почти везде каждый крупный писатель в какой-то форме вносит фермент неповиновения, борется с рутиной и конформизмом. С Горьким, думал он, произошло обратное — оставаясь революционером, он перестал быть оппозиционером. Подобные слова, кстати сказать, Жид произнес на Красной площади во время похорон Горького. Но ему было очень неприятно вспоминать об этом своем выступлении и, перепечатывая в каком-то сборнике эту траурную речь, он к приведенной фразе сделал сноску: «Вот тут-то я и заблуждался и, к сожалению, вскоре должен был мое заблуждение признать».

Почему-то, перечисляя русских классиков, он почти обязательно присоединял к ним имя Сологуба,

вызывая этим «бешенство» Бунина, если это имя упоминалось при нем. Впрочем, он едва ли читал что-либо сологубовское, кроме «Мелкого беса», но именно «передоновщина» чем-то его подкупала, это было для него новое и интересное в психологическом отношении явление, да к тому же описанное с несомненным талантом. Много более странно, что со своим безупречным критическим чутьем (хоть в свое время он и «прозевал» Пруста, но для этого были приводящие обстоятельства) он сильно переоценивал беллетристику Эренбурга и готов был рассердиться на меня, когда я сказал, что, с русской точки зрения, Эренбурга можно считать острым журналистом, талантливым репортером, находчивым полемистом, но никак не хорошим романистом, и от его многочисленных писаний едва ли что-нибудь войдет в «золотой фонд» русской литературы. Он покачал головой, и я понял (или, может быть, хотел понять), что его похвалы в данном случае вызываются не столько оценкой эренбургской прозы, сколько тем, что отрицательное к нему отношение может быть истолковано политическими причинами. Ведь до поездки Жида в Советский Союз он был с Эренбургом почти в приятельских отношениях и неоднократно встречался по линии борьбы с опасностями фашизма.

Я как-то невзначай упомянул имя Розанова. Это имя было ему совершенно незнакомо и ново, и он никак не мог связать его со всем тем, что он знал о русской литературе начала века. Но недаром говорится, что «на ловца и зверь бежит». Вскоре после этого разговора в витрине какой-то маленькой каннской книжной лавки я, не веря глазам своим, увидел вдруг французский перевод «Уединенного» вместе с «Апокалипсисом нашего времени». Ведь это была единственная розановская книга, в то время переведенная на французский язык. Я с радостью принес ему эту «редкость», а через несколько дней он мне сказал: «Знаете, я прошлой ночью начал читать «вашу» книгу и не мог даже

потушить лампы — читал с увлечением и любопытством, не в силах остановиться, потому что я все время чувствовал, что вот на следующей странице я непременно наткнулся на что-то из ряда вон выходящее, чтобы не сказать «гениальное», что-то такое, что меня пронзит. Я почти всю ночь предвкушал этот момент. Но с этим чувством я дошел до последней страницы и, перевернув ее, уже рассветало, ожидавшегося «озарения» так и не почувствовал. Это меня сильно разочаровало».

Просил меня как-то рассказать ему о Есенине и Маяковском, а затем во время обеда — к десерту — коснулся Кузмина, о котором ему вдоволь наговорили какие-то незнакомые мне русские его друзья. «Я прочел «Крылья» в немецком переводе, — пояснил он мне, — но ведь этот роман может показаться интересным только людям, лишенным художественного вкуса и прельщенным только одной «скандальной» стороной книги. Но даже и эта сторона трактована плоско и лишена какой-либо оригинальности. Тут больше снобизма «понаслышке», чем психологии, а об искусстве и говорить не приходится». А потом рассказал, что Мартен дю Гар откуда-то раздобыл «какого-то» «Санина» и по необъяснимой для него причине пришел от этой книги в восторг. Он переслал ее ему и написал: «Вы мне о ней еще будете говорить...». «В чем тут дело? — заворчал Жид. — У меня книга просто выпала из рук, не мог дочитать ее даже до середины. Вот и Куприна я не в силах читать, ведь это что-то вроде очень посредственного Мопассана».

Однажды он появился в каком-то необычном, тяжеловесном, шерстяном костюме, сшитом явно не по мерке. Больше всего меня поразили цвет материи — шерстяная ткань была почти «серо-буро-малиновой», точнее, с каким-то темным багровым отливом. Он, конечно, сразу же обратил внимание на мое недоумение. «А вы не относитесь иронически — это подарок

Сталина». После этого недоумение мое только усилилось и я был заинтригован. «Да, — объяснил он, — когда я выступал на Красной площади — а тогда я был еще в фаворе — кто-то донес в высшие инстанции, что, хотя дело происходило в июне, я будто бы жаловался, что мне было холодно. Вы ведь, вероятно, уже знаете, что я всегда мерзну. Так вот, чуть ли не на следующий день какой-то посланец из Кремля принес мне от имени Сталина пакет, в котором лежал этот самый костюм. Он мне дорог, как воспоминание», — не без ехидства закончил он повествование о сталинском костюме, добавив, что самого Сталина он никогда в глаза не видел — аудиенции, мол, не удостоился!

Этот полуанекдотический рассказ о сталинском костюме послужил как бы мостом для расспросов о его «сенсационном» путешествии в Советский Союз летом 1936-го года.

Но о своей поездке в Россию он подробно рассказывать не любил, говорил о ней с неохотой, неизменно отговариваясь тем, что все это им было записано в двух небольших книгах, посвященных этому путешествию. Было видно, что воспоминание о том, что он там видел, продолжало причинять ему боль, его огорчало его собственное разочарование, сознание того, что в течение ряда лет он ломал копья не за то, что было, а за то, что ему хотелось, чтобы было. Другими словами, все его труды в этом направлении пропали даром. Он не стеснялся указывать, что думал найти в коммунизме христианские добродетели (как он считал, исчезнувшие на Западе), а на поверку оказалось, что он наблюдал моральное банкротство и конформизм, от которого никто не мог отойти и который ему всегда и везде был отвратителен.

Он, однако, подчеркивал, что русский народ был ему близок и он не прочь был бы еще раз совершить такое путешествие, если... если... Он добавлял, что

когда оставался с кем-нибудь — с рабочим, с колхозником, с шофером — с глазу на глаз (что, кстати, случилось считанное число раз), то даже без языка чувствовал взаимное притяжение и взаимную симпатию. Он не скупился на слова, когда говорил о красоте Ленинграда и уютности Тбилиси, обаяние которого тем более удивительно, что, по его словам, с первого взгляда в этом городе ничто не привлекает.

К своим скупым рассказам он добавлял только то, что по понятным причинам не могло тогда попасть ни в его книги, ни в «Дневник».

Он боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая — он это подчеркивал — пробудилась у него молниеносно, чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями» или «образцовыми колхозами», которые ему показывали.

Конечно, встречи с Пастернаком, а тем более длительные беседы организовать было не легко, постоянно тут же оказывались какие-то незваные собеседники. В конце концов, каким-то образом — точные детали того, как они это подстроили, от меня ускользают теперь — им удалось съездить на «Красной стреле» из Москвы в Ленинград в двух смежных одиночных купе и, таким образом, они почти безбоязненно могли проболтать всю ночь напролет.

Кстати, именно Пастернак — первый, были потом и другие — отсоветовал Андре Жиду лететь обратно в Париж на самолете «Аэрофлота», потому что стало уже довольно широко известно, что его визит не дал ожидавшихся результатов и пышные банкеты его отнюдь не соблазнили. Психология устроителей поездки Жиды и его товарищей дала осечку: можно даже предполагать, что если бы все было обставлено с приличной скромностью, без постоянной икры и многокомнатных «сюит» в гостиницах, он бы многого

мог и не заметить, но именно эта непроходимая разница между теми удобствами, которые ему предоставляли, и теми яствами, которыми его угощали, сразу вызвала в нем подозрения, которые с каждым днем не переставали крепнуть.

Тогда же, кажется, он отказался дать разрешение на предполагавшийся фильм, сделанный по его сатирическому роману «Подземелья Ватикана». В книге Жида два самозванца, оба отчаянные пройдохи, занимаются сбором денег для освобождения папы римского, якобы заключенного в подземелия — в декупаже фильма те же два лица были уже представлены как подлинные служители католической церкви. Как уверял Жида Арагон, разница невелика, но эта разница и определила отношение Жида к советскому киноискусству, а может быть, оказала на него и более глубокое влияние.

Рассказывая эти несколько инцидентов, связанных с его путешествием к «гипербореям», он вдруг обернулся и спросил меня в упор: «А вас в молодости тревожили социальные проблемы? Меня они без преувеличения «разъедали», и с того момента я и писать стал хуже. Не шло, думалось о другом. Вот я потратил около шести лет, чтобы написать одну пьесу с социальным содержанием, и она теперь покоится на дне одного из этих сундуков, — он указал пальцем на один из своих подлинно «допотопных» сундуков, — но я зря потерял время. Пьеса моя никуда не годится. Ее первая версия была наспех переведена Эльзой Триоле и должна была быть поставлена в одном из московских театров. Моя книга о поездке в СССР, к счастью, провалила этот проект, потому что в том виде пьеса была, действительно, — никуда!».

К моему глубокому огорчению, вскоре Жид решил из Грасса перекочевать в Ниццу, ведь недаром он всегда был непоседой!

В Ницце он поселился недалеко от набережной,

в комфортабельном отеле, где ему была предоставлена большая и светлая комната, прельстившая его наготой стен. Он уверял, что развешанные в других гостиницах репродукции всевозможных шедевров только мешают его работе и, как только он берет в руки перо, ему сразу же хочется снять со стен все эти разноцветные картинки, которые способны его отвлекать.

Но в Ницце Жид был уже не тот или, лучше сказать, не совсем тот, которого я знал в Грассе (и уж совсем не тот, которого спустя несколько лет я иногда встречал в Париже). Думается, что очень проницателен был тот швейцар, который сказал о нем: «Ах, господин Жид... это тот господин, который только и делает, что входит и выходит!». Беда, если в данном случае уместно это слово, была вся в том, что нельзя было заранее знать, на что он через минуту решится. Можно, пожалуй, предполагать, что он и сам этого точно не знал, все у него всегда шло как бы экспромптом.

В один из моих первых визитов в «Адриатик» (таково было имя отеля, в котором он поселился) я столкнулся в его комнате с швейцарским издателем по фамилии Блан, который специально и не без трудностей, вызванных обстоятельствами военного времени, приехал из Лозанны в надежде получить от Жида какую-нибудь неизданную рукопись. Надежды эти основывались на том, что едва ли господствовавшая в те дни военная цензура даже в так называемой «свободной зоне» Франции даст разрешение на издание автора, который был «под подозрением» и в кругах, близких к вишийскому правительству, считался «развратителем молодёжи» и разрушителем семейных устоев, а что до Парижа, где находились главные издательства, то там и говорить не приходилось — там орудовали немецкие учреждения, была немецкая цензура.

«Вот как хорошо, что вы пришли как раз вовремя,

— встретил он меня и сразу же предложил швейцарцу выпустить вместо его книги томик неизданных рассказов Бунина. Не спрашивая меня, он тут же добавил: «Вот рядом с вами сидит будущий переводчик, — и добавил, улыбаясь, — а напротив вас будущий редактор сборника, — и — словно извиняясь, — ведь в этом деле у меня немалый опыт».

От этих слов у меня «в зобу дыхание сперло» и, главное, я понимал, с какой радостью откликнется на это неожиданное предложение сам Бунин, почти физически страдавший от невозможности выпустить что-либо в свет.

«Адриатик» я покинул вместе с потенциальным издателем, чтобы договориться с ним о различных технических деталях, и он сразу стал мне симпатичен, сказав, что, несмотря на окружающий нас мрак, стоит жить, когда имеешь возможность общаться с такими людьми, как Жид. Он уверял, что благодаря Жиду невольно становишься оптимистом, и рассказал, что богословский факультет Лозаннского университета принял к защите докторскую диссертацию, посвященную религиозным воззрениям Жида. «А ведь чего только о нем не судачили, — закончил он свою тираду, — но надо его знать, наблюдать за ним, чтобы понять, насколько он добр, благодарен и предан». Мне оставалось только поддакивать моему новому знакомцу.

Я с увлечением засел за перевод «Темных аллея» и, когда первые четыре рассказа были в более или менее удобочитаемом виде (Бунин уверял меня, что я хорошо схватил ритм его прозы, но я сразу же подумал, что это не будет зачтено, как качество перевода), я, предварительно сговорившись с моим «редактором», поехал к нему в Ниццу.

По приезде мы сперва пошли в кафе — по терминологии Жида — «немного поработать» и, кроме того, встретиться с Мальро, которого я тогда впервые

видел. Но он не произвел на меня особенно приятного впечатления — впрочем, ему тогда было не до меня и не до литературы. Жил он уже полуконспиративно и, естественно, чурался незнакомых ему людей. Разговор между ними шел об оппортунизме некоторых из их коллег по ремеслу и о том, во что превратилось детище Жида — ежемесячник «Нувелль Ревю Франсез». Когда Мальро удалился, Жид начал комментировать разговор с Мальро и добавил: «Я с вами буду откровенен, и не создавайте себе обо мне ложного впечатления — я ненавижу любые преследования, я лелею свободу — об этом и говорить не приходится. Расовая проблема, так, как выдвигается теперь, мне отвратительна, не только сама по себе, но еще и потому, что она ставит под вопрос и существование христианства и проблему личной свободы. Тем не менее, вот уже двадцать лет как я не переставал работать во имя сотрудничества с Германией, и ведь в этом таится источник всех наших несчастий. Я все делал в этом направлении, всегда безрезультатно. Само собой разумеется, что есть сотрудничество и сотрудничество (я вставляю «пресмыкательство», он улыбается и подкивает), но в глубине, в абстракции эта идея меня прельщает». А затем вспоминает: «Тут только что Мальро говорил об антисемитизме, импортированном из Германии. Увы, я считаю, что в этих настроениях сейчас есть и кое-что «свое». Людей влечет к жестокостям, а это самая легкая сейчас возможность их проявлять». И затем тем же темпом: «Гарсон, шахматную доску!». Партия была закончена, близился час обеда, а он о моем переводе все не заикался, а я стеснялся передать ему мою рукопись без напоминания с его стороны. Ведь неровен час, он мог передумать! Оказалось, что он из какой-то чрезмерной деликатности стесняется ее у меня попросить.

Он затащил меня обедать в его отель и сказал, что просмотрит мой текст вечером, перед сном. «Я

люблю читать рукописи на ночь, — объяснил он, — когда в них хоть что-нибудь есть. Но я еще сильнее презираю чтение «пустячков», даже если они облечены в литературную форму. Меня особенно раздражает псевдолитературная болтовня».

Сам он в те дни работал над серией «Воображаемых интервью», которые подготавливал для газеты «Фигаро», выходящей в Лионе, в «свободной» еще части Франции. «Я хотел, чтобы вы были первым, который ознакомится с этими фельетонами, но сейчас уже поздно. Ну, в следующий раз — завтра!».

Завтра, в назначенный час, я пришел к нему для обсуждения бунинской «Натали», любимого из рассказов самого Бунина в этом сборнике. Мне стало сразу видно, что рассказ ему по вкусу не пришелся. «Некоторые сцены, например, описание грозы, действительно, великолепны — это тот Бунин, которого я люблю, это не хуже его «Деревни» (о, эта «Деревня», точно не было «Жизни Арсеньева»!) и сделало бы честь Тургеневу, но в целом рассказ расплывается, в нем отсутствуют острые углы. Впрочем, русская литература нас к этому приучила, но...». И за этим почти недружелюбным «но» скрывалось многое.

Дело усугублялось еще тем, что Жид не спал всю ночь, принимал снотворное, но оно на него не действовало, и в подавленном душевном состоянии выправлял мои «грехи». На больших розовых листах, которые у меня хранятся, он сделал около пятидесяти поправок и замечаний и чувствовалось, что он чем-то угнетен, то ли из-за меня, то ли тому была другая причина. Конечно, это удручало и меня, даже не столько из-за переводческого самолюбия (это ведь был мой первый серьезный опыт), сколько из-за Бунина. Я отдавал себе отчет, что такое фиаско он будет переживать очень болезненно.

Я вышел от Жиды в очень мрачном настроении и безрадостно пошел встретиться с Адамовичем, встре-

ча с которым была назначена уже давно. Я поведал Адамовичу мои горести, и он стал меня утешать: «Удовлетворить Жида переводом, — внушал он мне, — вообще невозможно и это следовало знать заранее». А затем он стал говорить о том, что ни в коем случае нельзя терять связи с Андре Жидом. «Не забывайте, — настаивал Адамович, — что теперь Жид — первый писатель Франции, а Франция, вероятно, самая культурная и изысканная страна в мире, что бы с ней ни случилось, и совсем неизвестно, пошлет ли вам судьба встречу с другим человеком подобного масштаба».

После моей беседы с милым Адамовичем в этот многотрудный для меня день я, как было условлено, вернулся в «Адриатик». К моему полному изумлению, вид у Жида был сияющий и, едва открыв дверь, он буквально закричал: «Я прочел теперь и другие бунинские рассказы. Они переведены великолепно, над ними работал другой человек! Конечно, есть и тут мелкие промахи, но иногда фраза построена так смело, что сделала бы честь и французскому писателю». Я, конечно, был «на седьмом небе».

Описанные сцены и переживания я, ей-же-ей, не пытаюсь задним числом восстанавливать, нет, каждая перипетия этого волнующего дня была для меня настолько важна, что я тогда же все записал в свою тетрадь, которая лежит передо мной. Впрочем, я в этот день зря торжествовал «победу», хотя бы мысленно, но об этом рассказ еще впереди.

Жид снова позвал меня обедать с ним, в одиночестве обедать не любил, и «в награду» дал на прочтение три обещанных фельетона из его серии «Воображаемых интервью», о которой он уже мне раньше говорил. «Я выполнил обещание, никто до вас их не читал», — сказал он.

Я уже не помню в точности их содержания. Конечно, между строк появлялись какие-то политические намеки, но они были весьма завуалированы и под них

надо было «подкопаться» (как потом с возмущением говорил мне один старый — и не следует добавлять «не очень умный» — русский журналист: «В такие дни Толстой писал «Не могу молчать», а что пишет Жид?») Но времена, действительно, с тех пор сильно изменились!).

Помню только, что в одном из этих забавных и легко написанных фельетонов приводилась курьезная конголезская притча о переполненной сверх меры барже, погружающейся в воды океана. Чтобы спасти баржу, постепенно — одного за другим — в воду выбрасывают пассажиров и последним оказался какой-то седовласый старик, которого Жид именует «отцом силы тяготения». Жид не скрывал, что очень доволен придуманной им формулировкой и, очевидно, считает, что за этим легко разгадать политический намек. Между прочим, в этом же «интервью» при перечислении обреченных на потопление в рукописи сперва стояло — и это сразу же бросилось мне в глаза — «и несколько бандитов», но потом поразмыслив, Жид переправил и поставил: «выбрасывали в воду даже вполне почтенных людей».

Иногда, когда он чувствует усталость, вдруг предложит — «Давайте посидим и помолчим», но отпустить не хочет. А то — несколько раз ходили мы вместе в кино (экранное искусство он расценивает очень высоко, и меня всегда поражало, что к экрану он не выставляет больших требований, в противоположность его отношению к театру, не говоря о литературе). Чувствуется, что хождение по кинематографам не только развлекает его, но и отвлекает от назойливых мыслей. А на обратном пути, хотя полагалось нам идти в одном направлении — это было раз или два — он вдруг с помесью какой-то старосветской учтивости и категоричности скажет: «Знаете, я лучше пойду один, разговор мне мешает думать. Увидимся завтра». Конечно, мы тотчас же расставались.

Но несмотря на все такого рода маленькие «сложности», работать с ним — настоящее удовольствие, и бунинским переводом он поначалу занимался не за страх, а за совесть — порой, как мне казалось, он был слишком дотошен, и поэтому двигались мы медленно. При каждом предложенном им исправлении он смотрел на меня как бы с вопросительным знаком в выражении лица, стремясь узнать, согласен ли я с ним, одобряю ли я его. Он хотел быть не в меру точным и подыскивал французские равнозначущие слова, перебирая синонимы и требуя, чтобы Бунин звучал, как безупречная французская проза, вернее, так, как если бы «Темные аллеи» писались не Буниным, а Жидом! Поэтому иногда наши сеансы шли гладко, а иногда мы спотыкались на каждой фразе.

Все-таки иногда хотелось ему перечить, ведь всегда соглашаться принципиально невозможно! Так как разговор наш обычно касался литературных впечатлений и оценок, то я указал, что мне непонятно и для меня было неожиданно его «преклонение» перед Золя, тем более, что он недолюбливает натурализм в любом виде. Он стал возражать и начал с того, что упрекнул меня в том, что я «снова» следую моде и, вероятно, читал у Золя то, что принято читать, а не то, что надо читать, чтобы оценить его по заслугам. «Возьмите «Жерминаль» или еще лучше «Pot-Bouille» («Общий котел») и мы поговорим после этого, — сказал он. — А, кроме того, плыть против течения — это в моей природе. Я хочу ценить и заставляю себя любить даже то, что от меня далеко, что мне несозвучно, если я чувствую, что это на каком-то уровне. Конечно, в молодости Золя был и мне так же чужд, как он теперь чужд вам и вашему поколению, но я превозмог себя и теперь в моих оценках вполне искренен. Золя не пишет пером, в руках у него топор, но зато — как этот топор талантлив. Это вам не Доде, который вываливается у меня из рук».

Он рассказывал, что многое из написанного рывает и, к примеру, его довольно короткая повесть «Женевьева» была не только им задумана как объемистая книга, но уже целиком написана. Но он остался своей работой недоволен и разорвал в клочья почти законченное произведение, и «Женевьева» стала как бы дополнением к «Школе женщин» и «Роберу» — третьей частью триптиха. Тут же он добавил, что до сих пор сожалеет, что из «Фальшивомонетчиков» не сделал трехтомного большого романа, и чтобы читателям было «приятнее и легче», почти нехотя, заставил себя о многом умолчать. Роман этот, по его мнению, искромсан, хотя и в существующем виде в нем примерно пятьсот страниц. Сперва — вспоминал Жид — он хотел назвать главного героя «Фальшивомонетчиков» Лафкадио, то есть именем героя «Подземелий Ватикана», и соединить оба этих романа какой-то невидимой ниточкой, но не вышло. «Лафкадио, — повторил он, — звучание этого имени — моя слабость». Я недоумевал, почему оно может так ему нравиться, ведь оно ничему не соответствовало, было «нереально» и чуждо той обстановке, в которой происходило действие его романа. «Но я и не хочу быть реалистом», — возразил он и сразу же пустился в рассуждения о том, что он «посмертный» автор, и в качестве доказательства указал, что при появлении «Фальшивомонетчиков» их никто не оценил, ругали буквально все, друзья и враги, словом, это был полнейший провал и только спустя какое-то количество лет мнение о них изменилось. «Впрочем, это судьба всех моих книг, — сказал он в заключение, — исключения составляют лишь те, которые вовсе не были замечены. Может быть, вы не знаете, что мои «Земные яства» (эту книгу он считал основной в своем творчестве и, вероятно, той, которая оказала наибольшее влияние на подраставшее поколение) за первые двадцать лет разошлись в количестве пятисот экземпляров».

Он косвенно подтверждал, что в тот момент пытался работать над какой-то крупной новой вещью, которая ему не удавалась, и он уничтожал написанное, начинал заново и снова рвал рукопись. В связи с этим полупризнанием я вспомнил бунинскую гипотезу, касающуюся второго тома «Мертвых душ». Бунин ехидно уверял (Гоголя он, как известно, недолюбливал), что Гоголь сжег свою рукопись не в каком-то религиозном аффекте, а просто потому, что почувствовал, что у него ничего не получается и, «хитрый хохол», придумал какое-то выспренное объяснение для своего поступка. Жид начал смеяться и добавил: «А что же, ведь это вполне правдоподобно, но зато уничтожить черновики удачных вещей непростительно».

Тем временем я возвратился в Грасс и снова засел за работу над переводом «Темных аллея», но должен сознаться — прежнего увлечения у меня больше не было. Я словно чувствовал, что что-то в этом замысле не клеится.

Вскоре я получил от Жида письмо (мы иногда обменивались короткими письмами, особенно когда не удавалось связаться по телефону). Он писал — цитирую — «Знать, что Вы работаете, помогает мне примириться с Вашим отсутствием. Что до меня, то я прилагаю большие усилия за моим письменным столом, но без больших результатов. Все же думается, что скоро я смогу предложить «Фигаро» серию «Воображаемых интервью». Если они появятся, я немедленно Вас извещу». После получения этого письма я устремился в Ниццу. Повидавшись с Жидом, я собрался на следующее утро уезжать, но остался в Ницце лишний день и с утра позвонил Жиду. Он жаловался, что ему нездоровится, но все-таки просил зайти перед вечером.

Отворила мне дверь очаровательная, седая как лунь, старушка, уютная, худенькая, с бегающими глазами. От нее подлинно исходило «благоухание седин».

«Разрешите, я сама представляюсь, — ласково сказала она, — я старинный друг Жида» и она назвала свою — столь уже знакомую мне понаслышке — фамилию. Это была бабушка его дочери, та «petite dame» — «маленькая дама», которая в каком-то смысле опекала Жида и втайне была при нем неким Эккерманом, записывая все его разговоры, его дела и дни. Она встречалась с ним в продолжение десятилетий чуть ли не ежедневно, а затем долгие годы в Париже жила в том же доме бок-о-бок с ним. Ее записи только теперь издаются и представляют ценнейший материал для ознакомления с литературной жизнью Франции в эпоху «между двумя войнами». Но это не только сухие, протокольные записи, они и в литературном отношении не лишены блеска и остроты — не в пример Эккерману!

К сожалению, она как раз собиралась уходить и, сказав: «Он вас поджидает с большим нетерпением», проюлила обратно к дверям и вынырнула из комнаты, добавив: «Мы углубим наше знакомство в следующий раз». К сожалению, последовавшие события не позволили этого сделать.

Едва мы остались вдвоем, как забренчал телефон. Оказалось, что в холле находится Мартен дю Гар — автор нашумевших «Тибо», недавний нобелевский лауреат. Это был один из ближайших, если не самый близкий, среди друзей Жида.

Но Жид неожиданно заволновался. «Вы не знаете, какой это дикарь! Если он вас здесь застанет, он непременно подумает, что я подстроил ему ловушку». Я, конечно, готов был уйти, тем более что слово «ловушка» было мне непонятно, но Жид решительно запротестовал. По его настоянию, я спустился в холл, условившись с Жидом, что обожду внизу. Однако, едва я спустился, как он по телефону попросил меня вернуться и познакомиться с его гостем.

Гость оказался милейшим человеком, простым и

«без претензий», и ничего «дикарского» я в нем приметить не мог. Трубка в зубах и пиджак в клетку придавали ему слегка английский вид.

Разговор сразу же стал перескакивать с темы на тему и бурлил, как горный поток по скалам. Мне было особенно занятно быть свидетелем дружеских препирательств между двумя наиболее блестящими представителями французской литературы тех дней.

Должно быть, ввиду моего присутствия, они оба с большим к нему уважением заговорили о Бунине — и тут мнения их совпадали. Но затем от Бунина перешли к Толстому и произошла краткая перепалка на тему «Толстой-Достоевский» — не первая между ними и, конечно, не последняя — и я только еще раз мог убедиться, насколько этот спор стал почти обязательным при разговорах о литературе.

Романы Толстого были настольными книгами Мартен дю Гара, а тут для придачи веса, чтобы дополнительным оружием повергнуть Жида «в прах», он рассказал, что их общий друг — Копо, сыгравший такую заметную роль в развитии французского современного театра, писал ему, что он с головой погрузился в «Войну и мир» и больше с ней не расстанется, читает и перечитывает.

«Но в ней такие длинноты», — чтобы как-нибудь парировать «удар», произнес Жид. На что его оппонент возразил: «Я готов был бы с вами согласиться, если вы признаете, что и жизни немало длиннот». Жид обещал перечитать «Войну и мир», указав, однако — в который раз, — что все-таки предпочитает «Анну Каренину», потому что история, как таковая, его никогда не занимала. «В каком-то смысле я анти-историчен», — заключил он недолгий спор.

Когда Мартен дю Гар стал прощаться, я ему сказал, что Бунин, который как раз в данный момент находится в Ницце, будет горевать, что знакомство между ними не состоялось. «Да, необходимо, чтобы оба

наших лауреата перезнакомились, но не под этим знаком, они гораздо ближе сойдутся на культе Толстого!»

Я тоже было поднялся, но он все еще не отпускал меня и дал читать новую рукопись — плод недавней работы. Это было описание его встреч с Верленом и, кроме того, небольшая статья, посвященная Рембо, в которой он обрушивался на стремление католических кругов, как он выразился, «аннексировать» Рембо. Эту тенденцию он приравнивал к тому спартанскому юноше, который запрягав за пазуху лисицу, не подавал виду, что она его пребольно кусает. Рембо больно кусает католическую церковь, утверждал Жид, приводя кое-какие примеры, а католики продолжают делать вид, будто Рембо — верный сын церкви.

Между прочим — уж не помню, что его на это подтолкнуло, — разговор зашел об Анатоле Франсе, со всех точек зрения очень ему далеко. К моему удивлению, он сказал, что в равной мере ошибочно и глупо вычеркивать и забывать имя Франса сегодня, как было нелепо вчера делать из него какого-то полубога и выдавать за «властителя дум». Франс со своим скепсисом, отвергнутый поколением, выросшим после первой мировой войны, Франции еще будет очень нужен и ей будет его недоставать, так как едва ли найдется у него достойный заместитель.

В этот день к вечеру вдруг сильно похолодало — в Ницце такие явления нередки, — и он заставил меня нацепить свою ни на что не похожую «хламиду», скроенную по его собственным рисункам. Это была какая-то безмерная мантилья с короткими, но довольно широкими рукавчиками, походившими на кимоно. Вид у меня был, вероятно, ошеломляющий, и я не знаю, почему первый встречный полицейский не задержал меня!

Один из моих близких приятелей как-то устроил пышную по тем временам трапезу на одном из поплавков — небольшом ресторане, давно снесенном, но то-

гла еще твердо стоявшем у самого моря. Мой приятель организовал это пиршество для каких-то своих деловых знакомых, позвал и меня, а так как случайно приехал тогда же и Бунин, то и он оказался в числе приглашенных. Узнав об этом, я попросил разрешения привести и Жида.

Как потом говорил Бунин, Жид был почти повесельски «светск» и блестящ, сыпал изысканными фразами, что едва ли сочеталось с общей обстановкой.

Обратив внимание на то, как хорошо Жид выглядит, Бунин схватился за край стола — «сухое дерево». «Вы способны придавать значение таким приметам, — удивился Жид, — а я всегда на стороне дьявола! Я люблю начинать путешествие в пятницу тринадцатого. Цифра 13 всегда мне приносит удачу». Он был чуть уязвлен, когда один из присутствующих заметил, что суеверия навыворот — такие же суеверия.

Кстати, говоря о путешествиях, он отметил, что больше всего любит поездки в переполненных вагонах третьего класса. «В давке, в сутолоке, среди толпы я часто делаю любопытнейшие и очень для меня нужные наблюдения», — добавил он. (Не сомневаюсь, что Бунину в этот момент мерещились «спальные вагоны»!)

Будучи его соседом по столу, я мог говорить с ним «а-парте», и я заметил, что теперь, когда я присутствую при чем-то, выходящем из рамок скудной обыденности, у меня невольно создается ощущение, будто все это в последний раз — точно это еще один последний, маленький подарок судьбы. Он буквально шарахнулся — «Вы читаете в моих мыслях, — сказал он, — но у меня такие думы естественны, а вы для них еще слишком молоды» — и тут же перешел к прерванному жареной курицей (может быть, последней нашей курицей!) разговору о Гёте, которого он тогда «разгрызал», спеша закончить предисловие к гётевскому тому, подготовляемому «Плеядой». В

частности, его очень интересовал вопрос о влиянии Гёте на Россию, и он удивлялся, что не находит никакого гётевского влияния ни у Толстого, ни у Достоевского.

После нашего пиршества он затащил меня в тишину и комфорт своей комнаты — конечно, ему хотелось «поработать», то есть сыграть партию в шахматы. Я попросил его достать, если есть возможность, первую его книгу «Тетради Андре Вальтера». Он отказался: «Нет, их читать не надо, эта книга целиком зачеркнута последующим, это незрелые опыты, это проба пера. Да, к счастью, ее едва ли кто-нибудь, кроме нескольких родных и считанных по пальцам друзей, удостоился при выходе прочесть. Ведь и моего «Саула», и я это твердо знаю, прочло не больше тридцати человек».

При прощании я сказал: «Как мне приятно, что у меня такое ощущение, будто мы с давних пор знакомы и я могу вам говорить, что попало, не думая, кто вы». Он ласково улыбнулся. «То, что вы сказали, действительно доставляет мне большую радость, потому что — и я это сам чувствую — я по существу медведь, а с точки зрения литературы — посмертный автор (это он мне уже говорил несчетное число раз. — А. Б.). Я всегда поражен, когда от издателей получаю бюллетени о числе проданных экземпляров моих книг и узнаю, что меня читают. А вот после ваших слов я подумал, ведь и мне легко с вами, наш разговор течет сам собой, мы даже научились вместе молчать, а, к примеру, с вашим другом Адамовичем я не знал бы, о чем говорить». Я тем более удивился, что в своем «Дневнике» он об Адамовиче написал: «Не забудем имя Георгия Адамовича, никто лучше него не говорил о моих книгах», и эти две скупых строчки Адамович считал своим единственным «патентом на бессмертие». «Вот когда-нибудь, — твердил он, — какой-нибудь очкастый приват-доцент, работая над Жидом,

начнет откапывать мое имя из небытия и спрашивать себя, а кто такой был этот Адамович?»

Работа над переводом «Темных аллей» между тем все более тормозилась. Я чувствовал, что Жид делает над собой усилия, чтобы отдавать свое время бунинским текстам, копаться над ними. Все решил рассказ «Три рубля». Ознакомившись с ним, он больше не пытался скрыть, что эти рассказы ему не по душе. «Где же в них профетизм «Деревни»?», — с укором восклицал он. — Согласитесь, что это довольно плоско, дождь идет, молнии блещут, дождь, конечно, идет артистически, а за окном разыгрывается мелодрама, а дальше что? К чему все это? Давайте сделаем паузу в нашей совместной работе». Я не мог с ним спорить или переубеждать его, да это было бы бесцельно. «Три рубля» стоили мне дорого! Кстати, издавая «Темные аллей» отдельной книгой, Бунин этот рассказ в нее не включил, хотя я, конечно, ему ни словом о словах Жида не заикнулся. Он изъясил из «Темных аллей» этот рассказ по собственному побуждению, напечатал его потом в журнале «Новоселье», и теперь он попал в собрание сочинений, изданное в Москве «Художественной литературой».

А вскоре после этого «дезертирства» Жид покинул Ниццу и уехал в столь любимую им Северную Африку. Он долго «отсиживался» в Тунисе, потом странствовал по Марокко, затем прожил некоторое время в Алжире. Но вплоть до освобождения Франции ничего я о нем не знал, да и как по обстоятельствам военного времени могли доходить о нем слухи?

Вернулся он в Париж, если не ошибаюсь, весной 45-го года, через кого-то раздобыл мой адрес, и я получил от него краткую (он сам поведал одному из своих комментаторов, что он очень кратко писал каждому, но зато писал многим) записку, очень меня обрадовавшую:

«Какое облегчение получить, наконец, известия,

касающиеся Вас. Я не знал, куда обратиться, куда Вам написать, и был очень обеспокоен Вашей судьбой. А что с Буниными? К концу будущей недели надеюсь быть менее измотан и буду рад Вас повидать. Позвоните мне и мы сговоримся о встрече».

Но в Париже Жид был уже не тем или не совсем тем, которого я знал на юге за три года до того. Хотя поначалу он еще бодрился, даже хотел еще играть в шахматы, по прожитые годы сказывались, а главное, здесь он был окружен многочисленными друзьями, издателями, людьми, с которыми у него были всевозможные литературные и театральные дела.

Здесь он окунулся в привычную для него атмосферу «Вано». «Вано» было название улицы, на которой на шестом этаже «барского» дома у него была довольно просторная квартира. Рядом на той же площадке проживала та «маленькая дама», о которой я уже упоминал. Между обеими квартирами была пробита стена, и старая приятельница Жида могла с большей легкостью о нем заботиться, оберегать его, отнимать у него заботы по хозяйству и создавать ту особую, весьма замкнутую атмосферу, которая в литературном кругу и получила кличку «атмосферы Вано», потому что, кроме бытовых забот, постаревшая его Эгерия (она была на несколько лет старше Жида) «отгораживала» его от притока посетителей, фильтровала их по мере возможности.

Главной достопримечательностью квартиры Жида была его, как мне казалось, необъятная студия с огромным роялем и, несмотря на то, что он когда-то демонстративно отделался от большого количества книг из своей библиотеки, вокруг стен, от пола до потолка, высились полки, заполненные книгами в заманчивых переплетах. Между тем, авторские приношения, которые в большом количестве получались им чуть ли не ежедневно, находили пристанище в соседней комнате, специально для этого отведенной.

Пианистом он был, как известно, первоклассным, слышал музыку, только проглядывая ноты, что, по моей музыкальной безграмотности, мне казалось — особенно для непрофессионала — чем-то мистическим! Думается, при желании он мог бы давать концерты. Впрочем, его игру мне посчастливилось слышать только один раз в жизни. Сидя в этой самой его студии, я заговорил случайно о Шопене и рассказал, что один музыковед пытался меня убедить в том, что любовь к Шопену обличает непонимание серьезной музыки. Жид вспыхнул и сразу же сел за рояль. Он сыграл один из этюдов «спорного» композитора, и в его игре — я хочу быть правильно понятым — было что-то необычное, почти «единственное» и неповторимое. Мне казалось, что едва он взялся за клавиши, менялся его внешний облик, и я вспоминал в этот момент пушкинскую фразу из «Египетских ночей» о художнике, который уже «чувствовал приближение Бога». Так сильно поражавшая меня в Ницце манера читать те стихи, которые он любил, непривычная и в какой-то мере гипнотизирующая дикция были и тут налицо.

Несмотря на частые физические недомогания, стареющий Жид все еще оставался непоседой, он часто отлучался из Парижа, ездил в Египет, в Швейцарию, в Италию, снова в Швейцарию. Дошла и до него очередь стать нобелевским лауреатом, а его «Подземелья Ватикана», в им же самим переработанном для театра тексте, наделенном подзаголовком «фарс», увидели свет ramпы во Французской Комедии и премьера его пьесы стала событием в парижской жизни.

Теперь он стал одной из «достопримечательностей» французской столицы и, конечно, это не могло не мешать нашему общению. Естественно, что ему было не до меня. Но все же иногда почтальон приносил мне от него лаконические и трогательные записки, вроде такой, посланной из какой-то деревушки, расположен-

ной в Сенарском лесу, где он отдыхал в окрестностях Парижа:

«Писал ли я Вам уже? или только намеревался сделать это?? чтобы сказать, что я хотел бы иметь удовольствие вновь повидать Вас и прошу позвонить мне по телефону, чтобы сговориться о свидании. Сердечно и заботливо о Вас думающий, постаревший и уставший — Андре Жид».

А когда я к нему приходил, большей частью он полулежал, укутанный сразу двумя или тремя пледами. Неизменно из одной из соседних комнат доносился стук пишущей машинки. С утра до вечера его новая секретарша что-то для него стучала, кому-то писала (хотя друзьям он всегда писал от руки), мотивируя его недомоганием, отклоняла какие-то приглашения. Все же шахматы стояли тут как тут, но в его игре уже не было прежнего «огня». Он, видимо, хотел себя превозмочь, но это ему далеко не всегда удавалось.

Попутно мне хотелось бы поведать еще об одной с ним встрече, посещении, о котором мы сговорились по моей инициативе, но для этого я должен вернуться на несколько лет назад.

В один из первых послевоенных годов, когда у многих (в том числе и у меня) еще теплилась какая-то несбыточная надежда на происходящие в Советском Союзе перемены, в известной мере продержавшаяся до расправы с Ахматовой и Зощенко, когда, по словам Пастернака, «предвестие свободы еще носилось в воздухе, составляя единственное историческое содержание послевоенных лет», в какие-то минуты и я начал думать: а может быть, все-таки — хотя бы вопреки здравому смыслу — следует вернуться туда.

Я пошел к Жиду за советом с тем внутренним стимулом, с каким идут к духовнику. Он очень внимательно выслушал меня, вникал в мои доводы, сочувствовал моей «раздвоенности» (беру это слово в кавычки, потому что, собственно, заранее знал, что в

каком-то смысле с моей стороны все это было полуигрой, миражем и ни при каких обстоятельствах я Франции не покину, вероятно, жаждал только одного — чтобы кто-нибудь, кого я глубоко и искренно уважал, подтвердил мои затаенные мысли).

Когда я кончил, он сперва с большой мягкостью сказал: «Вы теперь хотите уверовать в то, во что я готов был верить примерно десять лет тому назад. Разве вы не знаете, какой дорогой ценой я заплатил за мое разочарование? Но вы, если не заплатите жизнью за ваши наивно-утопические помыслы, то в лучшем случае потеряете свободу, и там вы не будете в том положении, в каком был я. Ведь, в конце концов, я мало чем рисковал. Ведь по возвращении во Францию и опубликовании двух моих книжек, посвященных путешествию в Советский Союз, только моя покойная жена по-серьезному волновалась, считая, что — неровен час — и я и здесь нахожусь под угрозой».

По мере того, как он говорил и приводил великое множество доводов, я чувствовал, что в нем нарастает внутреннее бурление. «И что за абсурд может вам влезть в голову. Я даже не хочу больше говорить с вами на эту тему и, как старший, как человек, которому — я это знаю, — вы доверяете, я запрещаю вам даже думать об этом, и давайте лучше сыграем партию в шахматы и выпьем по чашке чая. Вы пьете липовый?».

Но все же, несмотря на все его немощи и на все растущую славу, из-за которой ему оставалось все меньше и меньше времени для себя, он не переставал думать о друзьях, даже далеких. Так, узнав о тяжелом физическом и материальном положении Бунина, он непременно хотел прийти ему на помощь. В моем архиве сохранился ряд его записок по этому поводу, которые мне хотелось бы процитировать.

Вот в декабре 49-го года он пишет: «Я получил от Бунина взволнованное письмо, которое причиняет

мне боль. Вы — единственный, который способен мне дать совет. Что можно для него сделать? Может быть, через «Фигаро»?». Десятью днями позже: «Я хотел бы снова Вас повидать и совместно обдумать, что можно сделать для Бунина. Располагаете ли Вы несколькими минутами в одно из ближайших утр? Прилагаемая записка мне кажется такой неуклюжей и такой несовершенной, что я не решаюсь послать ее Бунину непосредственно. Передайте ее ему Вы, если думаете, что он будет к ней восприимчив». Записку Жид я, конечно, Ивану Алексеевичу сразу же передал, но совершенно не помню ее содержания. Знаю только, что Бунин был очень тронут, но дело помощи застыло на мертвой точке и Жид, сознавая свое бессилие, мог только досадовать.

В сентябре следующего, 50-го, года он снова писал мне: «Располагаете ли Вы несколькими минутами в одно из ближайших утр? Хотел бы поговорить с Вами о нашем друге Бунине».

Наконец, месяцем позже, я получил спешное городское письмо («пневматичку»): «Я всячески стремлюсь повидать Вас и получить кое-какие разъяснения по поводу нашего друга Бунина, чтобы постараться предотвратить, если еще будет возможно, результаты нескольких неосторожных шагов и оплошностей, совершенных господином Р. Вы застанете меня дома в любое время дня».

Он уже был накануне скачка в неизвестность (до дня его смерти оставалось меньше года) и, сознавая, что черед за ним, он то и дело повторял слова Бергсона, что предстоящая перемена вызывает у него одно только «чувство любопытства».

Но, к сожалению, та трогательная заботливость, которую он все время проявлял по отношению к своему русскому собрату, не дала тех результатов, на которые он рассчитывал. Вина в этом отнюдь на нем не лежала. Я еще несколько раз успел побывать на

«Вано», чтобы сообща обсудить бунинский «вопрос», который очень его беспокоил и, вместе с тем, раздражал именно тем, что он был беспомощен, а его имя оказалось припутанным к довольно неприятной и запутанной акции. Все дело сорвалось из-за авантюризма одного из наших соотечественников, бестактность и беззастенчивость которого приводила Жида в состояние, близкое к отчаянию. Но исправить совершенные промахи было уже невозможно.

* * *

В последний раз я подымался на шестой этаж дома на улице Вано, чтобы поклониться праху того, кого я глубоко уважал, искренно полюбил не только как писателя, но еще больше как человека и, да простят мне налет чванства, который может быть скрыт за этими словами, — как друга.

Он лежал на диване в знакомом мне небольшом салоне. Веки его были закрыты, но мне почудилось, что лицо его озарялось улыбкой.

Колонка редактора

РОССИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ

Объявив «Континент» свободной трибуной России и Восточной Европы, мы, тем самым, взяли на себя нравственное и политическое обязательство раз и навсегда определить свое отношение к принципу самоопределения каждого народа, населяющего эту часть света.

В четвертом номере, в комментарии к статье Юлиуша Мерошевского редакция уже высказалась по вопросу о УЛБ (Украина, Литва, Белоруссия). Внимательный и непредубежденный читатель, без сомнения, заметил, что в последнем абзаце этого комментария нами недвусмысленно сформулировано: «Что же касается так называемой проблемы УЛБ, то мы всегда заявляли и заявляем теперь, что признание священного права на самоопределение каждого из названных народов, без всякого вмешательства со стороны, является одним из основополагающих принципов нашего журнала».

Цель данной редакторской заметки состоит в том, чтобы еще раз во всеуслышание подтвердить этот принцип и заверить нашего читателя из Восточной Европы, в том числе Украины, Литвы и Белоруссии, что для нас это не слова, не временная тактика, не уступка общественному мнению, а постоянно действующее кредо.

Но в то же время нам хотелось бы здесь еще раз напомнить людям, ослепленным воинствующим национализмом, что в сегодняшней исторической ситуации русский народ — такая же жертва тоталитарного порабощения, как и все его братья по несчастью, будь то в Восточной Европе, на Кубе или в Китае. Современный тоталитаризм использует физическую величину и огромный промышленный по-

тенциал России для завоевания мирового господства, но русская нация, как таковая, не принимает в этом душевного и духовного участия. Скорее наоборот. Именно в Москве, столице России, люди вышли на Красную площадь, протестуя против оккупации Чехословакии. Именно большой русский писатель и большой русский ученый — Александр Солженицын и Андрей Сахаров — одними из первых открыто подняли свои голоса за право наших народов самим решать свою судьбу.

Их пример — пример высокого интернационализма — должен и, мы уверены, будет служить всем нам на долгом, но благодарном пути окончательного взаимопонимания и действительного братства.

Критика и библиография

ШКОЛА ВЕРЫ

Выход в свет книги священника Дмитрия Дудко «О нашем уповании»* является крупным событием. Книга свидетельствует о силе живой религиозной мысли и о подлинности духовного интереса в современной России. Может быть, пробуждение религиозного сознания там сказалось в среде, с точки зрения охвата, не такой уж большой. Но в качественном отношении, судя по книге священника Д. Дудко и ряда других, дошедших до зарубежного читателя трудов, оно уже дает плоды. К голосу этого религиозного пробуждения начинает прислушиваться западный мир.

Издательство ИМКА-ПРЕСС, ныне выпустившее книгу священника Дудко, в тридцатых годах издало посмертные «Записи» о. Александра Ельчанинова, одного из самых талантливых и духовно одаренных пастырей русского зарубежья. Его книга обратила в свое время к Церкви и вере множество русских людей. Подобное действие может совершить и

книга о. Д. Дудко — и в эмиграции, и на Родине, и будет полезной не только русским и православным. Там, где антирелигиозная ложь отрывает человека от Христа и Церкви, книга о. Д. Дудко может навести серьезного читателя на возможность и даже необходимость веры. А там, где в стихии недостаточной оцененной и осмысленной свободы человек становится религиозно безразличным, книга о. Д. Дудко вернет к сути христианского упования, к свидетельствам подлинной веры.

Как известно, книга в основном содержит беседы о. Дмитрия, которые он провел в 1974 году. Эти беседы издали по записям слушателей. Беседы были проведены в Никольском храме, что у Преображенского кладбища (в Москве), где отец Дмитрий прослужил более пятнадцати лет, до того дня, когда его стали постигать кары и прещения, принимаемые против него иерархией, еще раз уступившей под нажимом власти. Одиннадцатая

* Священник Д. Дудко. О нашем уповании. ИМКА-ПРЕСС, 1975.

и двенадцатая беседы были сказаны уже на дому, по настоянию слушателей, после того как патриарх запретил ему продолжать беседы.

Текстам бесед предшествует вступительное слово о Дмитрия, обращенное к прихожанам, которым он предложил задавать ему вопросы «анонимно», не указывая на записках своего имени, на самые различные темы, касающиеся веры, Церкви, Христа... А замыкает беседы «Последнее слово», сказанное за всенощной, после воспрещения продолжать беседы, а также ряд приложений, включающих документы по делу, поднятому против о. Дмитрия церковными властями, фрагмент статьи Краснова-Левитина, где автор показывает неканоничность системы поставления епископов и патриарха, принятой в современной Русской Церкви под давлением режима, и на вопрос — что делать? — отвечает призывом оставаться в Церкви и всей жизнью проповедывать Христа распятого и воскресшего, с полной надеждой, что таким людям, как о. Дмитрий, истинно верующим и глубоко церковным, будет принадлежать будущее.

Эти приложения, а также многочисленные бытовые

подробности, постоянно мелькающие в беседах о Дмитрия, делают книгу ценным историческим и религиозно-социологическим документом. Из нее можно видеть, что в нынешней России приходят к вере, что человек ждет от веры и что он получает в Церкви. Хотя о. Дмитрий не занимается никакой другой полемикой, кроме как полемикой с воинствующим атеизмом, его книга дает представление о тех условиях, в которых вынуждены жить верующие в Советском Союзе, каким гнетам, нажимам, запрещениям и издевательствам они постоянно подвергаются. В этом отношении очень знаменателен лаконизм ответа о. Дмитрия на заданный ему вопрос о натравлении атеистов на верующих: «Мне кажется, мы уже достаточно поговорили об этом, когда вспоминали прошедшую пасхальную ночь». О. Дмитрий имел в виду, конечно, то, что допускается или прямо устраивается в святую ночь у церквей, чтобы не дать верующим молиться...

Русский зарубежный православный читатель должен чувствовать живую связь со своими братьями на Родине. Исторические потрясения выбросили его из страны

отцов и сделали его подверженным искушениям либо замкнуться в отвлеченном религиозном интеллектуализме и спиритуализме, либо всецело уйти в церковный национализм — за невозможностью уйти в другой — и вспоминать о положении верующих в Сов. России лишь для аргументации междуюрисдикционных споров или для оправдания того или иного отношения к нынешней Московской Патриархии. Церковь Христова есть живое тело, и когда страдает лишь один член ее, страдает все тело. Книга о. Дмитрия призывает православных русских, живущих в свободных странах, творчески задумываться о том, что они могут сейчас сделать для своих братьев на Родине, помочь им бороться против лжи безбожия и облегчить их положение путем всеобщей гласности, зова к мировой общечеловечности. И многое сейчас у нас укрепилось в надежде, что возможно помочь нашим страдающим братьям. А современный западный читатель, узнавая из книги о. Дудко об истинном положении религии в СССР, еще раз, может быть, вспомнит, что искание спасения не определяется исканием экономического благополучия, ибо не

единым хлебом бывает жив человек, — книга и дело о. Дмитрия показывают, что человек претерпевает любые испытания и невзгоды ради утоления своего голода по слову Божию. Кроме того, всем полезно поразмыслить над словами о. Дмитрия о разновидности атеизма и углубиться в их причины, ибо кто свободен от скрытого атеизма?

Трудно пересказать содержание бесед о. Дмитрия из-за количества затронутых в них тем и вопросов, а также из-за глубины его мыслей. Да и нет в этом нужды, читатель сам может познакомиться с этой книгой, которая читается неотрывно, с захватывающим интересом. У о. Дмитрия мы находим и апологетику, и богословие, и разъяснение вопросов, связанных с богослужебной практикой, и объяснение церковных таинств. О. Дмитрий ответами, своим духовным опытом и обликом, который сильно отражен в его книге, начисто отменяет то карикатурное представление о Боге, которое безбожники приписывают или, точнее сказать, навязывают верующим. Апологетические ответы о. Дмитрия поражают порой своей гениальной простотой и находчивостью. Он чужд

духовной неправильности. О. Дмитрий совершенно православен в своей богословской интуиции. Ответы его показывают, что тот, кто не уступает перед усилиями задуматься искренно над своей жизнью, кто борется со злом в себе самом, кто силится разрешить свои собственные недоумения, может быть уверенным, что рано или поздно ему дано войти в обладание истинными дарами Святого Духа, каковыми являются мудрость, простота, кротость, смирение, любовь и понимание человека. Дары эти притягивают к тому, кто получил их, они привлекают и верующих и неверующих.

Иногда приходится слышать, что здесь, на Западе, некоторые стороны проблематики о. Дмитрия представляются уже пройденными. Конечно, о. Дмитрий и его слушатели, в силу событий, остались в стороне от религиозного возрождения, начавшегося в России до 1914 года и получившего завершение на Западе, в трудах о. С. Булгакова и Н. А. Бердяева и многих других, того возрождения, которое духовно воспитало или перевоспитало значительную часть русской эмиграции. Конечно, многое еще можно сказать в связи с такими вопросами,

как наука и религия или взаимоотношения христианства и мира. Но богословский подход о. Дмитрия к этим вопросам остается правильным. Кроме того, у него очень много полезных для современной истории сведений, как, например, разбор разновидностей неверия или напоминание о классических доказательствах бытия Божия. Книга о. Дмитрия является вполне актуальным пособием для пастырей, ревнующих о духовном просвещении своих пасомых. И потому целесообразно будет снабдить новые издания книги или ее переводы алфавитным указателем затронутых вопросов и тем. Это сделает из книги своего рода компендиум практических религиозных знаний, и к ней будет удобно прибегать для решения многих вопросов, могущих возникать и в здешней церковной среде. Не надо забывать, что у нас в рассеянии тоже подрастает пополнение, которое уже не находится под влиянием идей русского религиозного возрождения, которому прививают иное мировоззрение не только школы и университеты, но и вся окружающая действительность. С этим поколением могут быть разговоры, в которых книга о.

Дмитрия окажется весьма полезным подспорьем. Если она не сразу приведёт к разрешению всех колебаний, недоумений и трудностей, она, по крайней мере, ясно покажет, в чем заключается истинное христианское упование, каковы его основы, как представляется подлинный христианский образ мышления и делания.

Все, конечно, знают, что основой христианского упования, мышления и жизни является вера. Однако вина постепенного отхода на Западе от христианства и десятилетия непрекращающейся интенсивной борьбы против религии в восточных странах привели к умаленному представлению о вере у многих христиан. Для них вера стала признанием существования Бога. Вера, конечно, включает это признание, но она — нечто гораздо большее. Слово Божие показывает, что вера — не отвлеченный

деизм или даже теизм и морализм, но что она зиждется на свойствах человеческого духа входить в сферу надмирного и встречаться с Богом. Она начинается с доверия слову Откровения о Боге и данным Богом обещаниям; она предлагает человеку подвиг терпения и верности; она может подвести человека к крестному подвигу, к своего рода Гефсимании и Голгофе, и уверять его, что за ними воссияет победа Воскресения. Она дает человеку силы быть верным, низводя в ответ на его подвиг благодатную помощь. Опыт о. Дмитрия, его жизненный путь и его беседы такую веру показывают. Вот почему так необходимо, чтобы его книга читалась и распространялась.

*Прот. А. Князев
Ректор Православного
Богословского Института
в Париже*

ОТРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Мемуары Зинаиды Шаховской «Отражения» — книга своеобразная, так как принадлежит перу человека, яв-

ляющегося журналистом и писателем и принадлежащего, как сам автор пишет, к русской и французской куль-

турам. Воспоминания Шаховской охватывают, в основном, первые десятилетия творческой жизни послереволюционных русских эмигрантских литераторов.

Текст книги не течет плавно, он бурен, порывист. Энергичное перо журналиста то и дело отступает перед духовным самоуглублением писателя. Стилль книги неровен, но именно в нем живет молодое присутствие прошлого.

Воспоминания всегда обладают своей, им присущей истиной. Об этом автор напоминает читателям и, быть может, самому себе: «Литературоведам приходится с этим считаться — у каждого своя правда, по Пиранделло».

Озаглавленная «Отражения», книга действительно является особым отражением вереницы русских писателей, поэтов, критиков: знаменитых, известных, полузабытых. Зеркало — сам автор.

Весьма возможно, что некоторые современники тех лет сочтут свои собственные «отражения» более беспристрастными, себя, как зеркало, более совершенными. Я лично не нашел на страницах, принадлежащих перу Шаховской, ни критики, ни

критикобоязни. Для меня строки, складывающиеся в книгу, были наполнены суrowой сердечностью.

Как любое искусство, мемуарная литература нуждается в воздухе, которым дышит, в котором живет предмет, модель, фабула, свидетельство. В воздухе, без которого искусство мертвеет.

Он есть в книге, этот воздух, быть может, он иногда, согласно настроению автора, несколько сжат или разрежен, но он есть, он как бы окутывает русских людей, их характеры, привычки, страсти. Персонажей своих воспоминаний З. Шаховская почти отрывает от их творчества, она обнажает их быт и делает то, что в России, да и в СССР, редко делали и делают — срывает с них ореол волшебных обладателей слова и, откладывая его в сторону, оставляет на песке эмиграции просто людей.

Книга начинает свою жизнь образом Алексея Михайловича Ремизова, писателя, занимающего особое место в истории русской литературы; человека, написавшего, вероятно, выражая свое мнение о себе подобных: «Человек человеку — бревно».

Обычно люди находят нужным считать, что талантливый человек с подоб-

ным мировоззрением прячет под полной издевательства оболочкой глубокую горечь. 3. Шаховская посылает отражение, будто исключаящее подобную искореженность души: «Сколько лет было Ремизову в 32-м году? — Всего 55, но он казался древнее всех, и Бунина и Зайцева. И при кажущейся беспомощности он лучше своих собратьев умел использовать знакомых, разжалобить своей беззащитностью, уверить всех, что в жизненных делах он ничего не смыслит — и в сущности, ему помогали, до конца жизни, больше, чем кому бы то ни было. А. М. возлагал ответственность за свое существование на других».

Но затем отражение лишается своей гладкой поверхности, автору недостаючнa оголенность данных, зафиксированных памятью: «Пока я писала вот эти мои воспоминания о Ремизове, мне вдруг как-то открылось, что то, что делало его совершенно отличным от других русских писателей, с которыми мне пришлось встретиться, — это, что Ремизов, в сущности, был единственным из них, который мог быть персонажем Достоевского, одним из униженных и оскорбленных, с его горде-

ливым приниженьем и духовным изломом. В нем уживались подлинная трагедия и шутовство, жалость к человеку и издевка над ним. Он был человеком подполья».

Образ Ремизова в книге Зинаиды Шаховской может задеть в читателе много струн, но не ту, в которой дремлет равнодушие ума и чувств.

Для меня, человека, относящегося к третьей эмиграции, «Отражения» оказались книгой, позволяющей мне оглянуться назад в чужое прошлое, в прошлое тех, кто никогда не были советскими людьми, только русскими... оглянуться, сравнить и понять, что прошлое это мне не чужое.

Глава «Русский Монпарнас» сурова, полна безысходности — она о молодых тех лет, о поэтах и писателях середины двадцатых годов. Трагичная судьба этих людей, умеющих только творить, и творчество которых задыхалось в равнодушном к России Париже, подчеркивается автором. Они не умели, быть может не хотели, приспособиться и продолжали жить литературной жизнью той, уже исчезнувшей, России. Мелькают имена: Владимир Смоленский, Юрий

Софиев, Анатолий Алферов, Юрий Фельзен, Антонин Ладинский, Ирина Кнорринг. Кто угас жалко, гордо, молча, крича; кто покончил жизнь самоубийством — не видя будущего, не принимая прошлого; кто, отчаявшись и думая, что выход найден — вернулся в Россию, попал в Советский Союз — и там погиб. Мало кто из них умудрился выжить и, более того, пронести с собой по долгому времени тяжелый, часто громоздкий груз своего творчества.

Все эти, мне подчас неизвестные, странники, блуждающие по громадности чужого города чужой страны, встречались на Монпарнасе. Автор воспоминаний не старается ласковостью слов смягчить прошлое: «Иногда собирались мы в задней зале плохенького кафе около Одеона, отравленной запахом, идущим от клозета, находящегося рядом, в ту пору устроенного на турецкий манер. Почти все собиравшиеся были молоды, устали, плохо кормлены. Те, кто постарше, успели активно участвовать в гражданской войне, те, кто помоложе, — были свидетелями и жертвами ее жестокости. Груз прошлого и груз бесправного ни-

шенского настоящего давил эмигрантскую лиру».

З. Шаховская в своих «Отражениях» не затушевывает бесцельных судорог, душевной искалеченности некоторых поэтов: «Розовошекая девушка с жизнерадостными глазами медленно превращалась в худую, бледную истеричку, и самый простой, беспроблемный и бесталанный графоман выворачивался наизнанку, чтобы показать свое декадентство».

Стараясь короткими фразами, выхваченными из контекста, отобразить основные штрихи мысли автора, я, быть может, часто искажаю их... но можно ли нелюбопытно углубляться в чужие воспоминания?

Автор решительно осуждает добровольную агонию русских эмигрантских литераторов послереволюционных лет, считает ее бесполезной, не нужной никому, в том числе и им самим: «Добровольное заключение себя в какое-то гетто казалось мне преступлением. Мы были в Париже, центре Западной Европы, в новом окружении, среди кипенья новых идей, но вместо того, чтобы во все это включить-ся — хотя бы для того,

чтобы и свою лепту внести для ознакомления Запада с русским миром — мы жили на исчезнувшем материке».

Тут как будто проглядывает вековой спор русских западников и славянофилов, но читая эти строки, я думал не о нем, а о людях и их творчестве... они ушли, оставив нам нечто, они в большинстве своем ушли, но они нам еще многое оставят... с годами их наследие будет расти, шелуха будет опадать, как пыль, а явное и еще скрытое русское их искусство будет приобретать новые значения. Не растворились ли бы они, уйдя в чужое искусство и пытаясь покорить его своим? Эти люди часто некрасиво умирали, но, быть может, именно поэтому их Слово сохранилось в своей чистоте и горькой правде.

В книге воспоминаний З. Шаховской отдельные главы посвящены встречам с духовно мощным Бунинным; с Мариной Цветаевой, о которой автор пишет в конце своих воспоминаний о ней: «Так и остался, и живет во мне образ русского большого поэта, Марины Цветаевой, поэта, обреченного, как и многие другие поэты, на тяже-

лую судьбу, на мученический конец. И караррский мрамор перемальвают жернова истории...»; с желчным, умным Ходасевичем; с полным ироничного пессимизма Адамовичем; с добрым Борисом Зайцевым; с колкой Тэффи (всех не перечислил).

В последней главе «Мимолетные встречи» энергично, но, возможно, несколько наспех, набросаны сцены встреч автора с поэтом Вячеславом Ивановым, с дочерью Толстого Татьяной Львовной, с художником Анненковым, пушкинистом М. Гофманом, писателем Михаилом Осоргиным, с Шагалом.

После каждой главы автор поместил ряд писем из личной переписки с тем или иным персонажем своих воспоминаний. Книга также богата редкими фотографиями.

Воспоминания Шаховской я прочел с волнением, и мне кажется, что для всех, а в особенности для советских эмигрантов, они представляют особенную ценность. Мир людей литературы тех лет открылся передо мной.

В. Рыбаков

О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

История ГУЛага пишется разными людьми. Отвечая по французскому телевидению на телефонные вопросы телезрителей, Александр Солженицын сказал, что эта история должна состоять из сотен томов — и тогда еще вряд ли в ней будут перечислены все человеческие страдания, доставшиеся нашему народу. Недавно вышла еще одна книга, которую можно включить в эту грустную библиотеку: Лев Копелев «Хранить вечно»*. Мы немало прочли уже на эту тему, но поразительно разнообразие свидетельств. Тут и книги, наполненные святой ненавистью, и другие, сухо регистрирующие факты, и третьи — исполненные известного смирения. Книга Копелева стоит в ряду прочих, но у нее есть и свои отличия.

Герой Копелева попадает на архипелаг в конце войны, пополняя собой нарастающий военный поток. Однако книга берет дальше и уходит в конец двадцатых годов. Автор рассказывает нам о жизни своего героя, может быть, больше, чем этого требует тема суда, следствия, лагеря. А жизнь эта

удивительно путаная. Неприятности начинаются рано, с 1927 года, когда харьковского подростка из интеллигентной семьи исключают из пионеров. За что же? Он «застигнут курящим», изболочен в том, что «пил водку и «гулял с буржуазными мешанскими девицами», которые красили губы» (стр. 263). Вероятно, в пионерском возрасте это действительно слегка рановато, хотя и не слишком удивляет нынешнего читателя. Но это лишь одна из причин, а вот и другая, более серьезная: «На собрании ячейки после доклада о международном положении выступил против линии Коминтерна в Китае — осуждал союз с Гоминданом» (стр. 263). Написанному несомненно веришь, но сегодня это заставляет поморщиться, и первая неприязнь к герою уже затеплилась. Когда же видишь, что еще через пару лет он сам по себе, не по учебной программе, садится с увлечением за книги, которых никто из молодежи в нашей стране нынче добровольно читать не будет: «стенограммы партийных съездов, книги и бро-

* Лев Копелев. Хранить вечно. Ardis. Ann Arbor. USA, 1975, 729 с.

шюры: Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, Каутского, Бухарина, Троцкого, Луначарского, Зиновьева, Сталина, Преображенского...» (стр. 263) — неприязнь усиливается. Ни к чему хорошему, думаем мы, эти увлечения не приведут молодого человека. Лучше бы продолжал гулять с «мещанскими девицами», которые носят туфли «на рюмочках». Однако первоначально всё оборачивается героически: наш юноша по просьбе двоюродного брата прячет листовки, написанные «партийной оппозицией» и даже попадает на 10 дней в тюрьму. Впрочем, это его мало чему научило, скоро он уже становится активным комсомольцем, работает в заводской многотиражке, борется со всем, с чем полагалось в те годы бороться, и даже становится осведомителем уполномоченного ГПУ по заводу. Интересно, что осведомительство это было лишь слегка внушено старшим товарищем-чекистом, юноша бросился в него с полным энтузиазмом: «функции секретного сотрудника, — сексота, были, конечно же, необходимы; коварным врагам надо было противопоставлять свое умение хитрить, маневрировать, вести разведку и контрразведку»

(стр. 277). Кто же были враги? — «...бригадир сборщиков дизелей, отказавшийся брать повышенное обязательство, или инженер-хохмач и «предельщик», потешавшийся над рабкорами», потом эсперантисты, на заседания которых ему поручали ходить, чтоб «установить, кто там бывает, какая получается иностранная почта», а позднее и крестьяне, которых он помогает грабить вместе с другими комсомольскими активистами и, конечно, с уполномоченным ГПУ, что пишет по доносам комсомольцев «рапортчики», «из которых потом вырастали ордера на аресты» (стр. 277).

Закономерно, что на фронте он становится работником политуправления. Читать военные страницы почти так же невыносимо, как и комсомольские. Правда, идет война, и герой воюет, часто даже храбро, но автор по-прежнему беспощаден к нему. Методы разложения немецкого тыла — главная специальность героя, теперь уже майора, — всё те же: демагогия и ложь, хотя бы он в них и верил. Но тут уже начинаются его конфликты с окружающими офицерами, с его партийными друзьями. Автор вынужден пересказывать нам многочисленные спо-

ры, разговоры, где герой выступает человеком, чуть более разумным, чуть более порядочным и чуть более жалостливым к тем, кто и так уже разгромлен. Но это «чуть» такое малое, а разговоры и мелкие стычки столь отвратительно советские, коммунистические — с обеих сторон — что читатель словно купается в грязи.

Но скоро начинается очищение — арестом, тюрьмой, страданием. Обычно гулаговские воспоминания имеют огромное значение еще и тем, что дают не бывавшему там еще человеку инструкцию, как себя вести, дают опыт поведения (а каждый у нас может ждать своей очереди и посейчас, хоть, слава Богу, не до каждого она доходит). Но эта книга такой роли играть не может, — разве что в ее лагерной части. Жизнь героя, а значит, и система его поведения на суде, не могут сейчас служить примером почти никому. Вплоть до лагеря эта жизнь кажется нам просто страшной своей полной неукорененностью. Окончательная потеря ориентиров, невозможность отличить зло и добро даже в самых простых случаях, вероятно, были свойственны многим энтузиастам социализма в предвоен-

ные годы. В книге Копелева мы видим, какие бытовые формы принимала эта неукорененность. Временами хочется, чтобы автор был добрей к своему герою. Но он не желает, он по-прежнему к нему беспощаден, а спорить с ним трудно, потому что герой и есть сам автор.

Лев Копелев, известный переводчик с немецкого, знаток Брехта, друг Бёлля, в течение нескольких лет сосиделец Солженицына по «шарашке», написал не просто историю одного «дела», его книга «вместе с тем — попытка исповеди» (это написано сразу под заглавием). Такая книга, конечно, имеет огромное терапевтическое значение для автора и предупредительный смысл для многих. Исповедь получилась горькой, но искренней — иначе в ней не было бы смысла.

Однако книга этим не ограничивается. В ней немало документальных подробностей, не столь часто встречающихся в печати.

Прежде всего значительное место занимают в ней сцены победного движения наших войск по Восточной Пруссии в конце войны. Изнасилования, грабежи, мародерство, пьяные драки, почти полная невозможность остановить кого-либо здра-

вым словом — и все это при многократно отмеченном в той же книге добром, готовом мгновенно свернуть на жалость характере русского солдата. Поистине трудно сказать, лучше ли быть в армии побеждающей, чем в разбитой и отступающей. Лишний раз убеждаешься, что война — всегда грязное дело. Книга Копелева одна из немногих, где можно найти правду о поведении советской армии в Европе. Нетрудно предвидеть, какой резонанс это вызовет в официальных советских кругах.

Немалое место уделено здесь сталинским тюрьмам и лагерям. Судебная история Копелева довольно необычна. По одному и тому же делу его судили трижды, и каждый последующий раз все суровее. Первый суд оправдал его (правда, сидевшего до того уже второй год). Сидельца даже выпустили на время, но вскоре прокуратура обжаловала мягкое решение, последовал новый арест, и второй суд дал три года, плюс ссылка. Ненасытному правосудию всё мало. Вновь дергают Копелева из лагеря и наконец дают нормальную десятку: автор называет эту часть книги, последнюю, «Торжество правосудия».

Огромное количество персонажей населяет тюремно-лагерные страницы книги. Возможно, для художественного произведения это даже много, но перед нами документ. Вновь видим мы, какие разные люди попадают на этот архипелаг. Вся страна многократно перевернута, отовсюду вытряхнуты самые невинные люди и перемешаны с самыми отъявленными нравственными уродами — в чем и состоит важнейший принцип ГУЛага.

Американское издательство «Ардис» постепенно занимает все более заметное место среди зарубежных русских издательств. Начав несколько лет назад с публикации избранных современных авторов, оно постепенно расширяет свои интересы. Среди книг «Ардиса» — повесть «Котлован» и пьеса «Шарманка» Андрея Платонова, переиздания лучших книг Набокова, стихи Бродского и Горбаневской, репринты первых изданий М. Кузмина, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака, К. Вагинова, Н. Заболоцкого. Книгой Льва Копелева издательство «Ардис» включает в современную публицистику.

М. В.

БЕЗЖАЛОСТНАЯ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ

Хедрик Смит — один из лучших американских журналистов. Он был удостоен Пулитцеровской премии в 1974 году за репортажи из Москвы, где он провел около трех лет в качестве корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс». Он соавтор нашумевших бумаг Пентагона, касавшихся вьетнамской войны. Смит работал в Сайгоне, Париже, Каире, Вашингтоне. Теперь Хедрик Смит — заместитель главного редактора газеты «Нью-Йорк таймс».

Его новая книга не первая, написанная иностранным корреспондентом в Москве. Но она принадлежит к новой серии репортажей, которые освещают СССР не только по официальным контактам и по анализу прессы, но также и по результатам непосредственных неофициальных контактов со многими советскими гражданами, включая открытых диссидентов. Такая возможность появилась лишь недавно, и один из первых отчетов такого рода принадлежит корреспонденту лондонской газеты «Таймс» Дэвиду Бона-

виа, который два года назад опубликовал книгу «Толстый Саша и городской партизан».

Хедрик Смит имел много контактов на любом уровне советского общества и, будучи очень проницательным и опытным наблюдателем, сообщает очень ценную информацию для западных читателей, для которых СССР все еще «terra incognita». В последние годы много мифов о СССР было развеяно такими людьми, как Солженицын и Сахаров. Но один миф по-прежнему существует как среди левых, так и среди консерваторов. Это миф о СССР, как о современном индустриальном обществе с эффективной организацией и планированием. Смит с большой убедительностью разрушает этот миф.

«Я также отучился от представления, — пишет он, — о том, что Россия стала современным индустриальным государством наравне с развитым Западом, ибо такое представление скрывает гораздо больше, чем открывает». За фасадом великолепного театрального спектакля

* Hedrick Smith. «The Russians», Quadrangle, The New York Times Book Co., N. Y., 528 pp. \$ 12,50.

с пятилетками я стал разбирать хаотическую, беспорядочную производственную свалку... Вместо одной экономики в России оказалось пять: военная, тяжелая, потребительская, сельскохозяйственная и нелегальная контрэкономика — и каждая со своими стандартами. Наилучшие результаты дают, по-видимому, первая и последняя. Остальные плетутся где-то посередине. Пропагандистская картина ударников, неустанно строящих социализм, была быстро развеяна для меня неприкрытым стяжательством официантов, ремонтников или строителей». Более того, Смит осмеливается назвать так называемую советскую плановую систему лишь способной сконцентрироваться на нескольких приоритетных объектах. «Некоторым образом, — пишет он, — советская система менее всего представляет плановую экономику, а скорее систему концентрации усилий на важных объектах, так что Кремль может устанавливать приоритеты и мобилизовать усилия масс для их выполнения».

«Внутренний мир советской промышленности, — замечает он, — является пародией на плановую эконо-

мику, представляющей Запад, как якобы функционирующей с монополистической гармонией и монолитной дисциплиной».

Смит поэтому очень скептически настроен по поводу возможного влияния новой большой инъекции западной технологии в СССР. «Когда Россия покупает заводы на Западе, — пишет он, — она часто использует в восемь раз больше рабочих, нейтрализуя тем самым эффективность западной техники».

Он доказывает, что относительная успешность советской военной промышленности ничего не говорит об общем уровне советской техники.

«На Западе, — говорит Смит, — военная промышленность примерно одинакова с общим уровнем технологии всей промышленности. Не так в России... Военная и космическая промышленность работает на другой основе, чем остальная часть всей экономики». Военная промышленность является «единственным сектором советской экономики, который работает с помощью рыночного механизма, в том смысле, что потребители выбирают с помощью рыночного механизма тот вид оружия, который им нужен».

Другим откровением, сделанным Смитом для людей Запада, является сообщение об огромном частном секторе советской экономики, которая существует благодаря коррупции и благодаря частным усилиям вне государственной экономики. Согласно некоторым оценкам, этот сектор составляет около 10% валового национального дохода. Смит безжалостно разоблачает эту систему с ее настоящими миллионерами, вкушающими плоды своего богатства.

Автор также представляет советское общество как классовое с очень резкими классовыми различиями, как общество, власть правящего класса в котором безгранична.

Советская элита, пишет Смит, «рассматривает свои привилегии как нечто само собой разумеющееся, с надменным презрением к простому человеку, которое превосходит презрение самых богатых людей на Западе».

Список мифов, разрушенных Хедриком Смитом, слишком велик, чтобы его можно было рассмотреть, но это разрушение производит сильное впечатление. Но один из его выводов может удивить

многих людей, хотя он совершенно правилен. Это его замечание о «скрытой анархии русской жизни — безнаказанном нарушении правил людьми в системе правил». Это, по-видимому, показывает самую большую слабость советского общества, которая в комбинации с некоторыми явными внутренними и внешними конфликтами способна поставить под угрозу само существование этой страны.

Смит, по-видимому, не исключает возможных резких изменений в этом обществе, делая очень интересный намек при обсуждении дела Солженицына. (Кстати, его личные впечатления о писателе очень интересны.) Хедрик Смит называет солженицынское «Письмо к вождям», которое обескуражило Запад, «почти преднамеренной попыткой создать рациональную и патриотическую идеологию для военного переворота».

Невозможно передать даже поверхностное впечатление обо всем, что содержится в этом большом томе. В любом случае ясно, что книга эта повлияет на мировое общественное мнение очень сильно и будет способствовать дальнейшей демифоло-

гизации советской тоталитарной системы, находящейся в настоящее время в со-

стоянии очевидного упадка, несмотря на свои временные успехи в экспансии.

М. Агурский

«ЛЕВАЯ» ФРАНЦИЯ

Имеет ли еще смысл в наше время противопоставление понятий «правый» и «левый»?

Р. Арон. «Опиум для интеллигенции»

В начале пятидесятых годов французский ученый Раймон Арон писал: «Интеллигенты не поняли своего задания, состоящего в том, чтобы служить сверхвременным ценностям — истине и справедливости» («Опиум для интеллигенции»). Парадоксально, но факт: этот упрек в еще большей мере относится к западной интеллигенции, чем к интеллигенции тоталитарных коммунистических стран. И вполне понятно, что писатели, художники, поэты, выезжающие из Советского Союза на Запад, испытывают глубокую горечь при встречах со своими западными собратьями, или читая западные газеты и журналы, слушая радио. Горечь эта нередко перерастает в раздражение. И вполне понятно раздражение людей, хлебнувших горя у себя на родине, где они не только

видели и не только испытали на своей шкуре, как практически осуществляются идеи марксизма, но и изучили (и не всегда из-под палки) теорию марксизма. Сегодня они приезжают на Запад и начинают в своих первых же контактах с западной интеллигенцией сталкиваться с так называемыми западными «лево-настроенными интеллигентами», с теми, кого советские власти определяют как «представителей прогрессивных сил». Осуждая правый тоталитаризм, эти «представители» закрывают глаза на преступления левого тоталитаризма, коммунистического. Протестуя против расширения власти государства, те же люди пытаются проложить путь тотальной государственной тирании. Во Франции эта интеллигенция левого толка в печати, по радио, по телевидению клей-

мит позором своих противников, «правых», «консерваторов», требует лишить их права слова.

Никто не решится утверждать, что во Франции полностью уничтожена социальная несправедливость. Однако нам, жившим в Советском Союзе, трудно не заметить, что французские «левые» интеллигенты, наотрез отказываясь от конструктивной борьбы с некоторой социальной несправедливостью, существующей и во Франции, не принимая участия в тех реформах, которые проводит нынешнее французское правительство, тем самым готовят всеобщую и всецелую несправедливость. Несправедливость не для некоторых, а для всех. И не испытывают при этом ни малейшей потребности в серьезном осмыслении того, что происходит во Франции или в коммунистических странах. Рассуждают эти «левые» следующим образом: «Раз в Советском Союзе так мало инакомыслящих, а в КНР, например, по слухам, их вообще нет, значит остальные граждане (большинство) согласны с существующим у них на родине режимом». Левая печать, влияния которой во Франции не следует преуменьшать, с вос-

торгом публикует результаты каждых выборов в СССР: 99,9 процента, причем обычно в комментариях этой печати прямо или косвенно утверждается одна мысль: таков процент населения, голосующего за существование советской власти. И невдомек этим людям, что если в Советском Союзе так мало инакомыслящих (кстати, их не так уж мало), то вовсе не оттого, что остальное население — «за», а потому, что в стране с самой мощной в мире армией и самым всеобъемлющим в мире полицейским аппаратом нужно немало мужества, чтобы громко и ясно восстать против этого аппарата и этой армии. Многие приспособляются к этому режиму, причем некоторые — вполне искренне. Во Франции же протестующая интеллигенция, представляющая собой наиболее привилегированную часть населения, не рискует из-за своего протеста потерять ни одну из своих привилегий, ибо во Франции право на протест охраняется конституционными гарантиями. Именно с этими гарантиями в своей политической близорукости и слепоте и борется французская «левая» интеллигенция. Воистину, «правды боится не Филат,

что и каше рад, а Тарас, что пряники есть горазд». Протест этих интеллигентов напоминает протест, апофеозом которого был во Франции май 1968 года. Протест сына против чрезмерного либерализма отца, который — что бы сын ни сделал — никогда не повысит голоса, не стукнет кулаком по столу, не рявкнет, не пристыдит (не может он этого, конституция не позволяет!) И в своих парижских салонах разглагольствуют интеллигенты левого толка о борьбе за благоденствие пролетариата, не имея среди своих знакомых ни одного рабочего, не имея ни малейшего представления об истинных жизненных условиях французских рабочих. (Кстати, не потому ли эти салонные интеллигенты явно предпочитают ни к чему не обязывающий термин «пролетариат» слову «пролетарий», что под словом «пролетарий» видится настоящий, конкретный, не мифический рабочий, а с таковыми французская интеллигенция не знается?)

В своей Нобелевской лекции 1970 года А. Солженицын писал, что многие не смеют возражать против «рабства у передовых идей», потому что боятся прослыть «консерваторами». К тем —

немногим, — которые берут на себя смелость возразить, относится Жорж Сюфферт, известный французский писатель-публицист, автор книги «Интеллигенты в шезлонгах» (издательство «Плон»), книги острой, едкой, написанной в резко полемическом стиле. Исследование левой фауны парижских салонов — «Интеллигенты в шезлонгах» — стало во Франции бестселлером, неожиданно для левой интеллигенции, очень расстроенной этим успехом. Остальные оценили успех книги Жоржа Сюфферта как довольно обнадеживающее явление, как показатель того, что молчаливое большинство все же сильнее крикливого меньшинства.

В предисловии к своей книге «Интеллигенты в шезлонгах» Жорж Сюфферт рассказывает о том, почему и как к нему пришло решение написать эту книгу. Прошу извинить меня за то, что привожу далее столь длинный отрывок из этого вступления, но в нем очень ярко показано, до каких безобразий доходит иногда левая студенческая молодежь, подстрекаемая своими духовными отцами, оправдывающими не только политическое хулиганство и физическое надругательство над против-

никами (нередко мнимыми), но и терроризм, как оправдывал Жан-Поль Сартр гнусные действия западногерманских террористов.

В отрывке из книги «Интеллигенты в шезлонгах», о котором идет речь, Ж. Сюфферт рассказывает о том, как однажды у него дома зазвонил телефон. Ж. Сюфферт пишет: «Звонил мой старый друг, еврей, который провел два года в нацистском концлагере в Дахау, профессор Венсенского университета. Он просил у меня помощи... Он взял такси и приехал из Медона ко мне на площадь Италии. Он сказал, что больше не может. Он вынес все: оскорбительные выпады на своих лекциях, удары и то, что каждый раз, когда он входил в аудиторию и подходил к своей кафедре, он видел доску, покрытую похабными надписями. Спокойно, не говоря ни слова, он надевал очки, доставал губку, вытирал доску и читал лекцию о немецкой культуре. Но на этот раз он вмешался. Это произошло, когда перед университетом была драка. Новые революционеры наших дней били студента, который отказался голосовать за какую-то их резолюцию. Мой друг вмешался, — пишет Ж. Сюф-

ферт, — его швырнули на землю и метров сто тащили по земле за волосы, вернее, за то, что у него еще осталось от волос. Я спросил у него, — рассказывает Ж. Сюфферт, — знают ли его студенты, что он был в Дахау? Он ответил: «А зачем я стал бы говорить им это? Разве дает нам наше прошлое какие-либо права?» И тогда, — продолжал Ж. Сюфферт, — я спокойно принял решение или рассердиться на «партию интеллектуалов» или высмеять ее».

Книга «Интеллектуалы в шезлонгах» явилась результатом этого решения. В этой книге постоянно, на каждой странице, заметны и гнев Сюфферта и его смех. Гнев против «смешных жеманниц» — интеллектуалов парижских левых салонов, против интеллектуалов, которые, в самых богатых кварталах Парижа, удобненько рассевшись в своих шезлонгах и мягких креслах, рассуждают о революции, народе, преимуществах диктатуры пролетариата над гнилым буржуазным либерализмом. Но кроме гнева есть в книге Ж. Сюфферта и насмешка. Насмешка над модными словечками левой интеллигенции, над ее политическим консерватизмом, ее

нервными тиками, ее политической безграмотностью, ее претенциозным, непонятным для рядового француза языком, над ее терминологией. В последней главе своей книги, главе под названием «Надежда?», Сюфферт пишет: «Достаточно элементарного знания социологии, чтобы отдать себе отчет: мыслители-одиночки редки... И если манеры и поведение партии интеллектуалов настолько раздражают меня, что я посвящаю их анализу какое-то число своих вечеров и выходных дней, то, безус-

ловно, многие разделяют мои мысли, не решаясь признать-ся в этом вслух». Автор книги «Интеллектуалы в шезлонгах» и не пытается скрыть недостаточность своих доказательств о том, что партия левых интеллектуалов слабеет, что ряды ее редеют. Он сам признается, что — его мысль о грядущем ослаблении влияния левых партий — скорее интуиция, чем обоснованный довод. Интуиция и надежда. Надежда с вопросительным знаком.

Ф. Салказанова

ДОРОГА СТРАДАНИЯ

Анатолий Марченко — не тот человек, которого нужно многословно представлять западному и российскому читателю: хорошо известна его трагическая судьба непреклонного борца за попираемые советской властью права человека; огромной популярностью, как на родине, так и за границей, пользуется его мужественная книга об «Архипелаге ГУЛаг» наших дней — «Мои показания».

И вот он вновь, в пятый раз, осужден, и вновь Марченко сообщает миру правдивую информацию о «самом гуманном» государстве и обществе, информацию, которую, к сожалению, до сих пор многие не хотят услышать — свой душевный покой берегут, свои нервные клетки, видимо, берегут, которые — не восстанавливаются, видите ли... А ближ-

Анатолий Марченко. «От Тарусы до Чуны». С приложением документов о суде над Марченко. Издательство «Хроника», Нью-Йорк, 1976, 124 стр., 5 долл.

ний, а брат твой... «Где Авель, брат твой?»

А он — в Чуне, в далекой суровой сибирской ссылке, на лесоповале, — больной, искалеченный одиннадцатью годами лагерей и тюрем и вновь пошедший на крест, преданный теми, кто хочет свободы только для себя, преданный теми, на кого он так уповал!..

«Четыре года ссылки в Сибирь — за то, что сего числа гулял со своим ребенком во дворе своего дома.

К тому же этого не было.

— Послушайте, это же сумасшедший дом!

— Нет, — отвечает Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. — Таков один из наших традиционных национальных обрядов.

Ваших обрядов! Вашей нации — советских коммунистов! Не моей!...

Я обращаюсь ко всем людям во всем мире и прошу всех, кто может, помочь мне и моей жене с сыном эмигрировать в США. Я продолжаю голодовку... (мое последнее слово)».

Эта голодовка, едва не закончившаяся смертью, продолжалась *два месяца*: со дня ареста — все время предварительного заключения, суда и этапирования — до прибытия в Пермскую пере-

сильную тюрьму, последние десять дней не было даже искусственного питания, не было никакого медицинского наблюдения. Это значит, что власти *хотели его смерти*. Но Марченко пока жив.

Его небольшой очерк, как он сам говорит, «не дневниковая запись. Он написан уже в ссылке, по памяти». Начиная повествование, Марченко говорит о своем долге засвидетельствовать то, о чем еще никто не рассказал, а он — испытал «на собственной шкуре». Но в итоге получилось не просто фактографическое свидетельство о ранее неизвестных или мало известных вещах. Самое ценное в книге «От Тарусы до Чуны» — авторское осмысление происшедшего с ним, поток его мыслей, логика его борьбы с абсолютно антигуманным режимом, который, конечно же, никакими проектами о так называемом «социализме с человеческим лицом» не подлечить, не выправить. Читателя очерка Марченко подкупает прежде всего абсолютная открытость, искренность автора, находящего в себе силы трезво оценивать свои просчеты и даже поражения, но и отдающего себе отчет в том, в чем он силен, когда едва ли не один на один он

борется с чудовищной, бессердечной машиной тотального подавления личности.

К таким страницам относятся, например, те, где Анатолий Марченко рассуждает о таком методе борьбы, как голодовка, где он мотивирует свое принципиальное решение не вступать с бандитской властью ни в какие игры, не идти ни на какие компромиссы: «Я так решил заранее: ... раз в отношении меня совершается произвол и насилие, так пусть, по крайней мере, без моей помощи».

Поразительно точны и компетентны наблюдения Марченко, касающиеся тех послушных исполнителей злой воли государства, которые и поныне добровольно ограничиваются ролью «винтиков». Вот следователь Калужской прокуратуры Дежурная (ей еще повезло, у одного известного гебиста фамилия и того точнее — Сыщиков). Марченко изображает ее портрет, пытается представить себе ее жизненную судьбу. Он знает, каково ей, как женщине, достается в маленьком провинциальном городке, где надо «ездить к «подопечным» в Калугу, три часа в один конец, дорога — русская, тряская, домой вовремя не вернешься,

а дома семья... Это все как вырезано на ее унылом лице. Да и подопечные ее — не сахар, должно быть. И я среди них — из самых вредных: отнял и не вернул постановление на обыск, разговаривать отказываюсь, на вопросы не отвечаю, ни одну бумагу не подписываю. Но Дежурная не раздражается и не злится. Устало и равнодушно она что-то там сама пишет, произносит автоматически свои *дежурные* увещевания...

Пожалеть про себя, что ли, эту усталую замороженную женщину?»

И действительно: в чем она виновата лично? Ведь ей все это приказали, она только послушный исполнитель, она бы, может, и рада, да...

«...Я был самым легким ее клиентом: ведь никакой ответственности, никакой личной инициативы, делай, что велят, и никто с тебя за это не спросит. А, между прочим, чем она рисковала, если бы проявила элементарную служебную добросовестность? Стоит эта Дежурная на низшей ступеньке служебной лестницы, на следующую не метит. И мается не от тряских дорог, а от непосильного для нее груза ответственности — не перед совестью, а перед начальством.

Не мне ее жалеть — руками этого ничтожества я оторван от семьи, от сына, брошен в тюрьму. Дальше меня подхватят другие такие же руки».

И показывает Марченко эти другие, грязные, потные руки, таких же, с разной, правда, степенью остервенелости, равнодушных и азартных «винтиков», иллюстрируя свой давно определившийся тезис: «на собачьей должности — собака». Милиционеры-лжесвидетели М. Кузиков (Таруса) и Иван Степанович Трубицын (Москва), начальник тюрьмы Н. В. Кузнецов (Калуга, Учр. ИЗ-37/1), дружинники-понятые В. Я. Фоменков и В. Н. Левашев (Таруса), стукачка Л. Н. Старухина (нач. участка Горгаза, Таруса), милиционеры В. Н. Архипов, Володин, Лунев (Таруса) и И. В. Ильков, нач. отд. милиции (Москва), «юристы» — Б. Юлин, прокурор (Таруса), С. Левтеев, судья (Калуга), Шарафанов, прокурор (Калуга), Кречетова, судья (Таруса), Грибков, адвокат (Калуга), «народные заседатели» Заикин и Блинов (Калуга), тюремные медики, надзиратели, конвоиры, палачи... Настанет день — «мы поминенно вспомним всех, кто поднял руку»!

И не забудем тех, кто в нечеловеческих условиях, рискуя своей жизнью — это не преувеличение, увы! — мужественно вступает за каждого, чьи права человека и гражданина попираются самым бесстыдным образом, — в самиздатовских материалах, являющихся приложением к очерку Марченко, зафиксирована борьба за справедливость его родных и друзей: Ларисы Богораз, Иосифа Богораз, Ольги Зиминой, Гали Петровой, Андрея Сахарова, Веры Лашковой, Натальи Кравченко, Татьяны Ходорович, Мальвы Ланда, Андрея Григоренко, Юрия Орлова...

Закончим нашу короткую рецензию на книгу Анатолия Марченко словами, которыми он завершает свой очерк «От Тарусы до Чуны»:

«Мне кажется, что международное сотрудничество с советским режимом в области культуры и экономики без активного влияния на его обращение со своими гражданами поощряет его на жестокость и деспотизм. Наличие политзаключенных в стране, а тем более — их трагическое положение в наши дни уже не является внутренним делом этой страны. Контакты с жестокими диктатурами понижают нравст-

венный уровень всего человечества. К тому же эти свойства — жестокость, бесчеловечность, власть силы — имеют тенденцию распространяться по всему миру».

«Прислушайтесь к этим призывам, гуманисты Запада! Ведь люди кладут на это здоровье, рискуют жизнью, где же ваш отклик?»

В. Соколов



«ПОСЕВ»

Общественно-политический журнал

Выходит с 1945 г. за рубежом ежемесячно

«Посев» участвует в борьбе за право, свободу и справедливость в России; по мере сил поддерживал и поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях и на всех этапах его развития; информирует о России и из России; публикует материалы, отражающие развитие политической и общественной мысли нашей страны, аналитические, проблемные, дискуссионные статьи; освещает важнейшие мировые события с российской точки зрения.

Ежеквартальное приложение — **«Вольное слово»** — сборник избранных самиздатовских материалов: документов, статей, обращений, записей судебных процессов, и т. п.

Удешевленная подписка в издательстве:

«Посев» и «Вольное слово» — 65 н.м., «Посев» — 50 н.м.

Подписка через магазины: «Посев» и «Вольное слово» — 78 н.м., «Посев» — 60 н.м.

Доплата за воздушную доставку «Посева» в Сев. Америку и на Ближний Восток — 20 н.м. В Юж. Америку и на Дальний Восток — 30 н.м.

«Посев» в Австралии с доставкой возд. пакетом и рассылкой на месте — 24 ав. дол.

Адрес: POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D - 6230 Frankfurt/Main 80

Наша анкета

Сол Беллоу

ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ

Вопрос. Насколько вы, прозаик из Чикаго, годитесь для Американской Жизни? Существует ли литературный мир, к которому вы принадлежите?

Ответ. Когда я несколько лет тому назад вошёл в парижский ресторан «Вольтер» с писателем Луи Гийю, официант назвал его метром. Я не знал, завидовать ему или смеяться. Никто никогда не обращался со мной так почтительно. Ещё студентом, живя в Чикаго, я читал о *салонах* и *кружках*, о вечерах с Флобером, с Тургеневым и Сент-Бёвом¹⁾ — читал и вздыхал. Славные времена! Но Гийю — бретонец, бывший левтист — казалось, был сконфужен этим титулом. Возможно, даже в Париже литературную культуру охраняют теперь одни только льстивые метрдотели. Я не утверждаю этого наверное, но уж в Америке мы точно не имеем ничего подобного — никаких метров, кроме как в столовых, никакого литературного мира, никакой литературной общественности. Многие из нас читают, многие любят литературу, но у нас нет литературных традиций, систематической литературы. Я не говорю, что это плохо, я только констатирую, что наше общество не из тех, кто создаёт подобные вещи. Любая молодая страна, которая не унаследовала их, просто и не может их иметь.

1) Сент-Бёв, Шарль-Огюстен (1804-1869) — французский критик и поэт, в качестве последнего известен под псевдонимом Жозеф Делорм (здесь и дальше прим. перев.).

Американские писатели отнюдь не заброшены, иной раз их смешивают с классиками, они даже могут быть приглашены в Белый дом, но никто там не будет говорить с ними о литературе. Мистер Никсон не терпел писателей и наотрез отказывался иметь с ними дело, но мистер Форд приглашает их вместе с актёрами, музыкантами, телевизионными обозревателями и политиками. На этих замечательных вечерах Восточная Комната наполняется знаменитостями, которые приходят в экстаз при виде других знаменитостей. Секретарь Киссинджер и Денни Кей²⁾ падают друг другу в объятия. Кэри Гранта²⁾ окружают жены сенаторов, они находят его удивительно сохранившимся и во плоти столь же привлекательным, как в фильме, им трудно переносить волнение от столь тесного контакта с величием. Гости говорят о своей диете, о поездках и каникулах, о витаминах и проблемах старения. Никто не обсуждает вопросов языка и стиля, структуры романа, направлений в живописи. Писатель найдёт случай убедиться в своей популярности. Сенатор Фулбрайт, оказывается, даже знает его имя и говорит: «Вы пишете эссе, не правда ли? Я уверен, что помню одно из них». Ведь уважаемый сенатор, как все знают, был когда-то стипендиатом фонда Родса³⁾.

Писателю и в самом деле приятно на таком вечере, когда он, полубесплотный, необременённый малым разговором, шатается из комнаты в комнату, разглядывая и прислушиваясь. Он знает, что настоящие общественные деятели не могут сочетать руководство страной с литературой, искусством и философией. Их мир — это мир высоковольтных передач а не цветочков на берегу. Десять лет назад мэр Дели во время малой церемонии в Сити Холле вручил мне чек на пятьсот долларов от имени общест

2) Денни Кей, Кэри Грант — американские киноактёры.

3) Т. е. учился в Оксфорде.

писателей Мидлэнда. «Г-н мэ́р, вы читали «Герцога»⁴⁾ ?» — спросил один из присутствовавших репортёров. «Я заглянул в него», — отвечал Дейли, не сдавая позиций. Искусство — не его блюдо, и разве оно должно им быть? Я предпочитаю небрежение г-на мэра тому интересу, который проявлял к поэзии Сталин, когда звонил Пастернаку, чтоб поболтать с ним о Мандельштаме, а недолго спустя отправить Мандельштама на тот свет.

Вопрос. Вы утверждаете, что современное индустриальное общество отменяет искусство?

Ответ. Вовсе нет. Искусство — одно из тех благ, к которым оно настроено дружественно. Оно достаточно восприимчиво к нему. Но то, что Рёскин⁵⁾ сказал об английском обществе в 1871 году, вполне относится и к нам: «Никакое чтение невозможно для людей с таким душевным состоянием. Никакие сентенции великих писателей не могут их вразумить». Рёскин обвиняет жадность: «...подобную неспособность к мышлению вызвало у них безумие жадности. К счастью, наша болезнь (пока) лишь немногим хуже, чем эта неспособность к мышлению; это не есть разложение внутренней сущности; мы всё ещё звучим искренне, когда что-либо задевает нас за живое... хотя сама идея, что всё должно быть «оплачено», глубоко заразила любое наше намерение...»

Вопрос. Но ведь вы не считаете жадность главной проблемой?

Ответ. Нет. «Люди с таким душевным состоянием» — я полагаю, что это стресс. Мы находимся в необычайно революционном состоянии, которое никогда не кончается. Вчера я наткнулся на описание

4) «Герцог» — наиболее известный роман Сола Беллоу, Национальная книжная премия 1964 г.

5) Рёскин, Джон (1819-1900) — знаменитый английский искусствовед и социолог.

медицинской техники для самолечения. Пациенты должны на несколько минут включить высокочастотные шумы, пока не станут достаточно спокойными, чтобы подумать и осознать свои симптомы. Чтоб хоть ненадолго ощутить мир в душе, вам нужна помощь медицинской технологии. Легко наблюдать в барах, за обеденными столами, везде, что все американцы, от ночлежного до Белого дома, поглощены одними и теми же проблемами. Наша собственная американская жизнь есть предмет нашей страсти, наша общественная и национальная жизнь на мировом фоне — грандиозный спектакль, ежедневно даваемый газетами и телевидением: наши города, наши преступления, наше жилищное строительство, автомобили, спорт, наша погода, наша технология и политика, наши сексуальные, расовые проблемы, проблемы дипломатии и международных отношений. Все эти вещи достаточно реальны. Но что за формулировки, что за жаргон, что за принципы отбора предпочитают эти массовые средства! Телевидение создаёт волнующие фикции, раздувает и драматизирует призрачные события, так что население принимает их, а большинство и вообще верит в полную реальность каждого. Возможно ли чтение для людей с таким душевным состоянием?

Вопрос. Хорошая книга всё ещё может найти сотню тысяч читателей. А вы говорите, что нет литературной общественности.

Ответ. Интересная книга, по-видимому, сама создаёт собственную публику. Когда вышел «Герцог», я узнал, что в Америке есть по крайней мере пятьдесят тысяч человек, желающих прочесть мой роман. Очевидно, они ждали чего-то в этом роде. С другими писателями, несомненно, бывало то же самое. Но такая публика — дело временное. Не существует литературной среды, которая непрерывно включала бы в себя всех этих читателей. Замечательно трезвый и смышлёный народ выходит из волнистых пустынь

американской образовательной системы. Они выдерживают испытания на прочность, удачу и ловкость.

Вопрос. Что они делают в ожидании следующего важного события?

Ответ. Вот именно — что им читать из месяца в месяц? От какой такой современной литературы, в каких журналах, им нужно не отставать?

Вопрос. Ну, а университеты? Разве они ничего не сделали для воспитания взглядов и развития вкуса?

Ответ. Для большинства профессоров английского языка роман есть предмет высочайшего культурного значения. Его идеи, его символическая структура, его место в истории Романтизма или Реализма или Модернизма, его высокая уместность — требуют благоговейного изучения. Но что делать такому культурному литературоведению с писателями и читателями? Ведь и тем и другим интересно настоящее, им подавай живых людей, им интересен окружающий мир. Преподавание литературы всегда было бедствием. Между учащимся и книгой, которую он читает, лежит мрачная подготовительная зона, настоящая трясина. Он должен пересечь эти культурные хляби, прежде чем ему позволят открыть его «Моби Дик» и прочесть: «Зовите меня Исмаил»⁶⁾. Его заставляют чувствовать себя невеждой, недостойным шедевров, он напуган, он испытывает к ним отвращение. А если метода оказывается успешной, она производит бакалавров искусствования, которые могут толковать, почему «Пекод» покидает гавань Рождественским утром. Что ещё могут рассказать вам они — не приобщившиеся к восприятию книги, начинённые псевдоучёными толкованиями? То, что способны сказать о романе «образованные», заменило сам роман. Некоторые профессора находят учёные речи подобного рода намного интерес-

⁶⁾ «Моби Дик» — знаменитый роман американского писателя Германа Мелвилла (1819—1878), начинается этой фразой. «Пекод» (см. ниже) — название судна там же.

ней романов. Они имеют такое же отношение к прозе, как Отцы Церкви к Библии. Ориген Александрийский⁷⁾ спрашивал, должны ли мы действительно полагать, будто Господь вошел в рай, когда Адам и Ева спрятались под кустом. Писание нельзя понимать буквально. Оно должно приносить нам более высокий смысл.

Вопрос. Вы равняете Отцов Церкви с профессорами литературы?

Ответ. Не совсем. У Отцов были возвышенные представления о Боге и о Человеке. Если б гуманитарные профессора были движимы возвышенными представлениями о поэтах и философах, которых они преподают, они были бы самой могущественной силой университета — и самой пламенной. А они находятся на низшей ступени иерархии, в основании пирамиды.

Вопрос. Тогда почему же в университетах так много писателей?

Ответ. Хороший вопрос. У писателей нет твердой почвы под ногами. Они связаны с учреждениями. Они работают для газет-журналов и для издательств, для культурных фондов, рекламных агентств, для телевидения. Все они преподают. Только несколько литературных журналов остались прежними, и то это академические ежеквартальники. Большие национальные журналы не хотят печатать прозы. Их издатели желают обсуждать лишь наиболее знаменательные из внутренних и международных дел, хотят сосредоточиться на «достойных» культурных вопросах. Под «достойными» они понимают политические. «Реальными» проблемами, перед которыми мы стоим, обычно являются вопросы бизнеса и политики: энергия, война, секс, раса, города, образование, технология, экология, судьба автомобильной промышленности, ближнево-

⁷⁾ Ориген (183/186 - 252/254 гг. нашей эры) — христианский богослов из Александрии, толкователь Библии.

сточный кризис, марионетки Юго-Восточной Азии, телодвижения русского политбюро. Всё это, конечно, чрезвычайно важные дела. Но, чтобы быть точным, существуют — в глубине этих, столь значительных общественных дел — также и вопросы жизни и смерти. Но эти вопросы не обсуждаются. Всё, что мы слышим и читаем, есть кризисный лепет. Основной бизнес интеллигенции (профессоров, комментаторов, издателей) — производить этот лепет. Наша интеллигенция, полностью политизированная, любящая подвергать всё анализу, не проявляет большого интереса к литературе. Представители этой элиты получили свою порцию литературы во студенчестве и теперь держатся на достаточном расстоянии от неё. В Гарвардском или в Колумбийском они читали, изучали, впитывали классику, главным образом, классику модернистскую, что и подготовило их к важнейшим, несравненным задачам, к которым они предназначены в качестве деятелей массовых средств информации, в качестве организаторов множества новых начинаний. Иногда я понимаю: они чувствуют, что заменили писателей. Культурный бизнес, которым они заняты, слегка окрашен литературой или, верней, воспоминанием о литературе. Я говорил уже, что наша общественная жизнь стала предметом нашей самой горячей заботы. Может ли судьба одиночки, героя романа, соперничать по своему интересу с общими судьбами, с ростом нового класса — культурной интеллигенции?

Вопрос. Значит, вы утверждаете, что проникаясь в столь крайней степени политикой, мы теряем интерес к личности?

Ответ. Вот именно! И что либеральное общество при такой интенсивной политизации не может долго оставаться либеральным. Я считаю нападки на роман наступлением на сами принципы свободы. То же относится и к теории «активистского» искусства. Сила настоящего произведения искусства такова, что вызы-

вает временную приостановку активности. Оно вызывает созерцательное, удивлённое и — я в этом уверен — сакральное состояние духа.

Вопрос. А то, что вы называете «кризисным лепетом», вызывает нечто противоположное?

Ответ. Да. И мне придётся лишь добавить, что мы не любим правды, ибо без неё нам *лучше*. Конечно, мы стремимся к ней, мы жаждем её; аппетит на правдивые книги сейчас больше, чем когда-либо: он обострён её отсутствием.

Вопрос. Возвращаясь на минуту к теме литературного мира...

Ответ. Нет больше чаёв у Гертруды Стайн⁸⁾, нет «Клозери де Лиля»⁹⁾, нет вечеров в Бломбзбери¹⁰⁾, нет забавных стычек между Джорджем Муром¹¹⁾ и У. Б. Йитсом¹²⁾. Весьма приятно читать о таких вещах, но не могу сказать, что скучаю по ним, ибо я и не знал ничего подобного. Я скучаю по некоторым умершим друзьям, писателям. А что Мольер ставил пьесы Корнеля, что сам Людовик XIV мог появиться, переодетый, в комедии Мольера — подобные вещи прелестны в книжках. Мне трудно было бы представить мэра Дейли принимающим участие у меня в комедии; он играет только в своих собственных. Когда-то я посещал писательские клубы в коммунистических странах и не могу сказать, что жалею об отсутствии у нас таких учреждений. А будучи в Аддис-Абебе, я пошёл как-то в императорский зверинец. Селассиа считался

⁸⁾ Стайн, Гертруда (1874-1946) — известный американский писатель и художник. С 1903 года постоянно жила в Париже.

⁹⁾ «Клозери де Лиля» — парижский ресторанчик на Монпарнасе, где в начале века собирались поэты и художники. Существует до сих пор, теперь это дорогой ресторан.

¹⁰⁾ Бломбзбери — район в Лондоне, где расположен Британский музей, книжные магазины. Служил местом встречи писателей.

¹¹⁾ Мур, Джордж (1852-1933) — ирландский писатель.

¹²⁾ Йитс, Уильям Бютлер (1865-1939) — ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии 1924 года.

Львом Иудой¹³⁾, и вероятно поэтому был вынужден держать солидную коллекцию львов. Эти бедные звери лежали среди отбросов в блёдно-зелёных клетках, слишком тесных, чтоб сделать даже несколько шагов — настоящий курятник. Карий цвет их львиных глаз превратился в желтый и белесый; они тосковали, уронив головы на лапы. Всё-таки положение вещей у нас не так плохо, как в императорском зверинце или в писательских центрах за железным занавесом.

Вопрос. Не так плохо — ещё не есть хорошо. А если конкретней, о неудобствах вашего положения?

Ответ. Бывают грустные минуты, я согласен. Жорж Санд писала Флоберу (в сборнике писем, я заглядываю туда иной раз), чтобы он захватил экземпляр её последней книги в свой следующий визит. «Сделайте там все замечания, какие придут вам на ум, — просила она. — Они будут мне очень полезны. Людям следовало бы делать это друг для друга — как, например, обычно делаем Бальзак и я. Это не может заставить одного перемениться к другому, совершенно напротив, ибо, как правило, вас еще больше утверждают в вашем собственном «я», совершенствуют, лучше объясняют самому себе, раскрывают до конца, и вот чем хороша дружба, даже в литературе, где первое условие любого успеха — быть самим собой». Как прекрасно было бы услышать нечто подобное от нынешнего писателя! Но такие письма, увы, не приходят. Дружелюбие и общие устремления принадлежат миру грёз — французских грёз прошлого столетия. Физик Гейзенберг в последней статье из журнала «Энкаунтер» рассказывает о дружеском и даже братском сотрудничестве учёных из поколения Эйнштейна и Бора. Их личные письма цитировались на семинарах и обсуждались всей научной общественностью. Гейзенберг полагает, что подобный дух царил среди музыкантов в

¹³⁾ Лев Иуда — Иуда, сын Иакова, см. Быт. 49, 9.

восемнадцатом веке. Отношения Гайдна и Моцарта были примерно такими же нежными и великодушными. Но при отсутствии широких творческих способностей что-то не видно никакого великодушия. Гейзенберг ничего не говорит о злобе и враждебности менее счастливых времён. Писатели нынче редко желают добра другим писателям. Критики используют силу, накопленную в прошлом, чтобы нокаутировать настоящее. Эдмунд Вильсон¹⁴⁾, как правило, совершенно не читал своих современников. Он остановился на Элиоте¹⁵⁾ и Хемингуэе. Остальное он гнал от себя. Это отсутствие, мягко говоря, доброжелательности многих приводило в восторг — факт, который не требует комментариев. Любопытствуя о жизни канадцев, гаитян, индейцев, русских, изучая марксизм и рукописи Мёртвого моря, он был значительной литературной фигурой нашего протестантского большинства¹⁶⁾. Иногда я думаю, что марксизм или модернизм были для него таким же вызовом, как устрицы — я видел это сам — для потомков правоверных евреев. Исторический прогресс заставляет преодолеть спазмы отвращения. Человек вроде Вильсона мог сделать многое для укрепления литературной культуры, но он просто ото всего отмахнулся, он не желал иметь к этому касательства. По причине темперамента. Или по причине протестантского большинства. А может, тут применим принцип Гейзенберга — люди щедры, когда обладают творческими способностями, а когда такие способности истощаются, они... и так далее. Но разница неве-

¹⁴⁾ Вильсон, Эдмунд (р. 1895) — американский писатель и критик, долгое время был рецензентом крупного издательства.

¹⁵⁾ Элиот, Томас Стерн (1888-1965) — американский поэт, живший в Англии. Известны стихи И. Бродского «Памяти Т. С. Элиота», напечатанные в сборнике «День поэзии 1967. Ленинград», изд. Сов. пис., Л. 1967.

¹⁶⁾ «Протестантское большинство» или «белое протестантское большинство» — эквивалент слова «нация» для США, главная группа населения, основавшая государство.

лика. В тот момент человеческого развития, столь чудесный и столь ужасный, такой прославленный и такой зловещий, вполне устоявшиеся литературы Франции и Англии, Италии и Германии не могли родить ничего нового. Они глядели на нас, «отсталых» американцев, да ещё на русских. Из Америки вышло много великих неугомонных одиночек, таких, как По или Мелвилл или Уитмэн — алкоголики, серые государственные служащие. В деловой Америке не было Веймара, не было утончённых принцев. Были только эти упорные гении, пишущие и пишущие — зачем? для кого? Вот уж вам поистине «немотивированные действия»! Эти писатели удивительно обогатили жизнь, не получив взамен даже благодарности. Они не вышли из литературной традиции и не создали её. Неутомимые индивидуалисты подобного типа стали позже появляться в России. Сталинизм полностью уничтожил расцветавшую в России литературу и заменил её отвратительной бюрократией, однако вопреки ей, несмотря на принудительный труд и убийства, понимание того, что истинно и справедливо, так и не удалось вытравить. Короче говоря, я не вижу, почему мы должны продолжать мечтать о том, чего у нас никогда не было. Это приобретение нам не поможет. Если нас заставят избавиться от ностальгии и мы прекратим тосковать по литературному миру, то, вероятно, узрим свежую возможность напрячь воображение и возобновить хоть какую-то связь с натурой и с человеческим сообществом.

Вопрос. Но есть ученые, натуралисты и гуманитари, которые знают массу всего о природе и обществе. Больше, чем вы.

Ответ. Это правда. Вероятно, я выгляжу дураком, однако я настаиваю, что их знания неполные — кое-чего им не хватает. Это кое-что — поэзия. Хейзинга, голландский историк¹⁷⁾, в своей книге, недавно вышедшей в Америке, говорит, что учёные американцы,

которых он встречал в двадцатые годы, могли выступать гладко и зажигательно, но он добавляет: «Часто я не мог обнаружить в их работах того живого человека, который заинтересовал бы меня. Неоднократный опыт заставляет меня держаться точки зрения, что моя личная реакция на американскую научную литературу должна всё же основываться на качествах самой этой литературы. Я читаю её с величайшим трудом, у меня нет ощущения контакта с ней, мне тяжело сохранять постоянное внимание. Для меня это всё равно как если б я должен был оперировать с отклоняющейся от нормы системой выражений, в которой понятия не эквивалентны моим или расположены в ином порядке». Эта система ещё более отклонилась от нормы в последние пятьдесят лет. Мне не хватает идей и информации, я знаю, что определённые высококвалифицированные интеллектуалы обладают ими — экономисты, социологи, юристы, историки, натуралисты. Но я читаю их с огромным трудом. И вот я говорю себе: «Эти писаки есть часть образованной публики, твоих читателей. Ты тратишь свои лучшие усилия на них, на этих непоэтических или даже антипоэтических людей. Ты забыл интеллектуала-обывателя Ортеги¹⁸⁾, образованщину¹⁹⁾ ... и тому подобное.» Но всё это не имеет значения. Интеллектуальные филистеры не могут заставить тебя перестать писать. Писательство есть «немотивированное действие». И потом, те, к кому ты обращаешься, всегда тут. Если ты существу-

17) Хейзинга, Йохан (1872-1945) — один из крупнейших в мире историков культуры. Главные книги: «Homo Ludens» («Человек играющий»), «Осень средневековья» и др.

18) Ортега-и-Гассет, Хосе (1883-1955) — испанский писатель и мыслитель.

19) У автора другой термин, идентичный по смыслу. Считаем, что, с легкой руки Солженицына, «образованщина» вошла в язык и избавляет нас от необходимости русифицировать западную терминологию.

ешь, существуют и они. Ты можешь быть уверен в их существовании больше, чем в своём.

В о п р о с. Но так или иначе, а литературная культура всё же есть...

О т в е т. Простите, что прерываю, я вспомнил, что Толстой, вроде, тоже одобрял её, видел в ней новые возможности. Но он не пользовался литературной традицией и питал отвращение к профессионализму в искусстве.

В о п р о с. Должны ли писатели примириться с академической «башней из слоновой кости»?

О т в е т. В своей статье «Одумайтесь!» Толстой советует каждому начать с той точки, в которой он находится. Лучше уж подобная башня, чем альтернатива Винного Погребца, которую выбирают некоторые писатели. К тому же, университет теперь не более «башня из слоновой кости», чем журнал «Тайм», с его удивительно искусственным подходом к миру, с его настойчивым стремлением всё удалять на расстояние. Издания «Льюс энтерпрайзис» дают писателю больше денег, выше пенсию и лучшее социальное страхование, чем любой университет. Башня из слоновой кости — одна из тех пошлостей, которые преследуют беспокойные писательские умы. Поскольку мы не пользуемся ни одним из преимуществ литературного мира, постольку мы можем освободить себя и от его банальностей. Духовная независимость требует, чтоб мы одумались. Для этого университет столь же удобное место, как и всякое другое. Но одумываясь, берегитесь стать академиком. Учитель — это пусть. Некоторые даже подвигаются в учёные. Но наибольшая опасность для писателя в университете — опасность академическая.

В о п р о с. Можете ли вы вкратце дать подходящее определение академика?

О т в е т. Я произвольно ограничиваюсь профессорским типом, который можно найти на гуманитар-

ных факультетах. Оуэн Бэрфильд в одной из своих книг ссылается на «вечный профессиональный механизм сублимации путём *болтовни*» о том, что важно, который заменяет само это важное. Он говорит, что устал от этого. Многие из нас устали от этого.

ИСПАНСКОЕ ИНТЕРВЬЮ*

Первый вопрос. Испанская тема занимает не-малое место в русской литературе. Многие ваши крупные писатели не обошли ее. Как вы это объясняете?

Ответ. Вы знаете, действительно, по каким-то причинам, о которых, может быть, не так легко сказать, Испания занимает совершенно особенное место в русской литературе. Почти ни один крупный писатель и поэт не прошли мимо испанской темы. И потом, многие крупные русские композиторы тоже занимались Испанией. Можно строить предположения, что общего или что связывает эти две страны, расположенные на крайнем востоке и крайнем западе Европы. Казалось бы, наш национальный тип очень разнится в наружности, в поведении, испанцы и русские несколько друг на друга не похожи, но может быть, мы найдем и удивительные общие черты нашей истории. Собственно говоря, Россия и Испания защитили Европу от двух нашествий: Россия от монголов, Испания от мавров, и если бы не Россия и Испания, то современная Европа, очевидно, не была бы сама собой, она не была бы тем, что она есть. Её независимая история была обеспечена вот этими двумя щитами, с Востока и с Запада. Может быть, есть общее между Испанией и Россией и то, что обе они устояли против наполеоновского нашествия, и только они, больше никто тогда, кроме них. Может быть, есть общее в том запасе энергии, который двинул русское и испанское влияние так далеко, что вот я в прошлом году на

* Мадридское телевидение, 29 марта 1976 г.

© for Russian by KONTINENT

Тихоокеанском побережье Америки был свидетелем того, как эти два влияния на другой стороне земного шара как раз сошлись — испанское с Юга, русское через Аляску. Во всяком случае, это большое внимание к испанской теме ясно наблюдаем в русской литературе.

Второй вопрос. У вас тоже в «Случае на станции Кречетовка» лейтенант Зотов с большим волнением отзывается на испанскую гражданскую войну. А какие у вас были касания с испанской темой?

Ответ. Должен сказать, что Испания коснулась и моей жизни. Ну, в лагерях я немало встречался с тем, что сидели то бывшие испанские дети, вывезенные в СССР, то бывшие испанские революционеры и моряки или лётчики, которые оказывались в Советском Союзе. Несколько таких случаев я упомянул в «Архипелаге ГУЛаг». Но еще раньше Испания вошла в жизнь нашего поколения — как бы это сказать? — как *любимая война* нашего поколения. Нам, мне и моим сверстникам, было 18-20 лет в то время, когда шла ваша гражданская война. И вот удивительное влияние политической идеологии, этой бессердечной земной религии социализма — с какой силой она захватывает молодые души, с какой мнимой ясностью она показывает им будто бы ясное решение! Это был 37-38 год. У нас в Советском Союзе бушевала тюремная система, у нас арестовывали миллионы. У нас только расстреливали в год — по миллиону! Не говорю уже о том, что непрерывно существовал архипелаг ГУЛаг — 12-15 миллионов человек сидели за колючей проволокой. Несмотря на это, мы, как бы пренебрегая действительностью, всем сердцем тогда горели и участвовали в вашей гражданской войне. Для нас, для нашего поколения звучали как родные имена Толедо, университетского городка в Мадриде, Эбро, Теруэля, Гвадалахары, и если бы только нас позвали и разре-

шили нам, то мы готовы были тут же броситься все сюда, воевать за республиканцев. Это особенность социалистической идеологии, которая так увлекает молодые души мечтой своей, призывами своими, что заставляет их забыть действительность, свою действительность, пренебречь собственной страной, рваться вот к такой абстрактной мечте.

Я слышал, ваши политические эмигранты говорят, что гражданская война обошлась вам в полмиллиона жертв. Я не знаю, насколько верна эта цифра. Допустим, она верна. Надо сказать тогда, что наша гражданская война отобрала и у нас тоже миллиона два или три, но по-разному кончилась ваша гражданская война и наша. У вас победило мировоззрение христианское — оттого, что войну хотели окончить на этом, чтоб залечить раны. У нас победила коммунистическая идеология, и конец гражданской войны означал не конец её, а начало. От конца гражданской войны собственно и началась война режима против своего народа. На Западе двенадцать лет тому назад опубликовано статистическое исследование русского профессора Курганова. Конечно, никто никогда не публикует официальной статистики, сколько погибло у нас в стране от внутренней войны режима против народа. Но профессор Курганов косвенным путём, который имеет статистика, подсчитал, что с 1917 года по 1959 только от внутренней войны советского режима против своего народа, то есть от уничтожения его голодом, коллективизацией, ссылкой крестьян на уничтожение, тюрьмами, лагерями, простыми расстрелами — только от этого у нас погибло, вместе с нашей гражданской войной, 66 миллионов человек. Этой цифры почти невозможно себе представить. В неё нельзя поверить. Профессор Курганов приводит другую цифру: сколько мы потеряли во Второй мировой войне. Этой цифры тоже нельзя представить. Эта война велась, не считаясь с дивизиями, с корпусами, с миллио-

нами людей. По его подсчётам, мы потеряли во Второй мировой войне, от пренебрежительного, от неряшливого её ведения, 44 миллиона человек. И так, вместе мы потеряли от социалистического строя 110 миллионов человек. Поразительно, что Достоевский в конце прошлого века предсказал, что социализм обойдется России в сто миллионов человек. Достоевский это сказал в 70-х годах девятнадцатого века. В это нельзя было поверить. Фантастическая цифра! Но она не только сбылась, она превзойдена: мы потеряли не сто миллионов, мы потеряли сто десять миллионов и продолжаем терять. Факт тот, что мы потеряли одну третью часть того населения, которое было бы у нас, если бы мы не пошли по пути социализма, или потеряли половину того населения, которое у нас сегодня осталось. Я очень советую тем, кто сможет, прочесть этот расчёт профессора Курганова, чтобы понять, откуда эти страшные цифры взялись.

Вас миновал этот опыт, вы не узнали, что такое коммунизм — может быть, навсегда, а может быть, пока. Ваши прогрессивные круги называют существующий у вас политический режим — диктатурой. Вот я уже десять дней путешествую по Испании. Путешествую никому не известный, приглядываюсь к жизни, смотрю своими глазами. Я удивляюсь: знаете ли вы, что такое диктатура, что называют этим словом? Понимаете ли вы, что такое диктатура? Вот несколько примеров, которые я посмотрел сейчас сам.

Любой испанец не привязан к месту своего жительства. Он имеет свободу жить здесь или поехать в другую часть Испании. Наш советский человек не может этого сделать, мы привязаны к своему месту так называемой полицейской «пропиской». У нас местные власти решают, имею я право уехать из этого места или не имею. Это значит, я нахожусь полностью в руках местных властей. Они делают со мной что хотят, и я не могу уехать.

Потом я узнаю, что испанцы могут свободно выезжать за границу. Может быть, вы читали в газетах: из Советского Союза под сильнейшим давлением мирового общественного мнения, под сильнейшим давлением Америки выпускают, и то с большим трудом, некоторую часть евреев. А остальные евреи и, кроме евреев, остальные нации не могут выехать вообще. Мы находимся в своей стране как в тюрьме.

Я иду по Мадриду, по другим городам — я объехал уже более двенадцати городов, и я вижу, что в газетных киосках продаются все основные европейские издания. Я глазам своим не верю: если бы у нас, в Советском Союзе выставили одну такую газету, на одну минуту, полиция сразу бы бросилась её срывать. У вас они спокойно продаются.

Я смотрю, у вас работают ксерокопии. Человек может подойти, заплатить 5 песет и получить копию любого документа. У нас это недоступно ни одному гражданину Советского Союза. Человек, который воспользуется ксерокопией не для служебных целей, не для начальства, а для самого себя, получает тюремный срок как за контрреволюционную деятельность.

У вас, пусть с некоторыми ограничениями, допускаются забастовки. В нашей стране за 60 лет существования социализма никогда не была разрешена ни одна забастовка. Участники забастовок в первые годы советской власти расстреливались из пулеметов, хотя бы они имели только экономические требования, а других сажали в тюрьмы как за контрреволюционную деятельность, и сегодня в голову никому не придёт кого-то призвать к забастовке. Я печатал в журнале «Новый мир» рассказ «Для пользы дела» и написал такую фразу, что один студент призывает других: «Давайте объявим забастовку». Не то что цензура, а сам журнал «Новый мир» вычеркнул эту фразу, потому что слово «забастовка» не может быть произнесено и напечатано в Советском Союзе. И я говорю: ваши

прогрессисты знают ли, что такое диктатура? Если б нам такие условия сегодня в Советском Союзе, мы бы рты раскрыли, мы бы сказали: это невиданная свобода, мы такой свободы не видели уже 60 лет.

У вас недавно была амнистия. Вы называете её ограниченной амнистией. Политическим борцам, которые с оружием в руках действительно вели политическую борьбу, сбросили половину срока. Надо сказать: нам бы такую ограниченную амнистию один раз за 60 лет! За 60 лет существования советской власти мы, политические, никогда не имели никакой амнистии. Мы уходили в тюрьму, чтобы там умереть. Лишь немногие вернулись об этом рассказать.

Конечно, мы этот тяжелый коммунистический опыт переработали нашими душами. После стольких потерь за 60 лет мы получили теперь такую прививку против коммунизма, которой не имеет никто в Европе и никто на Западе. У нас сегодня совершенно невозможно, чтобы собралась неофициально частная компания и кто-нибудь серьезно говорил о коммунизме. У нас его сочтут за дурака. Мы душевно от коммунизма уже освободились. Но мы должны были пережить слишком тяжелый опыт, чтобы к этому прийти. Россия совершила как бы исторический прыжок. Россия по своему общественному опыту оказалась впереди всего остального мира. Я не хочу сказать, что она стала передовой страной. Нет, она стала рабской страной, которая называется Советский Союз. Но опыт мы прошли, равного которому на Западе не прошел никто. И мы теперь смотрим с сожалением на Запад. Это странное чувство: мы смотрим как будто бы на наше прошлое. А по отношению к Западу можно сказать так: мы смотрим на вас из вашего будущего. Всё то, что у вас происходит сегодня, у нас уже было, было давно. Это такая фантастическая картина: как будто и сегодня происходит, как будто современность, а мы вспоминаем, что всё это было...

В 60-е годы прошлого века император Александр II начал программу больших, основательных и медленных реформ. Он хотел постепенно преобразовать Россию к свободе и к развитию. Но кучка революционеров в 1861 году выпустила прокламацию, листовку. Там было сказано: «Мы не можем ждать реформ, мы не хотим их ждать, мы хотим немедленного полного освобождения, без постепенности. А так как правительство не хочет его дать, то мы начинаем террор». И когда Александр II в 1861 году провел освобождение крестьян от крепостной зависимости, когда Александр II в 1864 году дал стране великую судебную реформу, то в ответ на это — с 1866 г. революционеры начали в него стрелять. Было семь покушений на царя. За царём охотились как за зверем. И в 1881 году его убили, а после этого начали убивать премьер-министров, министров внутренних дел, крупных губернаторов, администраторов, и так началась война между революционерами и правящими кругами, правительством. И вся свободная, либеральная общественность России не отнеслась трезво к этому, не остановила революционеров, она аплодировала им. Каждое убийство видного политического деятеля России вызывало восторг, вызывало аплодисменты. Общество помогало революционерам скрываться, террористам помогало бежать. И крупные общественные деятели в России защищали террористов как самых главных своих любимцев, как невинных людей. Я повторяю, что эту историю рассказываю вам из 19 века, это всё было у нас почти век тому назад. А сегодня это происходит во всём мире и во всей Европе. Мы были свидетели осенью прошлого года, как западная общественность была взволнована судьбой испанских террористов гораздо больше, чем гибелью шестидесяти миллионов человек в Советском Союзе. Мы видим сегодня, как общественность, прогрессивная общественность, требует немедленных реформ от своих правительств и приветствует и

радуется террористическим актам. Это было у нас сто лет назад, и из вашего будущего я могу вам сказать, чем это кончилось. Это вот чем кончилось: обе стороны ожесточились, правительство стало ненавидеть либеральные круги, либеральные круги стали ненавидеть правительство, и больше никто уже не шел ни на какие уступки. Реформы прекратились. То, что правительство и правящие круги могли дать, они уже в озлоблении не давали. Либеральная общественность не хотела уступить малого, а получить хотела всё сразу. В результате мы получили революцию 1905-1907 года, потом революцию 1917, и были уничтожены обе стороны, были уничтожены все правящие круги России, дворянство, купечество, и была уничтожена вся либеральная общественность, вся интеллигенция — её всю вырезали и уничтожили, и остатки её бежали за границу. И после этого начался вот тот террор, о котором я сказал и о котором говорит моя книга «Архипелаг ГУЛаг», террор, который унёс 66 миллионов жизней.

Я рассказываю об этом сейчас, но я сам уже не знаю, вообще возможно ли передать опыт от человека к человеку, от одной страны к другой стране. Еще недавно я в это верил. Я в Нобелевской лекции говорил, что художественная литература способна передавать чужой опыт. Если наша страна пережила эту страшную историю, то мы бы могли вам рассказать, вам стало бы ясно, и вы бы не повторили наших ошибок. Но сегодня я не знаю, достаточно ли передать опыт или каждая страна, каждое общество, каждый человек должны повторить все ошибки другой страны, другого общества и только тогда научиться — научиться, когда уже будет поздно. Я смотрю сегодня на вашу молодежь, которую я наблюдал по всей Испании, и сравниваю с тем опытом, который имею. Думаю, что даже у меня — в голове, в ушах, в глазах — память вашей гражданской войны больше сохрани-

лась, чем она сохранилась у этой молодёжи. Сегодня естественно стремление ваших прогрессивных кругов получить как можно больше свободы и как можно скорее перевести своё общество в такой же разряд, как другие западноевропейские страны. Но я хотел бы напомнить, что в сегодняшнем мире демократические страны занимают на нашей планете уже — ну, если не островок, то сравнительно очень небольшой участок. Бóльшая часть мира всё дальше впадает в тоталитаризм и в тиранию. Вся Восточная Европа, Советский Союз, вся Азия, вот уже и Индия погружается в тоталитаризм, Африка, недавно получившая свободу, как будто стремится, одна страна за другой, тоже отдаться тирании. И поэтому те из вас, которые хотят скорее демократической Испании, они достаточно ли дальновидны, думают ли они не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем? Хорошо, завтра Испания станет такой же демократической, как вся Европа. Но послезавтра, послезавтра — сохранит ли Испания эту демократию, защитит ли ее от тоталитаризма, который хочет проглотить весь Запад? Тот, кто дальновиден, и тот, кто кроме свободы любит еще также и Испанию, должен думать и о послезавтрашнем дне.

Мы видим, что западный мир ослабел в своей воле к сопротивлению. Каждый год он отдаёт без боя несколько стран во власть тоталитаризма. Нет воли к сопротивлению, нет ответственности в пользовании свободой. Современная западная цивилизация может быть описана не только как демократическое общество, но также и как потребительское общество, то есть как общество, в котором все видят главную свою цель в том, чтобы больше получать материальных благ, пользоваться ими неограниченно, наслаждаться и меньше думать о том, как право на это защищать. Оказывается, однако, что социальное устройство и пользование материальными благами не являются главным ключом к жизни человека на Земле. Странно,

но современный тоталитарный Восток и современный демократический Запад — хотя, кажется, это противоположные системы и друг другу противостоят — на самом деле они имеют общую основу. Эта общая основа — материализм, и тянется это уже триста лет. Человечество находится в кризисе и не в коротком, не в сегодняшнем, это не кризис двадцатого века. Человечество находится в долгом кризисе, который начался триста, а в некоторых странах четыреста лет тому назад, когда люди откачнулись от религии, откачнулись от веры в Бога, перестали признавать кого-то над собой и в основу положили прагматическую философию, то есть делать то, что полезно, что выгодно, руководиться соображениями расчёта, а не соображениями высшей нравственности. Вот этот отказ — он постепенно развивался и привёл к всемирному кризису, кризису, который, я настаиваю, не политический, а нравственный. Он не касается даже противостояния коммунизма и западного общества. Этот кризис гораздо более глубокий. Это кризис, который привёл Восток к коммунизму и Запад к прагматическому, потребительскому обществу. Это кризис материализма, кризис человечества, которое отказалось от понятия высшей силы над собой. Как решится этот кризис, не хватает человеческих глаз, но ясно, что каждая страна может сделать свой вклад в его решение. Быть может, Испания, с её большой национальной оригинальностью, которая проходит через всю её историю, быть может, Испания сможет тоже вложить свой особенный, испанский вклад, поможет решить человечеству этот страшный кризис, который захватывает все страны мира по-своему и стоит перед всеми и всем нам, всем на Земле грозит уничтожением.

Третий вопрос. Вы поселились в Цюрихе. Это вызывает разные толки: Швейцария — страна, где удобно держать капиталы. Что вы скажете об этом?

Ответ. Я как раз сейчас говорил, что Запад — это потребительское общество. Наша молодость прошла в нищете. Я, например, студентом однажды имел неосторожность в брюках своих сесть на стул, на котором были налиты чернила. (Тогда пользовались не такими ручками, а чернилами.) Получилось большое пятно, и я проходил пять лет студенчества в этих брюках, потому что не было возможности купить других. Вот так мы жили, и это у нас в крови, и когда любой советский человек попадает на Запад, даже не в самые богатые страны, даже в те страны, которые у вас считаются нищими — вы знаете, у нас ощущение... нас душит, нам тяжело это видеть! Мы не можем видеть, как остатки еды выбрасываются. Мы не можем видеть, как на тарелке не доедают, как оставляют тарелку. Вот так мы, воспитанники советского общества, воспринимаем потребительское общество. Поэтому когда мне задают вопрос о Швейцарии, я могу только сказать: да, в благополучных странах Запада мы живём как пленники. Если бы завтра была возможность вернуться в нашу голодную и нищую страну, мы завтра вернулись бы все туда. Коммунистическая печать очень любит спекулировать на том, что вот, Солженицын поехал на Запад и стал миллионером. Когда я там голодал, они не писали об этом ничего. Когда мы там все голодали (и сегодня голодаем), они лгут, что мы там сыты. Да, конечно, у меня здесь большие гонорары, но большая часть этих гонораров составила Русский Общественный Фонд для помощи преследуемым в Советском Союзе и их семьям, и различными путями мы направляем эту помощь в Советский Союз. Мы помогаем заключённым, их семьям, тем, кто едет на свидания в лагерь, кто посылает посылки, тем, кто освобождается без копейки. Мы помогаем тем, кого увольняют с работы за убеждения и которые остаются без денег. Вам, западным людям, это трудно понять. У вас могут посадить в

тюрьму, но у вас не могут уволить за убеждения. Если уволят за убеждения здесь, — я пойду устроюсь в другом месте. У нас один работодатель — государство, и если по государству говорят: этого не принимать, то его не принимают нигде. Он не сидит в тюрьме, а семья его погибает с голоду.

Моя остановка в Цюрихе связана с тем, что я писал книгу «Ленин в Цюрихе», и там я нашёл первоклассные материалы, которых больше нельзя было найти нигде.

От редакции

По поводу этого выступления испанский политический обозреватель Хуан Бенет написал: «Я убежден, что пока существуют такие люди, как Солженицын, придется сохранить исправительные колонии. Возможно, следует несколько улучшить их охрану с тем, чтобы лица, подобные Солженицыну, до тех пор пока они не перевоспитаются, не могли бы оттуда выйти». Мы не знаем, кто этот человек, но судя по его высказыванию, он не столько публицист, сколько специалист по усовершенствованию тюремной системы. Не предложить ли ему его профессиональные услуги социалистическим странам? Похоже, что в Испании они понадобятся не так скоро. А пока его полицейские советы с удовольствием перепечатывает газета «Правда» (30 марта 1976 г.) — уж кому-кому, а ей-то давно не терпится улучшить охрану «исправительных колоний». Но Хуану Бенету следовало бы знать, что возможность попасть в них не закрыта при социализме ни для кого, в том числе и для вышеупомянутого «политического обозревателя». Многие его единомышленники этим и кончили.

НЕКРОЛОГ

В ночь с 8 на 9 марта 1976 года в Саратовской больнице от кровоизлияния в мозг скончался Григорий Сергеевич Подъяпольский, ученый и поэт, один из тех, кто открыто и отважно боролся за права человека в СССР.

Григорий Подъяпольский был исключительно крупной, яркой личностью, талантливым ученым, выполнившим значительные работы по динамической теории упругости, геофизике и гидродинамике, публиковавшиеся в СССР и за рубежом. Особенно выдающийся вклад ему удалось внести в теорию образования цунами. Эти его работы имеют большое значение для прогнозирования цунами и пользуются заслуженным признанием.

Наука была для Подъяпольского больше чем профессия. Она выражала самый склад его натуры. Его научное мышление было страстным и вдохновенным. Никакие жизненные и житейские трудности не могли надолго оторвать Подъяпольского от научных занятий и интересов.

Но в то же время научное творчество не могло поглотить его целиком. Он был нетерпим ко злу, и в этой благородной нетерпимости не хотел знать промедлений.

В 1969 году Григорий Подъяпольский стал одним из членов Инициативной группы защиты прав человека в СССР, этой первой в нашей стране независимой от властей ассоциации, открыто выступившей в защиту прав человека. В 1972 году он стал членом Комитета прав человека в СССР.

Он выступал в защиту Есенина-Вольпина и Григоренко, Гинзбурга и Галанскова, Плюща и Буковского, Ковалева и Твердохлебова. Его подпись стоит под многими важными документами в защиту прав человека.

В 1969 году дирекция Института физики Земли не допустила его диссертацию к защите, а в 1970 году его уволили из этого института, в котором он проработал 17 лет.

В 1969-1975 гг. Подъяпольского вызывали на допросы в КГБ, на его квартире был произведен обыск.

В обстановке напряженной и трудной, рискуя оказаться без работы, Подъяпольский продолжал заниматься наукой, правозащитной деятельностью, литературным творчеством.

В 1974 году на Западе вышел сборник стихов Григория Подъяпольского «Золотой век», открывающий нам еще одну сторону его многогранной личности.

Подъяпольский был активно добрым, удивительно терпимым к чужим мнениям и, в то же время, твердым и бескомпромиссным человеком.

Его образ — в его делах. Он останется в исторической памяти страны, как останется в родной земле прах нашего незабвенного друга.

Ю. Айхенвальд

Н. Албанина

Г. Алтунян

В. Альбрехт

А. Асаркан

К. Бабицкий

Т. Баева

В. Бахмин

М. Бернштам

Е. Боннэр

Р. Боннэр

В. Борисов

Е. Борисова

Н. Буковская

И. Бурмистрович

Б. Вайль

К. Великанова

Н. Великанова

Т. Великанова

Ю. Гастев

В. Гершуни

А. Гинзбург

Л. Гинзбург

А. Гладилин

Ю. Гольфанд

А. Голяшев

З. Григоренко

П. Григоренко

В. Долгий

Е. Жернова

И. Жолковская

Б. Закс

Ю. Закс

В. Иванов

С. Калистратова

И. Каплун

М. Каплун

Л. Кардасевич

Н. Комарова

Л. Копелев

И. Корсунская

Е. Костерина

И. Г. Кристи

И. С. Кристи

А. Лавут

М. Ланда

В. Лашкова

В. Ливчак

Н. Лисовская

В. Некипелов

Ю. Орлов

Т. Осипова

Б. Пашилене

А. Петров (Агатов)

А. Плюснина

А. Подрабинек

В. Романов

И. Рудаков

В. Савенкова

Г. Салова

А. Сахаров

Т. Семенова

А. Смирнов

А. Смолянская

Э. Смородинская

П. Старчик

С. Старчик

С. Твердохлебова

Л. Терновский

В. Тимачев

Токарев

Т. Токарева

В. Турчин

Н. Федорова

Р. Фин

С. Ходорович

Т. Ходорович

Т. Хромова

И. Шафаревич

Ю. Шиханович

И. Шурер

Е. Шепетова

И. Якир

Е. Янкелевич

**Читайте в девятом номере
«Континента»**

прозу

**В. Максимова
И. Гохмана (окончание)**

СТИХИ

**А. Галича, А. Волохонского,
А. Венцлова**

статьи, эссе, публикации

**М. Агурского, И. Гавел, П. Декса,
И. Дон-Левина, Б. Суварина,
В. Турчина, Л. Чуковской,
А. Янова**

Издание «ПЕТЛИЦЕ»* — первые 46 книг

* (Петлице, по-чешски — накладка висячего замка)

Чешские и словацкие писатели, которым запрещено публиковаться у себя на Родине, начали в 1973 году «издавать» свои новые книги в виде рукописей.

Все книги подписаны авторами, что одновременно означает письменное согласие автора на перепечатывание рукописи. Каждая рукопись перепечатывается только в определенном количестве авторизованных экземпляров; эти экземпляры подписаны автором и сопровождаются надписью: «Категорическое запрещение дальнейшего перепечатывания рукописи». Рукописи не редактируются.

Цена зависит от расходов на перепечатку (в соответствии с существующими государственными нормами в государственных и кооперативных предприятиях), на материал и переплет. Также и сам автор покупает перепечатанный экземпляр (если не удастся организовать более дешевую перепечатку, чтобы он мог получить «авторский экземпляр» бесплатно).

Речь не идет об издательстве; и не существует никакой «издательской политики». Единственным критерием включения в издание является то, интересно ли само произведение. Отвергаются те рукописи, которые могли бы вызвать столкновение с законом (конечно, с точки зрения нашего понимания законов, — но разве всегда точно угадаешь!).

Ни издатели, ни авторы (что, в сущности, одно и то же) не допускают даже мысли, что речь могла бы идти о нелегальной или незаконной деятельности. Госбезопасность, однако, конфискует сборники нашего издания, когда наталкивается на них, — например, при домашних обысках. Пока что, тем не менее, ни генеральная прокуратура, ни органы государственной безопасности не нашли подходящего параграфа Уголовного кодекса, с помощью которого могли бы наказать авторов за то, что для своих друзей и профессионально заинтересованных читателей они дали распечатать рукописи своих произведений.

СПИСОК КНИГ ИЗДАНИЯ «ПЕТЛИЦЕ»

(лето 1975 г.)

1. Людвик Вацулик, «Морские свинки» (роман).
2. Иван Клима, «Прокаженные» (новелла, рассказы).
3. Иван Клима, «Любовное лето» (роман).
4. Иван Клима, «Комната для двоих» (театральная пьеса и пьесы: «Громовые раскаты», «Министр и ангел»).
5. Иван Клима, «Игры» (театр. пьеса).
6. Павел Когоут, «Белая книга» (роман).
7. Павел Когоут, «Жизнь в тихом доме» (одноактные

пьесы: «Война на третьем этаже», «Невазение сидит на крыше», «Пожар в подвале»). 8. Карол Сидон, «Пьесы» (театр. пьесы: «Спой мне на дороге», «Шапира», «Лабиринт»). 9. Карол Сидон, «Евангелие по Иосифу Флавию» (эссе об Иисусе Христе). 10. Ярослав Сейферт, «Моровой столб» (стихи; графические иллюстрации Яна Бауха). 11. Олдржих Микулашек, «Агог» (стихи). 12. Иржи Шотола, «Цыпленок на вертеле» (роман). 13. Ян Трефулка, «Великая стройка» (новелла). 14. Ян Трефулка, «О сумасшедших только хорошее» (роман). 15. Богумил Грабал, «Постржишины» (новелла и рассказы). 16. Богумил Грабал, «Городок, где остановилось время» (новелла, продолжение цикла, начатого «Постржишинами»). 17. Богумил Грабал, «Я обслуживал английского короля» (роман). 18. Богумил Грабал, «Нежный варвар» (мемуарная фантазия о Владимире Боуднике с фоторепродукциями художника-графика Боудника; титульный лист О. Гамери). 19. Зденек Похоп, «Напрасный зов» (рассказы). 20. Иван Бинар, «Кто — и что такое господин Габриэль?» (роман). 21. Моймир Кланский, «Изгнание» (новелла). 22. Люмир Чиврны, «Черная память дерева» (роман). 23. Карел Шиктанц, «Чешские куранты» (стихи; титульный лист художника Богдана Копецкого). 24. Вацлав Черный, «Из новых критических статей» (исследования о Яне Прохазке, Йиндржишце Сметановой и Иржи Коларже). 25. Вацлав Черный, «О смысле нашей культуры» (эссе). 26. Иван Кадлечик, «Речи из низины» (литературная критика современной чешской прозы). 27. Иван Кадлечик, «Эссе о деятелях словацкого национального возрождения». 28. Ота Филип, «Взятие на небо Лоизы Лапачка из Остравы» (части 1 и 2, роман). 29. Мирослав Червенка, «Четвертичный период» (стихи). 30. Петр Габеш, «Обитаемые тела» (стихи). 31. Иржи Груша, «Дамский гамбит» (рассказ). 32. Иржи Груша, «Мимнер или же игра в вонючку» (роман). 33. Иржи Груша, «Молитва к Янинке» (стихи). 34. Эмиль Юлиш, «Капут мортум» (стихи). 35. Душан Гамшик, «Жизнь и деятельность Генриха Гиммлера» (части 1 и 2, историческое исследование). 36. Карел Пецка, «Расщепление» (роман). 37. Карел Пецка, «Пассаж» (рассказ). 38. Иржи Коларж, «Ответы» (размышления об искусстве и литературе). 39. Иржи Коларж, «Прямой свидетель» (литературный дневник 1949 года). 40. Иржи Коларж, «Дни в году и годы в днях» (неизданные стихотворения и тексты 1946-47 гг.). 41. Ян Владислав, «Тайный читатель; первая тетрадь» (примечания, статьи и выступления об искусстве и литературе). 42. Ян Скацел, «Ошибка персиков» (стихи, графич. иллюстр. Владислава Вацульки). 43. Милан Угде, «Игра в голубя» (театр. пьеса). 44. Павел Ландовский, «Пьесы» (театр. пьесы: «Дом нищих», «Суперменша»). 45. Ондрей Юрачка, «Замалчивание» (стихи). 46. Вацлав Гавел, «Трехгрошовая опера» (пьеса),

СОДЕРЖАНИЕ

Ян Дрда — «Не притроньтесь к ним даже пальцем, не дайте им ни капли воды...»	5
Польские поэты в переводах Иосифа Бродского	7
Владимир Марамзин — Тянитолкай. Рассказ с авторским продолжением	13
Наталья Горбаневская — Из последней книги стихов	49
Ирина Одоевцева — Стихотворения	54
Иржи Гохман — Чешский хэппенинг. Роман. Продолжение	57
Казис Брадунас — Крестовый холм (поэтический перевод Василия Бетаки)	107
Вас. Гроссман — Жизнь и судьба. Главы из второй книги романа	111
Борис Ямпольский — Последняя встреча с Василием Гроссманом (Вместо послесловия)	133
Игорь Бурихин — Три стихотворения из цикла «Мой дом слово»	155
РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	
Наум Коржавин — Психология современного энтузиазма	161
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Збигнев Стыпулковский — «Приглашение» в Москву	201
ЗАПАД — ВОСТОК	
Карл-Густав Штрём — Два портрета из Югославии	211
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Лев Шестов — Дневник мыслей	235

ИСТОКИ

- Борис Бажанов** — Побег из ночи (Из воспоминаний бывшего секретаря Сталина) 253
Густав Герлинг-Грудзинский — Семь смертей Максима Горького 303

ИСКУССТВО

- Евгений Шифферс** — Скульптурный алфавит мастера Э. Неизвестного 337

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Александр Бахрах** — По памяти, по записям. Андре Жид 349

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 387

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Прот. А. Князев** — Школа веры 389
В. Рыбаков — Отражения времени 393
М. В. — О времени и о себе 398
М. Агурский — Безжалостная демифологизация 402
Ф. Салказанова — «Левая» Франция 405
В. Соколов — Дорога страдания 409

НАША АНКЕТА

- Сол Беллоу** — Интервью с самим собой 415
Александр Солженицын — Испанское интервью 429

K

ФОНД «АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Основан Фонд «Ассоциации друзей журнала «Континент». Средства этого Фонда будут использоваться в соответствии с целями и практикой, провозглашенными в редакционной декларации в первом номере настоящего периодического издания, то есть на расширение его дальнейшего финансирования, пропаганду его идей, а также в целях оказания материальной и моральной помощи деятелям культуры России и Восточной Европы.

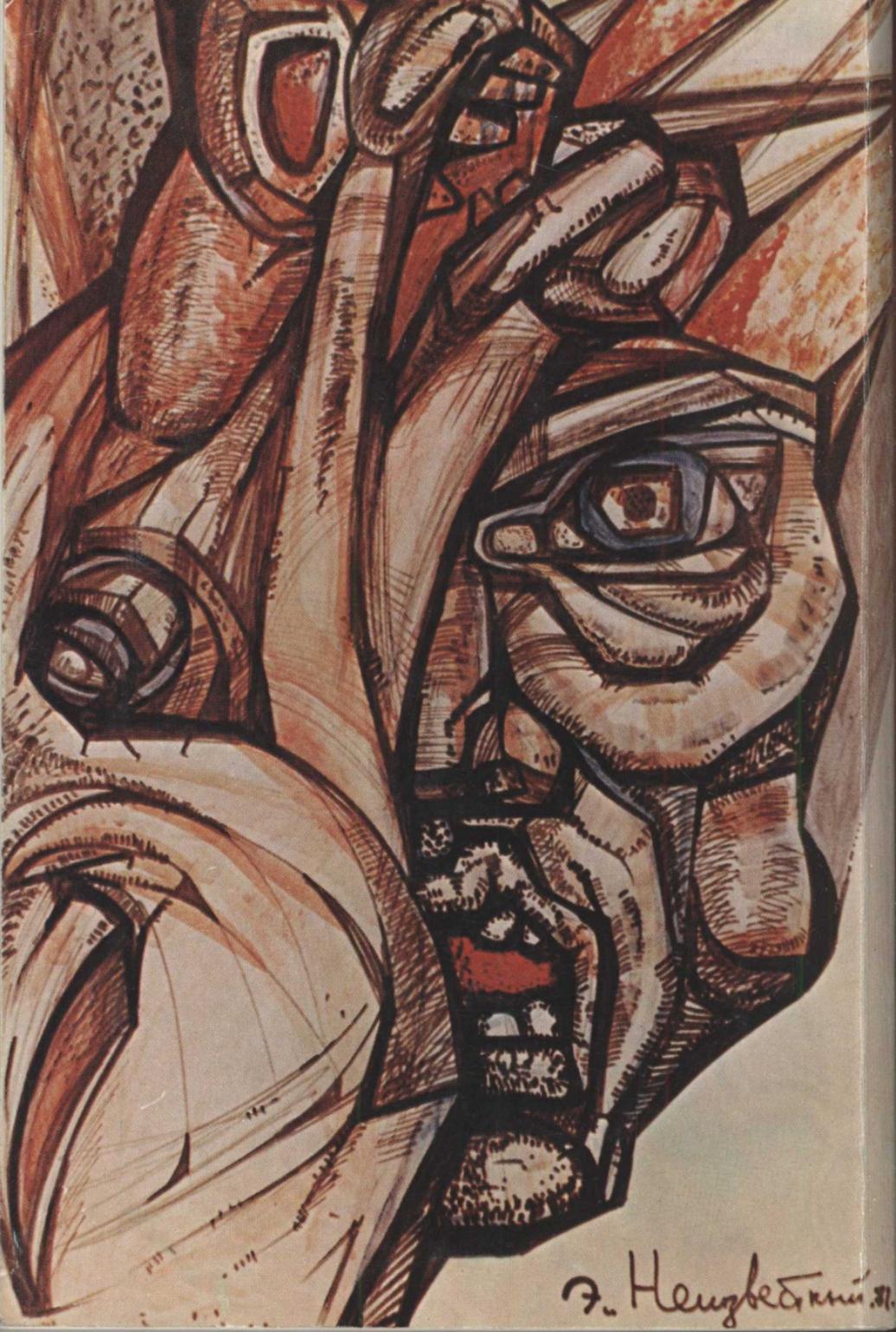
В правление Фонда вошли:

Раймон Арон, Джордж Бейли, Александр Галич, Корнелия Герстенмайер, Эжен Ионеско, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Людек Пахман, Андрей Сахаров, Иозеф Чапский, Зинаида Шаховская, Карл-Густав Штрём.

Взносы направлять только через банковский счёт по адресу:

«Les amis de la revue «Continent» compte 3.726308
Société Générale, Agence AG
45 avenue Kléber Paris 16 France

В № банковского счета вкралась ошибка.
№ следует читать: 3.726130.8



7. Hauptmann 31.